KING COUNTY LIBRARY SYSTEM
2015876515

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ

СКВОЗНАЯ ЛИНИЯ

Новая повесть
одной из лучших современных
российских писательниц

CS

Author: Ulitskaia, Liudmila
Title: Skvoznaia liniia : povest, rasskazy

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ

СКВОЗНАЯ ЛИНИЯ

Повесть, рассказы

Москва

ЭКСМО

2002

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
У 48

Художник А. Бондаренко

Улицкая Л.
У 48 Сквозная линия: Повесть. Рассказы. – М.: Изд-во Эксмо, 2002. – 256 с.

ISBN 5-699-00266-9

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

© Л. Улицкая, 2002
© Оформление. А. Бондаренко, 2002
© ООО «Издательство «Эксмо», 2002

СКВОЗНАЯ ЛИНИЯ

Можно ли сравнивать крупную мужскую ложь, стратегическую, архитектурную, древнюю, как слово Каина, с милым женским враньем, в котором не усматривается никакого смысла-умысла, и даже корысти?

Вот царственная пара, Одиссей и Пенелопа. Царство, правда, не велико, дворов тридцать, некрупная деревня. В загоне козы — о курах ни слова, похоже, их еще не одомашнили, — царица варит сыр и ткет половики, простите, покрывала... Правда, она из приличной семьи, дядя служит царем, двоюродная сестра — та самая Елена, из-за которой разыгралась свирепейшая из древних войн. Кстати, Одиссей тоже был в числе претендентов на руку Елены, но — хитроумный! — взвесил «про» и «контра» — и женился не на прекраснейшей из женщин, не на суперзвезде с сомнительными нравственными устоями, а на хозяйственной Пенелопе, которая до старости лет всех донимала своей демонстративной и уже тогда старомодной супружеской верностью. И это в то время, как он, славный «хитроумными измышлениями», по хитрости и коварству способный конкурировать с богами — сама Афина Паллада так его аттестует, — делает вид, что возвращается домой. Десятилетиями он утюжит Средиземноморье, похищая священные реликвии, обольщая волшебниц, цариц и их служанок, — мифический лжец тех допотопных времен, когда колесо, весло и прялка уже были изобретены, а совесть еще нет.

В конце концов сами боги решают обставить его возвращение в Итаку, так как существует опасение, что, если ему не посодействовать, он вернется в свою деревню самостоятельно, вопреки судьбе, и тем самым посрамит олимпийцев...

А наша стареющая простодушная обманщица распускает по ночам свою дневную работу, обесцвечивает слезами смолоду яркие глаза, прижимает к обвисшим невостребованным грудям тонкие пальцы с порченными артритом суставами и гонит прочь женихов, которых давно уже занимает исключительно ее царское, хоть и невеликое, имущество, а вовсе не ее былые прелести... Глупое женское упрямство. Честно говоря, она и врать-то не умеет. Обман ее разоблачают. Того и гляди, надругаются над приличной пожилой женщиной, отдав в жены самому алчному из кобелей...

В конце концов Одиссей достиг всего, чего желал: начинил собой человеческую культуру, как в свое время троянского коня, наследил во всех морях, разбросал свое семя по многим островам, ото всех уходил, чтобы в нужный час вернуться к царским обязанностям, на милую родину. Он обманул всех, с кем сводила его судьба. Кроме самой судьбы: в прекрасный осенний день причалил к берегу Итаки молодой герой в поисках покинувшего его отца и, обознавшись, родного папашу смертельно ранил, оставив между жизнью и смертью небольшой зазор для финального объяснения. Это один из вариантов мифа об Одиссее... Но, несмотря на предрешенную конечную неудачу, которой не могут избежать смертные, Одиссей остался героем тысячелетий — как великий лжец, авантюрист, обольститель... Как он был искусен в выдумке обмана! Он просматривал наперед чужие пути мысли, чтобы обогнать, обойти, превозмочь, устроить ловушку, победить! Сама волшебница Цирцея опростоволосилась... Так он вписан в память народов — как великий конструктор и архитектор умной лжи...

Пенелопа же осталась ни с чем. Она все сидела со своей пряжей многоразового использования, пряла да распускала, и ложь ее, как и ее рукоделие, была пластична и уклончива... Несмотря на ее многолетние тщетные старания, она не заняла столь значительного места, как ее муж или двоюродная сестра.

Какого-то специального женского качества — врального — она была лишена. А между тем женское вранье, в отличие от мужского, прагматического, — предмет увлекательнейший. Женщины все делают иначе, по-другому: думают, чувствуют, страдают — и лгут...

Боже милостивый, как они лгут! Речь идет, конечно, только о тех, кто, в отличие от Пенелопы, к этому одарен... Вскользь, невзначай, бесцельно, страстно, внезапно, исподволь, непоследовательно, отчаянно, совершенно беспричинно... Те, кому это дано, лгут от первых слов своих до последних. И сколько обаяния, таланта, невинности и дерзости, творческого вдохновения и блеска! Расчету, корысти, запланированной интриге здесь места нет. Только песня, сказка, загадка. Но загадка без отгадки. Женская ложь — такое же явление природы, как береза, молоко или шмель.

Каждая ложь имеет, как и болезнь, свою этиологию. С наследственной предрасположенностью и без нее. Редкая, как рак сердца, и широко распространенная, как ветрянка. И такая, которая обладает чертами эпидемического заболевания. Своего рода социальная ложь, которой вдруг заболевают сразу почти все члены женского коллектива — детского сада, или парикмахерской, или другой организации, где большинство сотрудников — женщины.

Итак, предлагается небольшое художественное исследование этой проблемы, не претендующее на полное или даже частичное ее разрешение.

1. Диана

Ребенок был похож на ежика — жесткими, ежиком растущими темными волосиками, любопытным вытянутым носом, узеньким к кончику, и забавными повадками существа самостоятельного, постоянно принюхивающегося, и совершенной своей неприступностью для ласки, для прикосновения, не говоря уж — материнского поцелуя. Но и мамаша его, судя по всему, тоже была из ежиной породы — она его и не трогала,

даже руки ему не протягивала на крутой тропинке, когда они поднимались от пляжа к дому. Так он и карабкался впереди нее, а она медленно шла сзади, давала ему возможность самому цепляться за пучки трав, подтягиваться, скользить вниз и снова подниматься напрямик к дому, минуя плавный поворот шоссе, по которому ходили все нормальные курортники. Ему еще не исполнилось и трех лет, но характер у него был такой отчетливый, такой независимый, что и мать иногда забывала, что он почти младенец, и обращалась с ним, как со взрослым мужчиной, рассчитывала на помощь и покровительство, потом спохватывалась и, посадив малыша на колени, подкидывала легонько, приговаривая «Поехали за орехами... поехали за орехами», а он хохотал, проваливаясь между коленями в натянувшийся подол материнской юбки....

— Сашка — пташка! — поддразнивала его мать.

— Женька — пенька! — радостно отзывался он.

Так целую неделю они жили вдвоем в большом доме, занимая самую маленькую из комнат, а все другие, ожидая жильцов, были чисто вымыты, приготовлены к заселению. Была середина мая, сезон только начинался, была холодноватая, не купальная пора, зато южная зелень не огрубела, не выцвела, а утра были такие ясные и чистые, что с первого дня, когда Женя случайно проснулась на рассвете, она не пропустила ни одного восхода солнца, ежедневного спектакля, о котором она прежде и не слыхивала. Жили они так прекрасно и мирно, что Женя усомнилась даже в медицинских диагнозах, которые были определены ее буйному и заводному ребенку детскими психиатрами. Он не скандалил, не закатывал истерик, пожалуй, его можно было бы даже назвать послушным, если бы Женя имела точное представление о том, что вообще означает «послушание»...

На второй неделе в обеденное время возле дома остановилось такси, и из него вывалилась целая прорва народу: сначала шофер, доставший из багажника странное железное приспособление неизвестного назначения, потом большая красивая женщина с львиной гривой рыжих волос, потом кособокая старушка, которую немедленно воткнули в снаряд, образовавшийся из плоского приспособления, потом мальчик постарше

Сашки и наконец сама хозяйка дома Дора Суреновна, нарядно накрашенная и суетливая более, чем обычно...

Дом был расположен на склоне холма, стоял криво, наперекосяк всему, шоссейная дорога проходила под ним, другая, земляная, разбитая, выше усадьбы, а сбоку еще прибивалась тропка — кратчайший путь к морю... Зато сам хозяйский участок был чудно устроен — в центре всего стоял большой стол, плодовые деревья обступали его со всех сторон, а два дома, один против другого, душ, уборная, сарайчик закруглялись вокруг, как театральная декорация. Женя с Сашей сидели с краю стола, ели макароны и, как только вся компания вывалилась в закругленный дворик, лишились аппетита.

— Привет, привет! — Рыжая бросила чемодан и сумку и плюхнулась на скамью. — Никогда вас здесь не видела!

И сразу все расставилось по местам: рыжая здесь была своя, основная, а Женя с Сашкой новенькие, второстепенные.

— А мы здесь в первый раз, — как будто извинилась Женя.

— Все бывает в первый раз, — философски ответила рыжая и прошла в большую комнату с террасой, на которую Женя попервоначалу нацелилась, но получила решительный хозяйский отказ.

Шофер сволок вниз старушку в ее клеточке, старушка слабо что-то верещала, как показалось Жене, на иностранном языке.

Саша встал из-за стола и с видом важным и независимым удалился. Женя собрала тарелки, отнесла на кухню: знакомство все равно было неизбежным. Эта рыжая своим появлением совершенно изменила весь пейзаж лета...

Беленький, с крутым курносым носом и невиданно-узким черепом мальчик обратился к рыжей уже явственно по-английски, но слов Женя не разобрала. Зато рыжая мамаша очень отчетливо отрезала: «Шат ап, Доналд».

Женя до того дня видом не видывала англичан. А рыжая с ее семейством оказались самыми что ни на есть англичанами.

Настоящее знакомство состоялось поздним, по южным понятиям, вечером, когда дети были уложены, вечерняя посуда вымыта, и Женя, накинув платок на настольную лампу, чтоб не светило на спящего Сашку, читала «Анну Каренину», что-

бы сопоставить некоторые события своей распадающейся личной-семейной жизни и настоящую драму настоящей женщины — с завитками на белой шее, женственными плечами, оборками на пеньюаре и с рукодельной красной сумочкой в пианистических пальцах...

Женя не решилась бы сунуться на освещенную террасу к новой соседке, но та сама стукнула крепкими полированными ногтями ей в окно, и Женя вышла, уже в пижаме и в свитере поверх — по ночам было холодно.

— Проезжая мимо «Партийного гастронома», что я сделала? — строго спросила рыжая. Женя туповато молчала, ничего остроумного ей в голову не приходило. — Купила две бутылки «Крымского», вот что я сделала. Может, ты не любишь портвейна, может, ты предпочитаешь херес? Пошли!

И Женя, отложив Анну Аркадьевну, пошла, как завороженная, за этой роскошной бабой, укутанной в какое-то не то пончо, не то плед, лохматое, клетчатое, зелено-красное...

На терраске все было вверх дном. Чемодан и сумка были распакованы, и удивительно было, сколько же в них поместилось веселого разноцветного тряпья — все три стула, и раскладушка, и половина стола были завалены. В складном кресле сидела матушка, с белесым кривоватым личиком и забытой на нем, видимо давным-давно, искательной улыбкой.

Рыжая, не выпуская изо рта сигареты, разлила портвейн в три стакана, в последний — поменьше и сунула его в руки матери.

— Матушку можно звать Сьюзен Яковлевна, а можно и никак не звать. Она по-русски ни слова не понимает, до инсульта немного знала, а после инсульта все забыла. И английский. Помнит только голландский. Детский язык. Она у нас чистый ангел, но абсолютно без мозгов. Пей, гренни Сузи, пей...

Ласковым движением рыжая сунула ей стакан, и та взяла его в обе руки. С интересом. Впечатление было такое, что не все на свете она забыла...

Первый вечер был посвящен семейной биографии рыжей — она была ослепительна. Безмозглый ангел голландского происхождения имел коммунистическую юность, соединил

свою судьбу с подданным Объединенного Королевства ирландской крови, офицером Британской армии и советским шпионом, пойманным, приговоренным к смертной казни, обмененным на нечто равноценное и вывезенным на родину мирового пролетариата...

Женя слушала, развесив уши, и не заметила, как напилась. Старушка в кресле тихо похрапывала, потом пустила деликатную струйку.

Айрин Лири — каково имя! — всплеснула руками:

— Дала себе расслабиться, забыла посадить на горшок. Ну теперь уже все равно...

И она еще час дорассказывала завидную семейную историю, и Женя все более пьянела, уже не от портвейна, который был выпит до последней капли, а от восхищения и восторга перед новой знакомой.

Разошлись они в третьем часу ночи, переодев и слегка помыв встрепенувшуюся ото сна и абсолютно ничего не понимающую Сузи.

Следующий день был хлопотным и шумным — утром Женя сварила завтрак, накормила всех овсянкой и увела обоих мальчишек гулять. Английский мальчик Доналд, родословная которого, несмотря на его российское рождение, тоже была восхитительна — его дедушка по отцовской линии был совсем уж знаменитым, но тоже провалившимся шпионом, обмененным на нечто еще более ценное, чем дедушка по материнской линии, — оказался на редкость славным: приветливым, хорошо воспитанным, и, что Женю к нему расположило не менее, чем к его рыжей матери, он сразу же отнесся к заводному и нервному Сашке великодушно и снисходительно, как старший к младшему. Собственно, он и был старшим, ему уже исполнилось пять. В нем сразу же открылось какое-то взрослое благородство: он немедленно отдал Саше затейливую машинку, показал, как у нее поднимается кузов, а когда они дотащились до киоска с водой, возле которого Сашка обычно начинал канючить и где Женя обычно покупала ему газировку в мутном стакане, пятилетний мальчик отвел рукой протянутый ему стакан и сказал:

— Вы пейте. Я потом.

14 Просто лорд Фаунтлерой. Когда Женя пришла домой, Айрин сидела за дворовым столом с хозяйкой, и по тому, как важная Дора пласталась перед новой жиличкой, видно было, что Айрин здесь высоко ценится. Всем был предложен хоязйский бараний суп, горячий и переперченный. Английский мальчик ел медленно и исключительно прилично. Перед Сашей стояла миска, и Женя готовилась, что ей сейчас придется потихоньку унимать Сашку, который в еде был строг: ел картофельное пюре с котлетами, макароны и овсянку со сгущенкой... И больше ничего. Никогда...

Сашка, однако, посмотрел на лорда Фаунтлероя и сунул ложку в суп... И впервые, кажется, в жизни съел еду не из своего списка...

После обеда дети спали, а женщины все сидели за столом. Дора с Айрин вспоминали прошлогодний сезон, говорили весело и смешно о незнакомых людях, о каких-то давних курортных историях. Сузи сидела в кресле с улыбкой, столь же постоянной и неуместной, как и ее коричневая родинка между носом и ртом. Женя посидела немного, выпила чашку хорошего Дориного кофе и пошла к себе — легла рядом с Сашкой и взялась было за «Анну Каренину». Но посреди дня чтение было неуместно и почти неприлично — она отложила лохматый том в сторону и задремала, сквозь сон представляя себе, что вечером будет сидеть с Айрин на ее террасе вдвоем, и без Доры... И пить портвейн. И как будет славно... И совсем сверху, как с облака, она вдруг поняла, что уже второй день, с самого приезда рыжей Айрин, не вспомнила ни разу о гнусной гадости жизни, которую можно еще назвать катастрофой — такой корявый черно-коричневый краб, который сосет ее изнутри... да ну его к черту, не так уж и интересна вся эта любовь — морковь... И опустилась до самого дна сна...

А когда проснулась, то все еще была немного на облаке, потому что откуда-то взялась веселость, которой давно уже не было, и она подняла Сашку, натянула на него штаны и сандалии, и они пошли в город, где была карусель, любезная Сашке, а напротив карусели — «Партийный гастроном».

«А почему "партийный" — надо спросить у Айрин», —

подумала Женя. Две бутылки портвейна. С вином в тот год было отлично: на него еще не напал Горбачев, и крымские вина производились совхозами, колхозами и отдельными дедками — сухие, полусухие, крепленые, массандровские и новосветские, дармовые и драгоценные... А вот сахара, масла и молока не было... Но об этом как раз забыли как о несущественном. Потому что жизнь была сама по себе очень существенна.

Вечером на террасе снова пили портвейн. Только матушку отвели спать пораньше. Она не возражала. Она вообще только кивала, благодарила на неизвестном языке и улыбалась. Лишь изредка вскрикивала «Айрин!», а когда дочь к ней подходила, смущенно улыбалась, потому что уже успела забыть, зачем ее звала.

Айрин сидела, уперев локоть в стол, а щеку в ладонь. Стакан был в правой. Игральные карты разбросаны были по всему столу — остатки сломанного пасьянса.

— Второй месяц не получается. Что-то у меня не сходится... Жень, а ты карты любишь?

— В каком смысле? В детстве с дедушкой в дурака на даче играла... — Женя удивилась вопросу.

— Может, так оно и лучше... А я люблю... И играю, и гадаю... Мне было семнадцать лет, мне одна гадалка предсказание сделала. Мне б его забыть... Но не забыла. И все идет как по-писаному... как та сказала, — Айрин взяла несколько карт, погладила их цветастые рубашки и бросила на стол мастями кверху — сверху оказалась девятка треф.

— Я ее терпеть не могу, а она вечно привяжется... Пошла отсюда... Изжога от нее...

Женя подумала немного и переспросила:

— То есть ты всегда знаешь, как все кончится? Не скучно?

Айрин вздернула желтую бровь:

— Скучно? Ну это ты не понимаешь ничего... Ой, не скучно... Да если тебе рассказать...

Айрин разлила остатки первой бутылки по стаканам. Отпила, отодвинула стакан.

— Ты поняла уже, Женька, что я болтлива? Все про себя рассказываю, никаких секретов не держу. И чужих тоже, имей

в виду — предупреждаю на всякий случай. Но было одно, чего я никому не рассказывала. Тебе — первой. Не знаю, почему вдруг мне захотелось...

Она усмехнулась, передернула плечом:

— И самой удивительно.

Женя тоже уперась локтем в стол и положила щеку на ладонь. Они сидели насупротив, с вдумчиво-абстрактным выражением уставившись друг в друга, как в зеркало... Жене тоже удивительно было, что Айрин выбрала вдруг ее для откровений. И льстило.

— Мать моя была красавица — вылитая Дина Дурбин, если тебе это что-нибудь говорит. И всегда была идиотка. Вернее, не идиотка, а слабоумная. Я ее очень люблю. Но в голове у нее всегда была каша: с одной стороны, она коммунистка, с другой — лютеранка, с третьей — любительница маркиза де Сада. Она всегда была готова отдать все, что у нее есть, немедленно и могла устроить отцу истерику, потому что ей вдруг нужен был срочно тот купальник, который она купила в тридцатом году на бульваре Сен-Мишель, на том углу, что ближе к Люксембургскому саду... Когда отец умер, мне было шестнадцать лет, и мы остались вдвоем. Она — надо отцу отдать должное, не понимаю, как это удалось при их немыслимо тяжелой жизни — отличалась полной, совершенно победительной беспомощностью: работать не могла ни дня, потому что при своих родных двух языках, английском и голландском, она не смогла выучить русский. За сорок лет! Отец работал на вещании, ее бы взяли. Но даже там, где в принципе русский не нужен, надо было все же сказать «Здравствуйте!» или прочитать надпись: «Тихо. Идет запись». Она не могла. Отец умер, и я сразу же пошла работать, образования у меня никакого, но я классная машинистка, печатаю на трех языках...

Так вот. Про предсказание. Была у меня старая подруга, англичанка, с двадцатых годов в России застрявшая. Есть такая небольшая колония русских англичан. Я, конечно, всех их знаю. Либо коммунисты, либо оставшиеся в России по каким-то причинам технари, чуть не с нэповских времен. Вот и эта Анна Корк, она по любви застряла. Любовь расстреляли, а ей

повезло, выжила. Отсидела, конечно. Ногу потеряла. Из дому она почти не выходила. Давала уроки английского. Гадала. За гаданье денег не брала. Но подарки — брала. Она меня кое-чему научила, да и я ей полезна была....

Однажды, когда я у нее торчала, пришла к ней красавица, что-то вроде генеральской или партийной жены: то ли родить не могла, то ли советовалась, брать ли ребенка на воспитание. И моя Анна говорит с ней в своей обычной манере, на невесть каком языке, с сильнейшим акцентом. А русский она знала, поверь, не хуже нас с тобой — восемь лет лагерей. Но, когда считала нужным, такой напускала акцент... Материлась же она — какой там Художественный театр! А тут она этой красавице — ни да, ни нет, извилисто и многозначительно, как и полагается гадалке, — то ли ребенок будет, то ли нет, но лучше, чтобы его не было...

А потом вдруг обернулась ко мне и говорит: «А ты с пятого начинаешь, запомни... С пятого...».

Чего я с пятого начинаю? Чушь какая. Я сразу же и забыла. Но в свой час вспомнила...

Айрин опять утонула подбородком в ладони. Задумалась. Глаза ее слегка отливали животным светом, как у кошки... Уют, нежность и тонкая тревога...

Были у Жени подруги, с которыми она вместе училась, вела разговоры о делах важных и содержательных, об искусстве и литературе или о смысле жизни. Она защищала диплом о русских поэтах-модернистах 10-х годов, и диссертационная тема ее была по тем временам очень изысканная — о поэтических перекличках поэтов модернистических течений и символистах 10-х годов. Жене повезло необыкновенно — руководителем диплома у нее была преклонных годов профессорша, которая в этой самой русской литературе распоряжалась как у себя на кухне. Эта боготворимая студентами и, главным образом, студентками профессорша Анна Вениаминовна знала всех этих поэтов не понаслышке, а лично: почти дружила с Ахматовой, чаи пила с Маяковским и Лилей Брик, слушала чтения Мандельштама и даже помнила живого Кузмина... Около Анны Вениаминовны Женя и сама обзавелась значительными знако-

мыми, вращалась среди гуманитарных интеллектуалов и претендовала на то, чтобы со временем и самой сделаться кем-нибудь значительным. И если честно говорить — такой пошлой болтовни, как в этот вечер, Женя сроду не слыхала. Странность же заключалась в том, что в пошлом этом разговоре содержалось нечто важное, и содержательное, и очень жизненное. Может, даже и пресловутый ее смысл?

Радуясь сладкому портвейному опьянению, тишине и заоконной тьме, в которой трепещущим пятном шевелился фонарный свет в листьях большого инжира, Женя еще и наслаждалась временным, как она догадывалась, освобождением от навязчивой нерешенности важных — важных ли? — своих жизненных задач...

Айрин смела со стола карты — часть упала на пол, часть приземлилась на стуле...

— Лежит Сузи на диване с книжкой с утра до вечера, сосет карамель. Теперь я понимаю — она была в депрессии, но тогда я видела только, что она превращается в моего ребенка. Имей в виду, это все задолго до инсульта. С ложки я ее, конечно, не кормила, но если я суп в тарелку не налью, могла три дня не есть... Я решила, что мне надо срочно завести ребенка, своего собственного, настоящего, потому что превращаться в мать собственной матери я совершенно не хотела. А так, может, она хоть бабушкой стала бы, коляску бы катала... Я наскоро вышла замуж, за первого попавшегося. Парень со двора. Красивый, совершеннейший дурень. Забеременела и девять месяцев ходила с пузом как с орденом. Говорят, токсикоз, самочувствие, давление... Что там еще у беременных? Вот у меня — ничего этого. Рожать иду прямо от пишущей машинки. Не успеваю допечатать, работу сдать. Ну, думаю, рожу по-быстрому и потом закончу, уже с ребеночком. Там оставалось на два дня работы... Оказалось не так. Обвитие пуповины. Ребенок мой погибает — акушерка молодая, врач распиздяйка. Проворонили моего ребеночка... Всего-то, что надо было — простую бабку-повитуху... А мне восемнадцать лет, идиотке. Пальчик загни: погиб мой первенец, Дэвид, в память отца я его хотела назвать. Молоко из меня хлещет, слезы ручьями...

Пристальными, сузившимися глазами Айрин смотрела на Женю, как будто прикидывая, стоит ли продолжать...

— У Сашки было обвитие, — потрясенным тихим голосом сказала Женя. Она знала, что это очень опасно для ребенка, но впервые видела мать, которая действительно потеряла ребенка из-за этой дурацкой петли, которая верно служила младенцу все девять месяцев, а потом вдруг задушила...

— Через два месяца я снова забеременела. Ты характера моего не знаешь: если мне чего надо, я из-под земли вырою. Снова хожу. Уже не такая веселенькая, то тошнит, то пучит, то немеет... Но ничего, бодрая. Муж мой, мудило огородное, работал автослесарем. Я же тебе говорю, за первого попавшегося замуж выскочила. Что заработает, то и пропьет. Внешность — Ален Делон один к одному, только роста хорошего. Я сижу старательно, колочу по машинке, прилично выколачиваю. На «барбарис» для Сузи хватает.

В первый раз я точно знала, что мальчик. А тут я девочку себе распланировала. Пузо растет, а у меня одна бабья радость: копейку заработаю — и в «Детский мир». Носочки... распашоночки... ползуночки... Все советское, тупое, грубое. А я росла дворовой девчонкой, на заборах висела... Родителей ведь сначала в город Волжск под чужой фамилией поселили. Я только в десять лет свое настоящее имя узнала. Родителей рассекретили, и мамина сестра прислала первую посылку. Там и кукла была. А я их терпеть не могла, я и девочкой не хотела быть. Ревела, когда меня в юбку заталкивали. А когда грудь начала расти, я чуть не повесилась, — Айрин расправила плечи, большая бабья грудь шевельнулась от шеи до пояса.

Женя смотрела на нее с тонкой завистью: у человека была биография... Да и по Айрин видно было, что она знает о своей значительности.

— Девочка родилась красавицей — с первой минуты. Ничего новорожденного, никакой слизки, красноты, шершавости. Глаза синие, волосы черные, длинные. Это — от автослесаря. Черты лица — вылитая я. Мой нос, подбородок, овал лица...

Женя как будто в первый раз увидела Айрин: за яркой

рыжестью не сразу было разобрать, что она красавица. Да и овал лица, и нос, и подбородок... И даже зубы, у кого другого лошадиные, а у нее — английские: длинные, белые, чуть выпирают вперед, как раз столько, чтобы губы приподнимались как будто навстречу, ожидающе...

— Я на нее посмотрела, и сразу увидела, что зовут ее Диана. И никак иначе. Она была маленькая, очень складная и с длинноногой женской фигурой. И с крутой попкой. Это была самая красивая девочка на свете. Нет, это не мое материнское воображение. Все над ней ахали. Автослесаря я выгнала на третий день, как из роддома выписалась. Он просто оскорблял мой глаз. Когда он первый раз взял ее на руки, мне сразу стало ясно: у Дианы должен быть другой отец. Дело не во мне. Я еще не была женщиной. С автослесарем не получилось, но я этого и не понимала. Он взял ее на руки, и я увидела, какой он жлоб. Это мне моя дочь продемонстрировала. Она была умна и спокойна. Я в жизни не встречала такой — не смейся! — женщины. Она отлично знала, как себя с кем вести, от кого чего ожидать. Можешь себе представить, она относилась к Сузи снисходительно. Не плакала, если я оставляла ее с бабкой. Понимала, что бессмысленно. Ей было месяца четыре, когда я начала читать ей книжки. Когда ей нравилось — говорила «да-да-да»... Не нравилось — «не-не-не». К полугоду она понимала все, буквально все, а к десяти месяцам начала говорить. Погулила месяц и сказала: «Мама, муха летит». И правда — муха...

Я очень долго ее кормила. Молоко не уходило, а она любила грудь. Прижмется, пососет, потом рукой по груди погладит и говорит: «Спасибо». А потом я заболела гриппом. Температура подскочила выше сорока — я вырубилась. Кормить не могу. Подруги набежали, Диану кормят кефиром, кашей, ей уже к годику подходило. Она просится ко мне, а ее не пускают, чтоб не заразилась. Она кричала из маленькой комнаты: «Мама, я не понимаю!» Сузи тоже свалилась. И что за такая крепкая зараза выдалась, подруги мои все, одна за другой, тоже от меня подхватили. Не помню ничего.

Айрин загородила глаза руками, как будто от сильного света. Волосы почти закрыли ее лицо. Женя уже знала, что не-

что ужасное сейчас произойдет, тогда произошло... Но все-таки немного надеялась...

— Потом встала, подхожу к Диане — она горит, — продолжала Айрин, и Женя заметила, как покраснели ноздри и бледные веки англичанки. — Вызвала врача. Ей сразу же стали колоть антибиотик. После двух уколов — у Дианы аллергическая реакция. Всю засыпало. Ну, моя дочь. Я ведь сама аллергик. Прописывают ей тот же самый седуксен, что и мне. Только в двадцать раз дозировка меньше. А мне — все хуже. Температура сорок, временами как будто уплываю. Прихожу в себя — кефир Диане, кефир маме... Временами кто-то заходит, уходит. Скандалю с врачом, которая требует немедленной госпитализации. Какие-то подруги мелькают. Соседка. Помню, автослесарь приперся. Пьяный. Я его прогнала.

Встаю, как в полусне, — Диану посажу на горшок, переодену, суну таблетку... Она, прелесть моя, от зеркала отворачивалась, говорила «не надо»... Ей сыпь на лице не нравилась.

Упаковки, Женя, были совершенно одинаковые, мой седуксен и ее. Я не знаю, сколько я ей дала седуксена. Тем более, что жизнь-то шла не по часам. У меня — сорок, какие часы. Ни утра, ни вечера не разбирала. Но твердо помнила, что надо дать Диане лекарство... На дворе декабрь — тьма круглые сутки... Двадцать первого декабря, в самый зимний солнцеворот, встала я, подхожу к Диане, трогаю — холодная. Температура спала, думаю. А ночник горит. Я смотрю — личико белое-белое. Сыпи нет больше... Не стала будить, легла. Потом встаю опять, думаю, пора лекарство давать. И только тогда я поняла, что Диана моя прекрасная мертвым-мертва...

Женя увидела эту картинку — как в кино: в длинной белой рубашке Айрин, склонившаяся над детской кроваткой, и как она вынимает из кроватки в белой же рубашке девочку. Только лица девочки Женя не увидела, потому что оно было загорожено этими рыжими сияющими волосами, которые и теперь живут, вьются, блестят... а Дианы уже нет...

Плакать Женя уже не могла, потому что в сердце у нее что-то спеклось горьким комком, и слезы больше не шли.

— Хоронили мою девочку без меня, — Айрин посмотрела

Жене в глаза таким прямым и безжалостным взглядом, и Женя подумала: «Господи, как я могу думать о всякой чепухе, когда в жизни вот такое происходит...». — У меня сделалось воспаление мозговых оболочек, три месяца я провалялась по больницам, потом меня учили заново ходить, ложку в руках держать. Живуча я, как кошка, — Айрин засмеялась горьким смехом.

Да, голос у Айрин был необыкновенный — один раз услышишь и никогда не забудешь: хриплый, мягкий, и казалось, что это голос певицы, которая себя сдерживает, потому что если запоет, то все будут рыдать и плакать от такого голоса, и рваться туда, куда этот сиренический звук повелит...

И Женю от этого предполагаемо-прекрасного пения прорвало, и она заплакала, и едкая горечь от этого рассказа стала выливаться из нее слезными струями. Айрин подсунула ей белый платок, кружевной, пахнущий духами, и Женя мгновенно измочила его.

— Сейчас ей шел бы шестнадцатый год. Я совершенно точно знаю, как бы она выглядела, как разговаривала, двигалась. Рост, фигура, голос — я все это знаю совершенно точно. Я знаю, какие люди ей нравились бы, кого бы она избегала. Что она любит из еды. И чего терпеть не может.

Айрин сделала паузу, и Жене показалось, что она всматривается во тьму, как будто там, в углу, стоит девочка — тонкая, синеглазая и черноволосая, но совершенно невидимая...

— Больше всего на свете она любит рисовать, — все не спуская глаз со сгустившейся в углу тьмы, продолжала Айрин. — Уже с трех лет было видно, что ей назначено быть художником. Картины ее были совершенно безумными. К семи года они более всего напоминали Чюрлёниса. Потом рисунок стал крепче, хотя мистичность и нежность сохранялись...

«Безумие, — догадалась Женя. — Настоящее безумие. Потеряла ребенка и сошла с ума».

Но вслух не сказала. Айрин же засмеялась, встряхнула своей медной проволокой. Казалось, волосы ее зазвенели.

— Ну, если хочешь, безумие. Хотя есть рациональное объяснение любому безумию. Часть ее души осталась во мне. Иногда на меня находит что-то, и мне страшно хочется рисовать, и я

рисую. То, что рисовала бы моя Диана. В Москве я покажу тебе целые папки Дианиных рисунков за все эти годы...

Портвейн давно закончился. Время перевалило за три, и они разошлись — к уже сказанному невозможно было добавить ни слова...

Наутро отправились на большую совместную прогулку. Дошли до почты, позвонили в Москву. Потом обедали на набережной, в чебуречной. Женя была уверена, что чебуречный притягательный запах коварно вовлечет их в какое-нибудь хрестоматийное желудочно-кишечное заболевание вроде дизентерии, но понадеялась, что Саша, верный своему пищевому минимализму, откажется от пахучих треугольных пирожков. Однако Саша сказал «да» и снова съел продукт не из своего священного списка... Это был уже второй случай...

Вечерние портвейные посиделки, по крайней мере в таком узком кругу, заканчивались: назавтра приезжали две подруги Айрин, одна из которых, Вера, была и Жене хорошо знакома — она-то и дала ей этот адрес на улице Приморской... И Жене заранее было немного жаль, что дружить вдвоем дальше уже не получится.

Последний вечер начался позднее обычного, потому что Сашка долго капризничал, не отпускал от себя Женю. Заснув, просыпался, ныл, снова засыпал, и Женя, прикорнув рядом с ним, задремала, и если бы Айрин не стукнула ей в окно уже в начале двенадцатого, так до утра бы и проспала в брюках и свитере...

И снова было у них две бутылки крымского портвейна, и заоконная тьма, даже и без фонаря на этот раз, потому что электричества в тот день не было, и две толстые белые свечи, привезенные из Москвы именно для такого случая, освещали террасу. Сузи и Доналд давно спали в комнате, а Айрин сидела на террасе в глубоком кресле, укутавшись в свою красно-зеленую клетку и разметав карты перед собой.

— Эта «Дорога на эшафот», старинный французский пасьянс, чаще раза в год он не получается. А сейчас я сидела, ждала тебя — и вот, сложился... В этом знак расположения к дому, времени, этому месту... Отчасти и к тебе. Хотя у тебя совсем другие покровители, от другой стихии...

Женя, имеющая к мистике смутное влечение, но несколько стыдившаяся такого атавизма, осмелела и задала предлагаемый вопрос:

— Какая это моя стихия?

— Да от автобусной остановки видно — вода. Водная твоя стихия. Стихов не пишешь? — деловито спросила Айрин.

— Когда-то писала. Но вообще-то у меня диплом по русской поэзии прошлого века был, — стыдливо призналась Женя.

— Я же вижу — Рыбы, натуры поэтические... Живут в воде.

Женя потрясенно молчала — по Зодиаку она действительно принадлежала к Рыбам.

— В двадцать лет, Женя, я была матерью двух умерших детей, — без предисловия продолжила Айрин с того самого места, где остановилась вчера. — Еще два года у меня ушло на то, чтобы научиться жить дальше. Была помощь. Не без этого, — она сделала рукой неопределенный жест, направленный более или менее к небесам. — А потом я встретила человека, который был мне предназначен. Он был композитор, русский аристократ из семьи, бежавшей в революцию во Францию и после войны вернувшейся. Он был старше меня на пятнадцать лет. И, как ни странно, он никогда не был женат, хотя биография его была очень богатой по части женщин. Отец его был товарищем министра, а одно время членом Госдумы... В некотором смысле, полная противоположность моим англо-голландским коммунистическим предкам. И тем не менее отец его, Василий Илларионович — фамилии не назову, слишком громкая в России фамилия, — был поразительно похож на моего отца и внешне, и внутренне... Коммунистов они сильно не любили. Но меня они приняли, несмотря на мой коммунистический хвост. С другой стороны, им деваться-то было некуда: мы с Гошей влюбились друг в друга до беспамятства, сразу упали друг другу в объятия, а наутро он отвел меня в ЗАГС, считая, что дело решенное, и бесповоротно. И началась моя вторая жизнь, в которой ничего не было от прошлой, кроме моей мамы, которая, надо отдать ей должное, просто ничего не заметила. Не думай только, что это было после ее инсульта. До!

Она действительно ничего не заметила, время от времени называла моего второго мужа именем первого, а мы с Гошей только смеялись... Он образование получал во Франции и в Англии, вернулись они в Россию в пятидесятом, немного пожили в ссылке... Ну, сама понимаешь, обыкновенная такая история. Мы познакомились в тот год, когда их семью прописали наконец в Москве и дали двухкомнатную квартиру в Бескудниково — как потомкам декабристов. Взамен дачи под Алуштой и дома на Мойке...

Смутная, недопроявленная мысль о том, по какому же таинственному закону так укладываются друг к другу редкие, особо задуманные люди, вроде дочери русского шпиона английского происхождения и потомка декабристов, родившегося в изгнании в Париже, пришла Жене в голову, и она даже хотела Айрин об этом сказать, но постеснялась прервать ее медлительный и почти медитативный рассказ...

— Я сразу же забеременела, — Айрин улыбнулась не Жене, а в отдаленное пространство. — Георгий не знал, что к этому времени я уже потеряла двух детей. Я скрыла про детей... не хотела, чтобы он меня жалел... Это была самая счастливая беременность на свете. Живот рос со страшной силой, а Гоша ночами лежал на моем животе и слушал.

— Что ты слушаешь? — спрашивала я.

— О чем они говорят, — он был уверен, что родится двойня.

Под конец и врачи установили, что два сердцебиения прослушиваются. И я родила двух прекрасных мальчиков, один рыжий, другой — черноволосый. Оба по три с лишним килограмма. Хочешь верь, хочешь не верь: с первого часа они друг друга невзлюбили, да так, что и родителей поделили — рыжий Александр выбрал меня, черненький Яков — Гошу. Было страшно тяжело. Когда один засыпал, другой кричал. Когда я кормила одного, другой надрывался от воплей, хотя был уже покормлен. Потом они научились кусаться, плеваться, драться... Один вставал на ноги, другой его немедленно валил. Их на минуту нельзя было оставить вдвоем. Но стоило их разлучить, как они начинали рваться друг к другу. Увидевши, кида-

лись навстречу — целовались, и тут же начинали драку. Какие-то особые, обостренные отношения были у моих двойняшек. Я говорила с детьми по-английски, Гоша — по-французски. Они, когда начали говорить, и языки поделили: Александр заговорил по-английски, Яшка — по-французски. Ну, это естественно. Между собой они говорили по-русски. Но не думай, что их этому специально учили. Они все выбирали себе сами, и заставить, принудить их к чему-то было невозможно. Мы с Гошей, наблюдая за ними, ловили кайф: это было наше наследство — эти паршивые гены своеволия и упрямства.

Жили мы круглый год в Пушкино, снимали там зимнюю дачу, перевезли с собой и грэни Сузи. Она тогда была еще в относительном порядке. То есть романы еще читала... Ни проку, ни помощи, как ты понимаешь, от нее никогда никакой... Гошу взяли, наконец, преподавать в музыкальное училище. Класс композиции. Он был супер-овер-квалифайд для этой работы. Ему бы в консерваторию... Но западная его выучка всех отпугивала. Иногда для кино музыку писал. В основном же зарабатывал он переводами, я по-прежнему печатала, хотя он страшно негодовал, когда я брала работу. Была у него паршивая машина, «Москвич», на которой он гонял в Москву, а вернувшись, каждый раз чинил... Это была умная машинка — всегда ломалась возле дома. Мы были страшно счастливы — и валились с ног от усталости.

Весной, когда начинается цветение, я всегда болею. Аллергия. В ту весну цветение было особенно сильным, и я все время пыхтела, задыхалась. Пока шли дожди, я кое-как, с таблетками, справлялась. А потом наступила жара, и на второй жаркий день у меня началось настоящее удушье. Отек Квинке называется. Ближайший телефон был на почте, пушкинская «Скорая» в те времена была такая же редкая птица, как страус. И Гошка разбудил среди ночи мальчишек, наспех одел, погрузил их на заднее сиденье — мы боялись оставлять на Сузи, она с ними не справлялась. Разбуженные среди ночи, они были на редкость смирными и даже не дрались, а уселись на заднем сиденьи в обнимку. Потом Гоша вытащил меня, посадил на переднее сиденье и повез в местную больницу.

И гнал изо всех сил, потому что я еле свистела и цветом была как вареная свекла...

Айрин закрыла глаза, но не совсем плотно, маленькая светлая полоска, как из-под двери, пробивалась. Жене показалось, что Айрин потеряла сознание. Женя вскочила, потрясла ее за плечи. Та как будто очнулась. Засмеялась своим особенным, певческим смехом.

— Вот и все, Женя. Я тебе все и рассказала. Отек был такой сильный, что я уже ничего не видела, не чувствовала. Вылетевшего на нас самосвала я не видела и не почувствовала самого удара. Выжила я из всех одна. Когда меня положили на операционный стол, никакого отека Квинке у меня не было — он прошел в момент столкновения. Совершенно неправдоподобно... Но я осталась жива...

Айрин откинула с правой стороны головы волосы — глубокий гладкий шов начинался за ухом и шел вдоль черепа. Женя зачем-то провела по нему пальцем.

— Он совершенно нечувствителен, этот шов. Я — медицинский феномен. У меня чувствительность почти нулевая. Скажем, порежу палец — не замечаю. Только когда увижу, что кровь течет. Это опасно. Но и удобно отчасти.

Айрин протянула руку к лежавшей на стуле сумке, достала из нее длинную коробочку размером в три спичечных, достала из нее большую иглу и вогнала ее в белейшую кожу у основания большого пальца. Игла мягко углубилась в тело. Женя вскрикнула. Айрин засмеялась.

— Вот что со мной произошло. Я потеряла чувствительность. Когда мне сказали, спустя три недели после катастрофы, что у меня нет ни мужа, ни детей, это было вот так, — Айрин вытащила иглу, и появилась небольшая капля крови. Айрин ее слизнула. — И вкус у меня почти потерян. Различаю соленое от сладкого, но не более того. Иногда мне кажется, что это только воспоминание от вкуса, с тех времен, когда я еще все чувствовала...

Айрин разлила остатки и встала, шумно отодвинув кресло. Жилье у нее было самое удобное в Дориной усадьбе: кроме террасы была еще и отдельная кухонька в сенях. Там у Айрин

был припрятан небольшой винный запас: шесть бутылок, купленные к завтрашнему приезду подруг. Она долго шарила там в темноте, потом принесла бутылку хереса.

Все слезы из Жени вытекли еще вчера — новых за последние сутки как-то не образовалось. В горле стояла сухость, щипало и першило в носу.

— Английская ведьма Анна Корк оказалась права: Доналд — мой пятый ребенок. Как она и предсказала: с пятого начинаешь...

Сначала тьма разбавилась, потом сделалось серо, запели птицы. Когда история закончилась, совсем уже рассвело.

— Может, кофе сварить? — спросила Айрин.

— Нет, спасибо. Я посплю немного, — Женя ушла в свою каморку и легла лицом в подушку. Прежде чем уснула, успела еще подумать: как глупо я живу, можно сказать, что и не живу вообще. Подумаешь, ну разлюбила одного, полюбила другого... Тоже мне, драма жизни... Бедная Айрин — четверых детей потерять... И она особенно горячо жалела Диану, синеглазую длинноногую Диану, которой сейчас было бы шестнадцать лет...

Ближе к вечеру приехала из Москвы целая команда: Вера со своим вторым мужем Валентином, который до того был женат первым браком на Нине, Нина и старший Нинкин сын — от Валентина. Кроме того, две младшие дочки Нины, уже от второго брака. С Верой было двое детей — младший сын был от Валентина, а дочка — неизвестно от кого, то есть рождена от незнакомого всем остальным первого ее мужа. В общем, это была дружная современная семья.

Сексуальная революция уже шла к закату, и вторые браки оказывались крепче первых, а третьи — совсем похожи на настоящие...

Дворик Доры Суреновны наполнился разновозрастными детьми, и смежные соседки посматривали через ограду справа и слева и завидовали Доре, как это ей удается начать сезон на месяц всех раньше, а закончить — на два месяца позже... И происходило это уже много лет. Они не догадывались, что все дело было в Айрин: куда ехала она, там вокруг нее тотчас образовывалась толпа, колхоз и фейерверк, а также первомай-

ская демонстрация бюстгальтеров с вываливающимися молочными железами и бикини с пупками и ягодицами, возбуждающими крымских соседок до такой степени, что они хотели бы всем этим бесстыжим блядям отказать в квартирах, но жадность не позволяла.

Сама Дора устраивала некое подобие пансиона, не «бед-энд-брекфаст», а «койка-с-обедом», вот какова была услуга. Муж Дорин работал шофером в санатории имени «XVII Партсъезда», водил автобус, ездил за отдыхающими в Симферополь, добывал и продукты. Дора кормила всех своих постояльцев и зарабатывала за сезон столько, что и от участкового, и от фининспектора откупалась без особого для себя разорения.

Первые три дня прошли в благоустройстве. Нина, мать трех детей, была страшно домовита и распространяла вокруг себя домашний уют и женскую организацию жизни. Когда все занавесочки были развешены, вазочки расставлены, половички вытрясены, она составила расписание, согласно которому каждый день две мамаши при детях, а две, закупив с утра продукты, в оставшееся время отдыхают...

Утром четвертого дня, согласно новому расписанию жизни, отдыхали Женя с Верой. План был у них следующий: они провожали до автобусной станции Валентина, который, выполнив функцию по доставке обеих семей, возвращался в Москву, потом покупали молоко, если повезет, а потом они собирались погулять по голой природе, без мячей, детей, визга и воплей... И все шло по плану: проводили мужа, не купили молока по причине его незавоза и отправились по шоссе в сторону холмов, откуда пахло юной травой, сладкой землей и где стояли розово-лиловые облака тамарисков в полном цвету.

Они уже свернули с шоссе, и хотя шли по тропе вверх, идти было легко и вольно. Они даже и не особенно между собой разговаривали — так, перебрасывались необязательными словами...

Потом дошли до семейства акаций, сели в жидкую тень маломощной листвы и закурили.

— Ты давно Айрин знаешь? — спросила Женя, которая, хоть прошло уже немало дней, все никак не могла оторваться от

крупной судьбы рыжей англичанки, перед которой старомодное самоубийство Анны Карениной поблекло и стало вроде как бы причудой вздорной барыни: любит, не любит, плюнет, поцелует...

— В одном дворе выросли. Она была старше на класс. Мне с ней дружить не разрешали. Она была хулиганка у нас, — засмеялась Вера. — А меня к ней тянуло. Да к ней всех тянуло. У них в квартирке полдвора всегда торчало. И Сьюзен Яковлевна до инсульта была прелесть какая тетка. Мы ее Барбариска звали — она вечно всех детей карамелью угощала...

— Кошмарная судьба какая... — вздохнула Женя.

— Ты про ее отца? Шпионство, что ли? Что ты имеешь в виду? — слегка удивилась Вера.

— Да нет, я про детей.

— Про каких детей, Жень? — еще более удивилась Вера.

— Диана, и эти близнецы...

— Какая Диана? Ты про что?

— Про детей Айрин... Которых она потеряла, —предчувствуя ужасное, объяснила Женя.

— Ну-ка, поподробнее. Каких это детей она потеряла? — вскинула бровь Вера.

— Дэвид, первый ее ребенок, умер при родах, от обвития пуповины, потом Диана, ей годик был, и несколько лет спустя в автокатастрофе погиб ее муж-композитор и близнецы, Александр и Яков... — перечислила Женя граммофонным голосом.

— ... Твою мать... — потрясенно сказала Вера, — и когда же это с ней все случалось?

— Ты что, не знала? — изумилась Женя. — Дэвида она родила в восемнадцать лет, Диану в девятнадцать, а близнецов года три, что ли, спустя...

Вера погасила старую сигарету и раскурила новую —сырая сигарета плохо разгоралась, и пока Вера над ней пыхтела, Женя судорожно трясла новую пачку, из которой ничего не вытряхивалось. Вера молчала, тянула в себя горький дым, а потом произнесла:

— Слушай, Жень, я должна тебя огорчить. Или обрадовать. Дело в том, что дом наш в Печатниковом расселили десять лет тому назад, а именно в шестьдесят восьмом году, и

было тогда Айрин двадцать пять лет. И к тому времени у нее на счету была армия любовников, десяток, наверное, абортов и никаких детей — клянусь! — у нее в помине не было. Как и мужей. Донька — ее первый ребенок, а замуж она никогда и не выходила, хотя любовники у нее были очень знаменитые, даже с Высоцким был у нее роман...

— А Диана? — тупо спросила Женя. — А Диана?

Вера пожала плечами:

— Мы в одном подъезде все годы жили. Ты что думаешь, я бы не заметила, что ли?

— А шрам на голове от автомобильной катастрофы? — Женя трясла Веру за плечи, а та вяло уворачивалась.

— Ну что шрам, что шрам? С катка шрам. У Котика Кротова были «ножи», ну коньки такие, беговые, она упала, а он ей «ножом» прямо по голове проехал. Кровищи было... Он и правда чуть ее не убил. Ей голову зашивали...

И Женя сначала заплакала. Потом начала хохотать как безумная. Потом снова принялась рыдать. Потом они докурили обе пачки сигарет, которые были с собой. Наконец Женя опомнилась — никогда еще она с Сашкой не расставалась на столь долгий срок... Они заторопились домой. Женя пересказала Вере всю историю Айрин, вчера завершенную. Видимо, вчера и сочиненную. Вера рассказала ей встречную — подлинную. Совпадали обе истории в самом неправдоподобном месте — по части резидентского прошлого ирландско-британского коммуниста, приговоренного к смертной казни и обменянного на отечественного шпиона...

Когда они пришли к дому, Женя чувствовала себя выпотрошенной. Дети уже поужинали и чинно играли за большим столом в детское лото, где вместо цифр были репки, морковки и варежки. Сашка, вцепившись в лотошную карточку, махнул матери рукой, сказал «Ура! Мой заяц!» и накрыл своего зайца картинкой. Он был равный среди равных, а вовсе не отсталый, больной или особо нервный...

Остальные сидели у Айрин на террасе и пили херес. Сузи с блаженным лицом тянула маленькими глотками из стакана. Вера поднялась на терраску и уселась с остальными...

Женя ушла к себе. Ее звали с террасы, но она крикнула из комнаты, что болит голова. Легла на кровать. Голова как раз и не болела. Но надо было что-то сделать с собой. Произвести какую-то операцию, после которой можно было бы снова пить вино, болтать с приятельницами, общаться с другими, более образованными и умными подругами, оставшимися в Москве...

Дети закончили с лото. Женя вымыла Сашке ноги, уложила, погасила свет. Кто-то из подруг позвал ее усиленным до крика шепотом:

— Женя! Иди пирог есть!

— Сашка еще не заснул. Я попозже, — таким же театральным голосом ответила Женя.

Она лежала в темноте и исследовала свою душевную рану. Рана была двойная. Одна — от потраченного зазря сострадания к несуществующим, гениально выдуманным и бесчеловечно убитым детям, особенно к Диане. Болело вроде ампутированной ноги — несуществующее. Фантомная боль. Хуже того — никогда и не существовавшее. И вторая — обида за себя самое, глупого кролика, над которым совершили бессмысленный опыт. Или смысл какой-то был, но недоступный пониманию...

Снова кто-то тихо постучал в окно. Ее звали. Но Женя не откликнулась — невозможно было представить себе выражения лица Айрин, которая сразу же догадалась бы, что разоблачена... И ее голоса... И своего собственного стыда перед стыдом этого стыда... Женя пролежала, не засыпая, до того часа, пока не погас свет на террасе. Тогда она встала, зажгла маленькую лампочку на стене и покидала в чемодан все вперемешку — чистое, грязное, игрушки, книжки. Только Сашкины резиновые сапоги сообразила завернуть в грязное полотенце.

Ранним утром Женя с Сашкой вышли из дому с чемоданом. Они пошли к автобусной станции, и Женя не знала, куда они дальше двинутся. Может, в Москву. Но там, на станции, стоял один-единственный старый, чуть ли не довоенный автобус, на котором было написано «Новый Свет», и они сели в него, и через два часа были совсем в другом месте.

Сняли комнату возле моря и прожили там еще три недели. Сашенька вел себя идеально: никаких истерических припад-

ков, которые так беспокоили и Женю, и врачей. Он ходил босиком вдоль воды, забегая на мелководье и топая по воде голыми пятками. И ел, и спал. Похоже, он тоже перешел какой-то рубеж очередного созревания. Как и Женя.

В Новом Свете было чудо как хорошо. Еще цвели глицинии, и горы были совсем рядом, прямо за домом дыбился каменистый склон, по которому можно было за два часа добраться до аккуратно-округлой, по-японски устроенной вершины и смотреть оттуда на неглубокую бухту, на морские камни с древнегреческими именами, торчащие из воды от самого сотворения мира.

Но иногда вдруг прихватывало сердце: Айрин! Зачем она их всех убила? Особенно Диану...

2. Брат Юрочка

С вечера поднялся низовой ветерок, он задирал бабам юбки и холодил ноги, а к утру пошел дождь. Молочница Тарасовна принесла трехлитровую банку утренней дойки молока и сказала Жене, что дождь теперь зарядил на сорок дней, потому что нынче Самсон. Женя не поверила, но расстроилась: а вдруг правда? Она с самого начала лета сидела в деревне с четырьмя — двумя своими, Сашкой и Гришкой, и двумя подброшенными, дружески родственными, крестником Петькой и сыном подруги Тимошей. Четыре мальчика от восьми до двенадцати, небольшой отряд. С мальчиками Женя умела управляться, их природа была ясна, и предсказуемы были их игры, и ссоры, и драки.

За неделю до дождя, который и действительно оказался затяжным — сорок, не сорок, пока неизвестно, но затянуло все небо и капало без перерыва, — дачная хозяйка привезла свою десятилетнюю дочку Надьку, которая должна была ехать в лагерь на юг, да лагерь сгорел....

Девочка удивила Женю своей розовой смуглой красотой, не то цыганской, не то индийской. Но скорее всего, южнорусской. Странно было, как от грубой мордатой медведицы произошел такой благородный отпрыск. Одно только было об-

щим у матери и дочери — мускулистая полнота, не болезненная, а как раз та, про которую в деревне говорят: гладкая...

Пока погода была еще хорошей, Надино присутствие никак не изменило отлаженной жизни. На опушке Нефедовского леса у мальчишек шло строительство третьего шалаша, они с утра уходили в леса и по индейским законам, в полном соответствии с картинкой из Сеттона Томпсона, плели, рубили и вязали. Надя заикнулась было, не пойти ли ей с ними, но получила молчаливый и решительный отказ. Она не особенно огорчилась, хотя и поставила их на место:

— Юра, мой старший брат, в прошлом году на дереве шалаш построил. Но ему-то четырнадцать...

Хотя она и не была местной, но и дачницей здесь не считалась — дом был потомственный, принадлежал вымершей родне, которая носила ту же фамилию Малофеевых, что и Надькина мать, москвичка. Знала Надя всех местных, и взрослых, и детей, уходила с утра в обход, по домам, приходила к обеду, не опаздывая, потом, даже без Жениных указаний, перемывала всю грязную посуду, на удивленье споро и чисто, и снова уходила, теперь уже до ужина, по соседям.

На третий день оказалось, что, несмотря на выказанное презрение, Надька все же интересует мужских обитателей дома. Но она не то обиделась на них, не то увлеклась заброшенными за целый почти год прежними деревенскими подругами, но больше за ними никуда не увязывалась, только один раз пошла со всеми вместе на биостанцию, куда повела всех Женя — навестить своего университетского приятеля-чудака, который уже лет десять жил в глубине Нефедовского леса и наблюдал за птицами и прочими животными, которые предоставляли его любимым птицам либо корм, либо смерть. Он всему вел учет и счет, описывал природу и погоду скрупулезно и дотошно. При нем жили юные натуралисты, старшеклассники, тоже любители природы, они присматривали кто за дятлами, кто за муравьями, кто за дождевыми червями — у каждого был особый интерес, все вели дневники. Женя, собственно, и сняла эту дачу на лето, имея в виду, что сыновей пристроит к натуралистам, а сама будет лежать в гамаке,

книжечки почитывать и размышлять о своей неудачливой личной жизни.

Но ничего такого не произошло — Сашка с Гришкой живой природой в ее естественном виде не увлеклись, а развлекались по-деревенски: плавали в мелкой речушке, катались на велосипеде, ходили на дальний Трифонов пруд и удили там рыбу, интересуясь исключительно ее количеством и весом, а никак не видовой принадлежностью или гельтминтами, обитающими в их нежных потрохах. Когда же подвезли Петю и Тимошу, занялись масштабными мероприятиями вроде постройки шалашей...

По дороге на биостанцию Надя трещала не переставая, но Женя не особенно вслушивалась, что она там рассказывала мальчишкам. Лес девочке был знаком, она заставила всех свернуть с дороги метров на тридцать, показала старый блиндаж, с военных лет не совсем еще растворившийся в подлеске... Здесь шли бои, и местные деревни пожили под немцами два месяца, и еще много было тому живых свидетелей.

— А тетя Катя Труфанова от немца даже родила, — сообщила Надя, и совсем было уж собралась рассказать всей деревне известные подробности, но Женя увела разговор в направлении, тоже близком к живой природе, но в аспекте ботаническом — указала на старую березу, облепленную древесным грибом, велела грибы аккуратно срезать, потому что, сдается, это и есть целебная чага. Девочка же проявила большую сообразительность, поняла, что разговор Женя прервала неспроста, и, пока ребята срезали перочинными ножами каменной твердости гриб, настойчивым шепотом досказала-таки Жене историю про тетю Катю, стоявшего на квартире фрица и Костю Труфанова, родившегося от этого постоя...

Женя слушала и дивилась, до чего же мальчики отличаются от девочек. Семья у Жени была с сильным мужским преобладанием, у мамы были братья, у нее самой — младший брат, и в последнем поколении тоже все прибывали мальчики, а девочки ни у кого не рождались... И Бога ради, не надо... Была бы эта сладострастная маленькая сплетница ее дочкой, ох, хороший подзатыльник бы сейчас Женя ей отвесила...

— ... и он, как в армии отслужил, больше домой не вернулся. Тетя Катя говорит, и правильно сделал. Здесь дразнили его «фрицем» всю дорогу, а он хороший был, и умней всех наших деревенских ... А Юра, брат мой, вообще никогда никого не дразнит, потому что зачем сильному и умному других дразнить? Правда ведь? Кто дразнится, сам хуже всех...

Глаза Надькины при этом блестели темным и умным блеском, и неподдельное сочувствие было в голосе и в углах губ, и руками она на ходу поводила жестом не деревенским, а каким-то горделиво-испанским, и раздражение Женькино улеглось, она засмеялась:

— Ну конечно, кто дразнится, тот хуже всех...

Прелесть все-таки была девочка и ловко так шла по разбитой дороге, легко прыгая с одной стороны колеи на другую, слегка скользя сбитыми, но очень породистыми недетскими туфельками. Совсем еще дитя, даже перевязки на ручках младенческие, круглая телом, как целлулоидный пупс, а скачет балериной.

— Я еще святой источник показать могу, но это часа два за Киряково идти, — предложила Надя, и поперечная морщинка образовалась на переносице от глубокой мысли: что бы еще такое показать дачникам? И вспомнила:

— А на той стороне, через железную дорогу и через просеку, там скит был, мне показывали... И медвежья зимовка, здесь медведей... — И она правдиво осеклась: — ... раньше здесь много медведей водилось... Я не видела, а Юра, брат мой, он видел. Но давно...

А потом Надя подмешалась к мальчикам, и Женя все время слышала ее звонкий голос, с забавной интонацией открытия, восторга и женского превосходства. Вслушавшись, Женя поняла, что разговора никакого между ними нет: Надя рассказывает, что в голову взбредет, а мальчишки как будто о своем, что хорошо бы на базе крючков одолжить и разузнать бы, где здешние зоологи рыбу удят... Но нет-нет — и проскакивал в Надину сторону невзначай то Сашкин, то Тимошин вопрос:

— Надь, а где?

— Надь, а кто сказал?

И Женя догадалась, что в малолетней компании происходит то же самое, что повсюду на свете, как и в ее собственной жизни, — кто-то кого-то уже любит, не любит, плюнет, поцелует...

Каким-то незаметным образом — и недели не прошло — Женя обнаружила, что верховодит уже не старший и разумный Сашка, а смешливая болтушка Надя. Это открытие совпало с предсказанным дождем. Теперь на улицу вылезать не хотелось, промокший в лесу недостроенный шалаш утратил привлекательность, и дети засели дома, надеясь переждать дождь. С утра затеяли топку большой печи, которой до сих пор не пользовались — обходились маленькой плитой в кухне и газовым баллоном, когда электричества не подавали. Оказалось, что Надя умеет растапливать большую печь, с которой самой Жене в начале дачного сезона справиться не удалось. Но Надя прочистила какую-то трубу, то открывала, то прикрывала вьюшку, создавая тягу, которой все не было. Наконец после нескольких попыток маленький берестяной костерок, который она сложила по всем правилам деревенского искусства, загорелся, от него занялась избушка из щепы, сложенная вокруг бересты, и так далее, до самого большого толстого полена, сидевшего в самом горле печи... Потом произошел длинный обед с киселем и печеньем на третье, по завершении которого Надька собрала посуду, отнесла ее в летнюю кухоньку и сказала Жене:

— Давай оставим, а? Я потом после ужина все разом вымою...

Женя согласилась — у нее большого прилежания к мытью посуды в жирном тазу тоже не было, и она с удовольствием уединилась в маленькой комнате, где умещалась только ее раскладушка и тумбочка с книгами. Женя легла, немного подумала о том, как обрушилась опять ее нескладная личная жизнь, а потом отогнала эту надоевшую за десятилетие мысль и взяла в руки умную книгу, не совсем по зубам, но по каким-то непостижимым ощущениям нужную... Надела очки, вооружилась тонким карандашом для вопросительных знаков на полях — и немедленно заснула под чудную многослойную музыку, которая разыгрывается в деревенском доме во время дождя: шорох

капель о листья, отдельные удары по стеклу, звуковые мягкие волны при малейшей перемене ветра, и чмоканье капель о поверхность темной воды в бочке, и отдельный звон струи, стекающей по водостоку. И самый опасный звук — сначала звонкие, а потом глухие удары капель о дно таза, поставленного на чердаке под протекающей крышей...

Когда Женя проснулась, дети сидели за столом с картами в растопыренных пальцах. Младший, Гришка, сиял от счастья — его приняли! Они играли в дурака «на историю» — это придумала Надька. Проигравший рассказывал историю — смешную, страшную, веселую, по заказу общества. Надька травила свою историю, затейливо и без тени правдоподобия выдуманную: она рассказывала, как прошлым летом была на киносъемках в Испании и как ей дали лошадь, которая прежде выступала в корриде, но заболела нервным расстройством, и ее перевели на киностудию... Далее шла история ее взаимоотношений с лошадью, конюхом из этой конюшни и его дочкой, которая оказалась молодой цирковой наездницей... И ее, Надю, эта самая Росита даже хотела взять с собой на гастроли, потому что Надька учится в лучшей русской школе верховой езды и чемпион Москвы то ли по конному спорту вообще, то ли по какому-то отдельному виду этого аристократического спорта...

Жене хотелось одернуть завравшуюся девочку, но, во-первых, Женя принципиально не воспитывала чужих детей, считая, что воспитывать детей должны родители, а не посторонние люди. Во-вторых, Надька врала все же очень забавно и как-то неординарно, и потому Женя только спросила из своего угла:

— Надь, а в Испанию-то как ты попала, я не расслышала?

— Да я в испанской школе учусь, зимой приехали испанцы к нам в школу, отобрали трех девочек для учебной программы. Мы думали, так, ерунда, а оказалось, не ерунда, а действительно... Я и поехала.

Потом ужинали бутербродами и простоквашей, и Надька не забыла о своем обещании. Надела на себя огромный плащ своей матери, резиновые сапоги и пошла в летнюю кухню мыть посуду...

К утру дождь из сильного сделался некрупным, но безнадежным: так острые заболевания переходят в хронические, от которых долго нельзя избавиться. Этот хронический дождь, похоже, действительно зарядил на сакральные сорок дней, то есть на ближайшую вечность. Надо было научиться жить под дождем, и Женя, преодолевая сонливость, велела всем как следует, по погоде, одеться и идти на станцию за хлебом.

Надя, движимая не то альтруизмом, не то рационализмом, тут же предложила сходить самостоятельно: чего всем под дождем мокнуть? Но каждый из ребят немедленно воскликнул «И я!», и вопрос был решен — пошли кучей. Деньги Женя дала почему-то Надьке, а сумку — Сашке... Пришли к обеду, промокшие и взволнованные. Надька, пока стояла в очереди за хлебом, узнала от местных старух, что в соседней деревне совершено убийство, и всю дорогу они обсуждали это преступление, и теперь до Жени, накрывавшей на стол, доносились клочки нового Надькиного повествования — на этот раз о психологии преступника. Она полагала, что если посадить во дворе того дома засаду, вроде как из тех натуралистов, которые за птичками следят и считают, сколько раз какая-нибудь синица червячков своим детям принесет, то непременно поймается преступник — потому что преступник всегда приходит на место преступления. Далее шла ее вставная новелла, как она три года тому назад таким образом поймала убийцу. Подробностей Женя из соседней комнаты не расслышала, но кое-что уловила. В рассказе фигурировал фоторобот, мужчина в темной куртке и барашковой шапке-ушанке, и медаль, которую она получила за помощь в поимке преступника.

«Поразительное дело, — размышляла Женя, — мальчишки ведь тоже врут. Однако всегда по делу: чтобы избежать наказания, чтобы скрыть поступок, заведомо запрещенный...» Честно же говоря, Надька была просто клад. Она все время придумывала занятия для всей команды — то вытаскивала с чердака какие-то старые игры своего старшего брата Юры, однажды это была самодельная географическая карта здешних мест, и полтора дня все сидели и старательно ее перерисовывали, чтобы, как только дожди кончатся, обследовать края, столь заманчиво изобра-

женные Юрой. Потом три дня они играли в Надькину игру под названием «Планета»: каждый придумывал себе планету, народонаселение, историю, и Женя только диву давалась, до чего же талантлива эта маленькая врушка. Когда Женя невзначай похвалила ее, она, улыбнувшись мультфильмовской улыбкой рисованных игрушек, радостно сказала:

— Это мой старший брат Юра придумал!

На четвертый, кажется, день космических игр начались войны: планета «Тимофея» объявила войну планете «Примус», придуманной и принадлежащей Пете. Братья Саша и Гриша держали пока нейтралитет, но планета «Юрна», произведенная от имени Надиного брата Юры и ее собственного, склонялась к сотрудничеству с «Примусом», что ставило под сомнение благородный нейтралитет Жениных сыновей.

До Жени доносились из большой комнаты обрывки дискуссий о летательных аппаратах, ракетах, звездолетах и прочей чепухе, и она особенно не вслушивалась. Пока вдруг не расслышала Надькин голос, произнесший в наступившей вдруг тишине:

— Тарелка эта, НЛО называется, подлетела к нашему огороду и зависла в воздухе, очень низко, и три луча из живота выпустила, и они на земле соединились, и землю ну просто расплавили. Я сразу же закричала маме, мама выскочила, но тут они как раз лучи свои убрали и полетели вон за тот лес... Это позапрошлым летом было, а трава на том месте и до сих пор не растет...

И тут Женя вдруг страшно разозлилась: вранье было хоть и безобидным, но все-таки отрава. Надо будет все-таки с ее матерью поговорить, просто патология какая-то — такая милая девчонка, но почему же она все время врет? Может, ее надо психиатру показать?

Мамаша Надина, домовладелица, должна была приехать в субботу — воскресенье, и Женя решила, что непременно с ней поговорит...

В пятницу утром дождь вдруг приостановился, потом подул сильный ветер и дул до самого вечера, и к вечеру сдуло с неба все тучи, и оно обнажилось — сизо-стальное, чистое, с остатками угасающего заката. Молочница Тарасовна, обычно

встречающая стадо у околицы, вела свою Ночку по деревенской улице, остановилась возле Жениного дома и сказала ей:

— Ну вот, пролилось все, теперь маленько поведрело...

— А вы говорили, сорок дней, — напомнила злопамятно Женя.

— А кто же его считает... Нам не ко времени сейчас дожди-то... Никак... На завтра-то три? Или сколько?

И Женя сообразила, что завтра может приехать хозяйка, и просила, чтобы Тарасовна оставила ей пять литров...

Утром следущего дня Надька увлекла всю компанию встречать мать к автобусу, и уже в десять все стояли на остановке. Хозяйка, Анна Никитишна, красная, с распаренным потным лицом и двумя огромными сумками, приехала ближе к обеду. Сашка с Тимошей несли, взявши по ручке, одну кругло-набитую сумку, за вторую было взялись Петя с Гришей, но не сдюжили, и несли ее Анна Никитична с дочкой, тоже поделив ручки...

Она была широкой натуры, бывшая местная жительница Анна Никитишна. Давно уже работала на хорошей должности в Москве, в УПДК, на ней лежал присмотр и обслуживание высших дипломатических чиновников по части уборки, стирки, стряпни. Штат у нее был — сотня баб, работа очень хлебная и очень ответственная: ошибок там не прощали. Но Никитишна была умна, дипломатична и наверху имела защиту. Женя этих подробностей не знала и потому было несказанно удивлена, когда дачная хозяйка стала распаковывать свои сумки и весь стол покрылся продуктами неземного питания, так что Гришка тут же и высказался:

— Космонавтская еда, да?

Да, и питье. В железных баночках, в маленьких бутылочках, и оранжевый порошок, из которого простым растворением водой происходил апельсиновый сок с газом...

— Ребятам, ребятам твоим гостинцы... Ты меня так выручила, Жень. Сейчас бы Надька в Москве без делу сидела, а тут хоть на воздухе... Мы с Колей поговорили, значит, так решили: мы за август с тебя денег не берем. Раз ты Надьку при себе оставила, значит, и мы со своей стороны... Ты меня поняла? — подмигнула Анна Никитишна, и Женька в который раз поди-

вилась тому, что Надька, красотка писаная, так сильно похожа на свою медведицу-мать, низколобую, мелкоглазую, с рубленым носом и длинным, от уха до уха ртом...

— Поняла, Анна Никитишна. Спасибо за гостинцы, они такого и не видали... Только вот насчет денег... Лишнее, ей-богу... У меня видите, какое лето, и так двое прибилось, и мне все равно, одним меньше, одним больше. А Надька — не ребенок, а золото. Помогает... Совсем другое дело, чем мальчишки... Девочка у вас отличная... — про Надькино вранье Женя в этот момент и не подумала, удивленная широтой и щедростью этой полупростой тетки.

Детей уложили поздно — и за ужином долго сидели, лакомились всякими невиданными из пакетиков штучками, сладкими и солеными, и орешками, и резиновыми конфетами, и жвачкой малиновой и апельсиновой... Потом мыли ноги, чистили зубы, укладывались на новых местах, потому что уступили большую главную кровать Анне Никитишне с Надькой, а Сашку отправили на прежнее Надькино место...

Наконец дети угомонились, и Анна Никитишна вынесла из летней кухни бутылку водки, трехлитровую банку соленых огурцов своего посола и баночку рыжиков, все это прижимая к груди и тяжело топая по размокшей дорожке. И они еще долго сидели на терраске, и Анна Никитишна рассказывала Жене про свою геройскую жизнь, как она все сама, сама, и добилась и положения, и достатка... Могла бы и больше, но не хочет, потому что знает всему цену, и чего она достигла, то ей в самый раз и большего ей не надобно...

Анна Никитишна выпила, за вычетом трех рюмок, бутылку водки, съела, за исключением одного небольшого огурца, трехлитровую банку солений — среди огурцов там обнаружились также маленькие патисоны и зеленые помидоры, — и они разошлись, вполне довольные друг другом.

«Нормальная девчонка», — одобрила про себя Женю Анна Никитишна.

«Экзотический продукт эта тетка», — решила Женя.

Утром Анна Никитишна удивила Женю своей холодностью, а Женя не догадалась списать ее на легкое похмелье после

вчерашнего. Хозяйка надела резиновые сапоги и отправилась в огород — спасать заглохшие в сорняках остатки редиски. Надя последовала за матерью — она вообще от нее ни на шаг не отходила, все тыкалась в нее, как теленок.

К вечеру ближе Анна Никитишна засобиралась. Сумки набила огородной зеленью и ранней картошкой, которую принесла Тарасовна. Прихватила и прошлого года соленья из подвала.

— Пропал у нас этот год для хозяйства, — объяснила Анна Никитишна Жене, — по весне дали нам с Николаем две путевки в санаторий, так мы посадки и пропустили. Считай, все хозяйство в этом году у нас под паром.

Потом все пошли провожать Анну Никитишну к автобусу. Один, шестичасовой, не пришел, пришлось ждать следующего. Ребятам надоело сидеть на бревнах, и они побежали на берег. Женя осталась с хозяйкой вдвоем и сделала легкую разведку:

— А что, Надю в Испанию со школой возили?

— Да, — равнодушно ответила Анна Никитишна, — я другой раз Николаю говорю, ну что ты ее лупишь, она учится хорошо, в доме помогает, а он — нет, говорит, учить надо. Может, и прав — Надька-то в классе первая отличница. Набирали для испанского кино, и изо всей школы трех только и выбрали. Полтора месяца продержали, и билеты на самолет, и питание, и гостиница, все за их счет. Нам ни копейки не стоило. Еще и денег заплатили. Но Николай брать не велел, не бери, говорит, потом от ихних денег не отмоешься. Мы же в УПДК работаем, не на заводе... — Она поковыряла пальцем в задних зубах, пожевала, пощелкала. — Испанский, он не плохой язык, на нем и Куба, и Латинская Америка. Пригодится. Я так думаю, мы ее в иняз определим.

«Так, — подумала Женя. — С Испанией ясно».

— А может, в юридический? С милицейской-то медалью? — закинула Женька еще одну удочку.

— Да какая медаль, Жень? Одно название! Почетный знак это. Она маленькая была, ей заморочили голову-то — медаль, медаль! Это она сама тебе рассказала? Во болтушка! У нас убийство в доме было, старушку топором зарубили. Фоторобот развесили, всех соседей собрали, инструктировали, если похоже-

го увидят, чтоб сообщили. А у нас отделение милиции — во дворе. Ну моя и увидела — мужик в шапке мерлушковой, сразу побежала, его тут же и повязали. Оказалось, племянник старухин. Они и так на него думали, а тут он сам пришел, Надька-то его по фотороботу вычислила. Она очень приметливая... Да и удачливая — ей все в руки идет.

— И сын ваш такой же?

— Какой сын? — удивилась Анна Никитишна. — Нет у нас никакого сына.

— Как же? А Юра? Она все про своего старшего брата Юру рассказывает... — еще более удивилась Женя.

Анна Никитишна налилась краской, свела брови, и сразу стало видно, что не зря ее в этом самом УПДК держат:

— Ну, паршивка! Так это она по двору разнесла, что у нее брат... Соседкам много не надо, слух пустили, что у Кольки моего где-то на стороне сын есть... Вот оно откуда пошло! Ну Женя, ну я ей задам!

И она закричала зычным голосом:

— Надька! Беги сюда!

И Надька услышала, и сразу же побежала, и ребята за ней. Они неслись в горку, дорожка была скользкая, не просохшая после длинных дождей, и видно было, что Гришка упал и подшиб Петю, и они барахтались на мокрой траве, а Надька бежала со всех ног...

Но тут из-за угла вывернулся автобус, и хотел мимо остановки промахнуть, но Анна Никитишна замахала кулаком, дверца передняя открылась, и она впихнулась туда вместе со своими сумками, и, обернувшись к Жене, крикнула:

— Мы в ту субботу с отцом приедем, он с ней разберется, с паршивкой... врать... врать моду взяла...

Прибежавшая Надька увидела отъезжавший автобус и заплакала — в первый раз за две недели увидела Женя девчачьи слезы: с мамой не попрощалась. Она не знала, что ее ждет впереди...

Женю разбирал смех. Она обняла Надьку:

— Ну не реви, Надюша. Видишь, как сегодня автобусы ходят, без расписания — тот совсем не пришел, а этот раньше времени...

Теперь Женю интересовал один-единственный вопрос, вернее ответ: что там на задах огорода, есть ли эта самая проплешина, о которой говорила Надька:

— Идем, покажешь, где у вас на огороде земля от лучей выгорела...

— Конечно, покажу, — Надька взяла Женю за руку. Рука у нее была мягкая, пухлая, приятная на ощупь. Они вернулись к дому, не входя на террасу, прошли на зады, где огород сам собой переходил в поле, потому что забор зимой повалился, и Николай не успел его поднять из-за того санатория.

Сначала Женя подумала, что это просто канализационный люк с обыкновенной чугунной крышкой. Потом поняла, что эта площадка раза в два больше. А вглядевшись, заметила, что нет там никакого шва: в середине действительно вроде чугуна, даже и поблескивает, а потом светлеет, с краю же этой спаленной земли прорастают травки, тонкие, бледные, по одной, а потом трава густеет и переходит в травяные заросли, которые давно пора бы скосить... Женя постучала ногой, обутой в резиновый сапог, — ну, может, не чугун, а асфальт... Потом села в серединке круга и попросила еще раз рассказать, как это было. И Надя с охотой пересказала свой рассказ и показала, откуда появилась летающая тарелка, где развернулась, как зависла и куда убралась...

— А лучи вот тут как раз и сошлись, где эта плешка...

Надька сияла своим чудесным лицом и радовалась, и излучала святую истинную правду... Женя помолчала, помолчала, прижала к себе Надьку и, пригнувшись к ее уху, тихо, чтобы не слышали мальчишки, спросила:

— А про брата Юру наврала?

Надькины карие глаза остановились, как будто покрывшись пленкой. Рот чуть-чуть открылся, и она судорожно всунула между губами почти все кончики пальцев и начала их мелко-мелко грызть. И тут испугалась Женя:

— Надечка, ты что? Что с тобой?

Надя уткнулась и лицом, и всем своим мягким и плотным телом в Женин сухой бок. Женя ее гладила по коричневой густоволосой голове, по толстой шелковой косе, по гладкой, под грубым плащом вздрагивающей спине.

— Ну девочка, ну Надечка, ну что ты?

Надя оторвалась от Жени, сверкнула черными ненавидящими глазами:

— Он есть! Он есть!

И горько заплакала. Женя стояла на чугунке, прожженной лучами летающей тарелки, и ничего не понимала.

Конец сюжета.

3. Конец сюжета

Середина декабря. Конец года. Конец сил. Тьма и ветер. В жизни какая-то заминка — все остановилось на плохом месте, как будто колесом в яму буксует. И в голове буксуют две стихотворные строки: «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу...» Полнейшая сумеречность и никакого просвета. Стыдно, Женя, стыдно... Спят в маленькой комнате два мальчика, Сашка с Гришкой. Сыновья. Вот стол — на нем работа. Сиди, пиши ручкой. Вот зеркало — в нем отражается тридцатипятилетняя женщина с большими глазами, наружными уголками чуть вниз, с большой грудью, тоже чуть вниз, и красивыми ногами с тонкими щиколотками, выгнавшая из дома не самого плохого на свете мужа, и притом уже не первого, а второго... Еще отражается в большом зеркале часть маленькой, но очень хорошей квартиры в одном из самых прекрасных мест в Москве, на улице Поварской, во дворе, полукруглое окно выходит в палисадник. Потом их, конечно, выселят, но тогда, в середине восьмидесятых, они еще жили как люди...

Семья Жени — тоже очень хорошая. Большая семья с тетями, дядями, двоюродными и троюродными братьями, сплошь высокообразованными, уважаемыми людьми: если врач, то хороший, если ученый, то многообещающий, если художник, то процветающий. Ну не как Глазунов, конечно. Но имеет заказы в издательствах, хороший книжный график, почти один из лучших. В своем цеху ценят. О нем пойдет речь далее.

Кроме двоюродных и троюродных, народилось уже новое поколение многочисленных племянников — Кати, Маши,

Даши, Саши, Миши, Гриши. Среди них одна есть Ляля — тринадцати лет. Уже с грудью. Но прыщи еще не прошли. И нос длинный, и это уже навсегда. Правда, можно со временем сделать косметическую коррекцию. Но со временем. Ноги тоже длинные. Хорошие ноги. Но этого еще никто не замечает. А страсти бушуют уже сейчас. У девочки безумный роман с двоюродным дядей-художником. Пришла как-то длинноносая Ляля в родственный дом к троюродной сестре Даше и запала на ее папашу. Он сидит дома, в дальней комнате, рисует. Прелесть какие картинки — птицы в клетках, какие-то стихи... Художник-иллюстратор. Волосы черные, волнистые, длинные. До плеч. Курточка синяя, под ней рубашка в красно-синюю клетку. Шейный платок под рубашкой — в мелкий-мелкий цветочек, почти запятая, вот какой цветочек. И даже не цветочек и не запятая, а скорее огуречик. Но маленький, малюсенький... Влюбилась.

Приходит девочка Ляля к взрослой родственнице тете Жене, которой в данное декабрьское время совершенно не до троюродной девочки. Но Женя приходится художнику сестрой. Не родной, двоюродной. И признается девочка Ляля в любви. И рассказывает всю историю: как пришла к Даше, а он сидит в дальней комнате птичек рисует, а на платочке огурцы. И как пришла потом, уже без Даши, и сидела в его комнате, он рисовал, а она тихо сидела. Молча.

По вторникам и четвергам у Милы, жены художника, утренний прием, с восьми. Понедельник, среда, пятница — вечерний. Она врач-гинеколог. Даша ходит в школу каждый день. Ездит на проспект Мира во французскую. Из дома выходит в двадцать пять минут восьмого. Во вторник и в четверг — но не каждую неделю, а одну неделю вторник, другую четверг — Ляля приходит в дальнюю комнату в половине девятого. Один раз она пропускает урок истории и урок английского, один — сдвоенную литературу. Да, тринадцать лет. А что делать? Ну что с этим поделать? Если безумная любовь... Он от нее умирает. Руки трясутся, когда раздевает... Это потрясающе. Первый мужчина в жизни. Уверена, что никогда не будет второго... Забеременеть? Нет, не боюсь. То есть я не особенно об этом

думала. Но можно же принимать таблетки... А ты не можешь позвонить Миле, чтобы она выписала — как будто для тебя...

Женя вне себя. Лялька — ровесница Саши. Те же тринадцать, но девочковых. Оказывается, это совсем другой размер. У Сашки в голове астрономия. Он читает книги, в которых Женя не разбирает даже оглавления. А у этой маленькой идиотки любовь, и к тому же она выбрала ее, Женю, поверенной своих сердечных тайн. Хорошенькая тайна: сорокалетний порядочный человек путается с малолетней племянницей, подружкой дочери, в своем собственном доме, в то время, когда родная жена в трех кварталах от дома ведет прием в женской консультации на улице Молчановке и, строго говоря, может забежать домой на минутку, например чаю попить... А Лялькины родители? Ее мать, двоюродная Женина сестра Стелла толстожопая, что она себе думает? Что дочка в школу пошла, размахивая потертым портфельчиком? И папаша ее, Константин Михайлович, математик трехнутый, он чего думает? А уж что по этому поводу могла бы думать покойная тетя Эмма, родная сестра Жениного родного папы, так об этом просто страшно подумать...

Лялька прогуливает утренние часы. Иногда, когда Сашка с Гришей в школе, она приходит к Жене пить кофе. То ли художник занят, то ли у нее просто нет настроения за партой сидеть. Выгнать девчонку невозможно — а ну как пойдет и из окна выбросится? Женя ее покорно выслушивает. И приходит в отчаяние. Мало ей своих собственных проблем: выставила родного мужа, потому что влюбилась в совершенно недоступного господина... Артиста с большой буквы. Вообще-то он режиссер. Из прекрасного, почти заграничного города. Звонит каждый день и умоляет приехать. И тут еще Лялька...

Женя в отчаянии.

— Лялечка, дорогая, эти отношения надо немедленно прекратить. Ты сошла с ума!

— Женя, но почему? Я его безумно люблю. И он меня любит.

Женя этому верит — потому что Ляля в последнее время очень похорошела. У нее красивые глаза, большие, серые, в чер-

ных подкрашенных ресницах. Нос длинный, но тонкий, с благородной горбинкой. Кожа стала значительно лучше. А шея — просто изумительная, редкой красоты шея: тонкая, и еще более утончающаяся кверху, и голова так красиво посажена на этот гибкий стебель... Тьфу!

— Лялечка, дорогая, но если ты о себе не думаешь, то хоть о нем подумай: ты понимаешь, что произойдет, если об этом узнают? Первым делом его посадят в тюрьму! Неужели тебе его не жалко? Лет на восемь — в тюрьму!

— Нет, Женя, нет. Никто его не посадит. Если Мила догадается, она его выгонит, это да. И обдерет его. На деньги. Она страшно жадная. Он много зарабатывает. Если он сядет, он не будет платить ей алиментов. Нет, нет, она не устроит скандала. Все замнет, наоборот, — очень холодно и расчетливо разворачивает грядущую картину Ляля, и Женя понимает, что, как это ни чудовищно, но похоже на правду: Милка и вправду страшно алчная.

— Ну а твои родители, их что, не беспокоит? Подумай, что с ними будет, если они об этом узнают? — пытается зайти Женя с другой стороны.

— Пусть помолчат лучше. Мамочка моя спит с дядей Васей... — У Жени глаза на лоб полезли. — Ты что, не знаешь? Папин брат, мой родной дядя Вася. Мамочка от него без ума всю жизнь. Я вот только одного не знаю: она в него влюбилась до того, как за отца замуж вышла, или после... А что касается папы, это ему вообще должно быть все равно, он вообще не мужчина. Ты меня понимаешь? Кроме формул его ничего не интересует... В том числе и мы с Мишкой.

Боже милостивый, что делать с этим малолетним чудовищем? В конце концов, ей всего тринадцать лет. Она ребенок, нуждающийся в защите. Но каков наш художник? Этот постный эстет! Замшевый пиджак! Шейный платочек! Вычищенные руки! Маникюрша в дом ходит. Он как-то при Жене говорил, что его работа требует безукоризненных рук, как у пианиста... Вообще-то, он скорее похож на гомосека. А выходит дело, педофил...

С другой стороны, Лялька не ребенок. У евреев в старые времена в двенадцать с половиной лет девочек выдавали за-

муж. Так что с точки зрения физиологии она взрослая. Мозги же у нее более чем взрослые — как она все изложила про Милку, не каждая взрослая баба так расчислит.

Но что теперь делать ей, Жене? Она единственный взрослый человек, который во всю эту историю посвящен. Следовательно, ответственность лежит именно на ней. И посоветоваться не с кем. Не может же она к своим родителям с этой историей идти. У мамы инфаркт будет!

Ляля приходит к Жене почти каждую неделю, рассказывает о художнике, и все, что она говорит, убеждает Женю в том, что эта кошмарная связь достаточно крепкая — если семейный мужчина идет на риск, принимая в доме еженедельно малолетнюю любовницу, он действительно потерял голову. Противозачаточные таблетки, достаточно дорогие, между прочим, Женя купила без участия Милы, разумеется, отдала их Ляльке и велела пить каждый день, не пропуская... Несмотря на купленные таблетки, Женя испытывает огромное беспокойство ответственности. Она понимает, что надо что-то предпринимать, пока не разразился скандал, но не знает, с какого боку заходить. В конце концов решила, что единственное, что она может сделать в сложившихся обстоятельствах, — поговорить с художником, черт его подери.

А режиссер звонит, просит прилететь хотя бы на день. У него выпуск спектакля, он работает по двенадцать часов... Но если она полетит в этот чудесный, теплый и светлый город — все, ей конец! А если не полетит?

Надо что-то делать с этой безумной Лялькиной историей. И дело даже не в том, что скандал неминуем. Но, в конце концов, взрослый человек калечит жизнь ребенка. Господи, какое счастье, что у нее мальчики. Какие проблемы? Задачи по астрономии у Сашки... Гришку же надо только вытаскивать из книг, читает по ночам, с фонариком под одеялом... Иногда дерутся. Но в последнее время все реже...

Наконец решила позвонить Лялькиному возлюбленному. Позвонила днем, после двух, в день, когда у Милки вечерний прием. Он страшно обрадовался, сразу же пригласил в гости, благо не далеко идти. Женя сказала, что в гости — в следую-

щий раз, а сейчас надо встретиться не дома, а где-нибудь в нейтральном месте.

Встретились возле кинотеатра «Художественный», он предложил зайти в «Прагу», в кафе.

— У тебя что-то стряслось, Женя? Вид взъерошенный какой-то? — дружелюбно спросил художник, и Женя вспомнила, что он всегда очень хорошо себя вел по отношению к родне. Помог однажды их совсем дальней родственнице, когда той надо было делать тяжелую операцию, а в другой раз оплатил какому-то родственному шалопаю адвоката, когда тот неудачливо угонял машину... Вот ведь как сложно устроен человек, сколько разного внутри уживается...

— Извини, разговор неприятный. Я по поводу твоей любовницы, — резко начала Женя, потому что боялась растерять запал негодования по поводу всей этой гадкой истории.

Он долго молчал. Крепко молчал. Мелкие желваки ходили под тонкой кожей. Оказалось, что не был он таким уж красивым, как представлялся прежде. А может, с годами полинял...

— Женя, я взрослый человек, ты мне не мама и не бабушка... Скажи, почему я должен тебе отчитываться?

— А потому, Аркадий, — взорвалась Женя, — что за все поступки мы в конце концов сами отвечаем. И если ты взрослый человек, то тоже должен отвечать за свои ситауции...

Он сделал большой глоток из маленькой кофейной чашки. Поставил пустую чашку на край стола.

— Скажи, Жень, тебя кто-нибудь прислал или у тебя приступ нравственной самодеятельности?

— Ну что ты несешь? Кто меня мог прислать? Твоя жена? Лялькины родители? Сама Лялька? Ну, конечно, это самодеятельность. Нравственная, как ты говоришь. Эта дура Лялька все мне рассказала. Конечно, мне приятнее было бы этого не знать... Но поскольку я знаю, я боюсь. И за нее, и за тебя... Вот и все.

Он вдруг обмяк и сменил тональность:

— Я, честно говоря, понятия не имел, что вы общаетесь. Интересно...

— Поверь, я бы предпочла не общаться с ней вообще, и тем более по такому поводу...

— Жень, объясни мне, чего ты от меня хочешь. История эта длится не первый год. И мы с тобой, извини, не такие близкие люди, чтобы обсуждать деликатные вопросы моей личной жизни.

И тут Женя поняла, что все не так уж просто, и за этими словами стоит большее, чем она знает. И вид у Аркадия отчасти виноватый, а отчасти как будто страдающий...

— Я так поняла, что эта история недавняя. А ты говоришь — не первый год... — проклиная себя, что влезла в эти разбирательства, выдавила из себя Женя.

— Если ты следователь, то плохой. Честно говоря, третий год это длится, — он пожал плечами. — Я только не понимаю, зачем Ляле понадобилось это с тобой обсуждать. Милка все знает, и она готова на все, лишь бы не разводиться...

Он двинул локтем, чашка слетела со стола, крякнулась об пол. Он, не вставая, нагнулся под стол, собрал осколки длинной рукой, сложил перед собой кучкой. Стал перебирать фарфоровые белые черепки расколовшейся чашки, как будто складывая для склейки... Потом поднял голову. Нет, он все-таки был красив. Брови такие распахнутые, глаза зеленоватые.

Третий год? То есть с десятилетней девочкой он спутался? И говорит об этом так обыденно... Все-таки мужчины — с другой планеты существа...

— Слушай, Аркадий, я действительно этого не понимаю... Ты так просто об этом говоришь? У меня это в голове не помещается — взрослый мужчина спит с десятилетней девочкой...

Он выпучил глаза:

— Жень, что ты несешь? Какая девочка?

— Ляльке тринадцать лет исполнилось полтора месяца тому назад! Кто же она — телка, тетка, баба?

— Мы о ком говорим, Женя?

— О Ляльке Рубашовой.

— Какая Рубашова? — искренне изумился Аркадий.

Он валял дурака перед ней. Или...

— Да Лялька. Дочка Стелки Коган и Кости Рубашева.

— Ах, Стелки! Сто лет ее не видел... Ну была у нее, кажет-

ся, дочка. Какое это имеет ко мне отношение? Ты можешь мне толком объяснить?

Все. Конец сюжета. Он понял. Ужаснулся. Расхохотался. Выразил желание взглянуть на девчонку, раскатавшую с ним умозрительный роман, — он ее не помнил. Мало ли в дом заходит девчонок, Дашкиных подружек?

Потом, сбросив с души ужасный камень, засмеялась и Женя:

— Но ты понимаешь, дорогой мой, что с любовницей-то я тебя все равно разоблачила?

— До некоторой степени. Дело в том, что любовница действительно имеет место. Лет ей не десять и не тринадцать, но проблемы, как ты понимаешь, существуют... И я страшно на тебя обозлился, когда ты...

Официант забрал фарфоровые осколки, позвал уборщицу протереть пол под столом.

Женя ждала визита Ляльки. Она выслушала очередные ее излияния. Дала ей выговориться. Потом сказала:

— Ляля, я очень рада, что ты все это время приходила ко мне и делилась со мной своими переживаниями. Тебе, наверное, было очень важно разыграть передо мной всю эту историю, которой не было. У тебя все еще будет: и любовь, и секс, и художник...

Договорить свою заготовленную речь Жене не удалось. Лялька уже была в прихожей. Она ни слова не сказала, схватила потрфель и пропала на много лет...

Но и Жене было не до нее. Зима, застрявшая в темноте, выбралась из мертвой точки. Режиссер сдал свой спектакль и сам прилетел в Москву. Он был весел и грустен одновременно, все время окружен многочисленными поклонниками — из московских, возвышенно тоскующих по Тифлису грузин и из прочих местных интеллигентов, влюбленных в Грузию и ее вольновинный дух. Две недели Женя была счастлива, и сумрачный лес полдня ее шальной жизни посветлел, и март был как апрель — теплый и светлый, как будто в отсветах далекого города на дикой реке Куре. Она успокоилась. Не потому, что была две недели счастлива, а потому, что поняла до глубины своей души, что праздник не должен длиться вечно, и этот праз-

дничный человек случился в ее жизни, как огромный подарок, такой огромный, что подержать немного его можно, но с собой не унести... Женя рассказала ему историю о девочке Ляле, он сначала посмеялся, а потом сказал, что здесь лежит гениальный сюжет... А потом он уехал, и Женя прилетала к нему в Грузию, а он еще не один раз — в Москву. А потом все кончилось разом, как ни бывало. И Женя жила себе дальше. Даже помирилась со вторым мужем, которого, как со временем выяснилось, оставить оказалось просто невозможно: он пристегнулся к ее жизни намертво, как дети...

Ляльку долго не встречала: ни на каких родственных днях рождениях она не появлялась, а на похоронах было не до того...

Только через много лет они встретились в семейном застолье, и Лялька была взрослая, очень красивая молодая женщина, замужем за пианистом. С ней была маленькая дочка. Четырехлетняя девочка подошла к Жене и сказала, что она принцесса... Все. Конец сюжета.

4. Явление природы

Все так прелестно начиналось, а закончилось душевной травмой юной девицы по имени Маша, внешне незначительной, веснушчатой и в простеньких очочках, но с очень тонкой душевной организацией. Травму нанесла Анна Вениаминовна, седая стриженая дама очень преклонного возраста, и никаких дурных намерений у нее не было. Она была педагог, профессор, давно уже на пенсии, но пыла педагогического за многие десятилетия преподавания русской литературы, а особенно поэзии, не истратившая. Отчасти Анна Вениаминовна была и собирательница — не столько ветхих книг, современниц собственных авторов, сколько юных душ, стремящихся к этому кладезю серебряного века... За долгие годы работы во второстепенном вузе у нее накопилась целая армия бывших учеников...

В один прекрасный день Анна Вениаминовна в светло-серой блузке из полиэстера, в твидовом пиджаке устаревшего

фасона, в ветхих туфлях, привыкших за долгую жизнь к ежедневной чистке сапожной щеткой из натуральной щетины, сидела на садовой скамье в одном — адрес не указывается во избежании разоблачений — совершенно чудесном небольшом парке не в центре Москвы, но и не на окраине. Хороший, почти престижный район. В руках ее — обернутая в газету книга. Так давно уже не носят. Но она упорно обертывала книги в газетные листы, вырезая ножницами соответствующие треугольные фигуры, чтобы газетная обложка легла размер в размер, тютелька в тютельку...

Стояла хорошая погода середины апреля, и обе они, Анна Вениаминовна и Маша, случайно соседствуя на скамье, наслаждались видом пробуждающейся природы, которую шумно и деловито приспосабливали под свои низменные — они же и возвышенные — нужды размножения сообразительные вороны: отламывали веточки крепкими клювами, вставляли их в старые гнезда, реставрируя прошлогодние, и строили новые...

Под конец часового совместного наблюдения этого редкого и забавного зрелища Анна Вениаминовна прочла строки стихотворения:

«Широк и желт весенний свет, нежна апрельская прохлада, ты опоздал на много лет, но все-таки тебе я рада...»

— Какие чудесные стихи! — воскликнула Маша. — Кто их написал?

Знакомство завязалось.

— Ах, грехи молодости, — улыбнулась очаровательная пожилая дама. — Кто ж не писал стихов в юности?

Маша легко согласилась, хотя за ней этот грех не водился. Она проводила Анну Венаминовну до дому, та пригласила зайти. Маша зашла. Маша происходила из простой инженерской семьи. В детстве у них дома стоял предмет «Хельга», а в нем не тронутые человеческой рукой ровные тома из серии «Всемирная литература» и одиннадцать хрустальных бокалов — один разбил папа. И сувениры из стран, которые теперь называются странами содружества: грузинский черный кувшин с серебряным разводом, литовская кукла с льняной головой и украин-

ская желто-коричневая свистулька в виде известного животного с розовым рылом, производителя любимой малоросской закуски.

А тут — все стены заставлены полками и книжными шкафами и книгами без переплетов — а, вот почему она их обертывает, иначе разлетятся по страницам! На полках и на стенах — сплошь фотографии смутно-знакомых лиц, на некоторых дарственные надписи. Крохотный столик — овальный — не обеденный, не письменный, а сам по себе. На нем и пара немытых чашек, и стопка книжек, и шкатулка для рукоделия... Настоящая старушка, рожденная еще до революции... И чайник не электрический, а алюминиевый — такого сейчас ни на одной помойке не найдешь, разве что в антикварном магазине...

Завязалась дружба. В то время, когда Машины одноклассницы — в тот год она заканчивала школу — влюблялись в студентов второго курса, в бодрых спортсменов, приезжавших тренироваться на соседствующий со школой стадион, и в модных певцов с разрисованными гитарами, она влюбилась в Анну Вениаминовну, которая обладала всем, чего не хватало Маше: Анна Вениаминовна была худа, белокожа и страшно интеллигента, а Маша уродилась ширококостной, нездорово румяной и сильно себе не нравилась за простоту. И родители были просты, и прародители всякие до третьего колена, так что Маша, любя родителей, немного стеснялась отца Вити, который, будучи инженером на заводе, более всего на свете любил лежать под темно-синим «Жигулем», насвистывая дурацкий мотивчик... И мамы, тоже заводской инженерки Валентины, стеснялась Маша — ее ширины и прямоугольности, чрезмерно громкого голоса и простодушного хлебосольства: «Кушайте, кушайте! Борщ кушайте! Сметанку вот положите! Хлебушка!», с которым она приставала к Машиным одноклассницам, когда те заходили...

Анна Вениаминовна точно была из другого теста, не дрожжевого, а слоеного: сухонькая, светленькая, слегка осыпающаяся. Казалось бы, ну о чем им было говорить, интеллигентной даме и грубоватой девушке из инженерской среды? Ока-

залось — обо всем. Начиная от фотографий людей со смутно-знакомыми лицами и кончая современным романом модного молодежного писателя, о котором Анна Вениаминовна слышала, но не читала. Маша принесла модный роман, ожидая разноса, но старушка неожиданно прочла ей интересную лекцию, из которой Маша поняла, что модный писатель не с Луны свалился, у него были предшественники, о которых она и не подозревала, и вообще всякая книга опирается на что-то, что было написано и сказано до того... Словом, мысль поразила Машу, а Анну Вениаминовну, с другой стороны, поразила мысль, как же плохо преподают литературу в теперешних школах. С момента этого взаимного открытия перед ними открылось неисчерпаемое поле для плодотворнейших бесед. Девочка, вполне хорошо успевавшая по математике, физике и химии, расположенная к поступлению в автодорожный институт, тут же, неподалеку, в десяти минутах ходьбы, только через дорогу, который и отец, кстати, заканчивал, совершенно сменила ориентацию: ее все более влекла к себе литература, и, что совсем уже удивительно, ее крепкое сердце, прежде малочувствительное ко всяким словесно-интеллектуальным тонкостям, потянулось к поэзии...

И Анна Вениаминовна стала ее образовывать... Очень своеобразным и неэкономным образом: она никогда не давала Маше потрепанных книг из своей библиотеки, зато читала ей стихи часами, с комментариями, рассказами о биографиях поэтов, об их отношениях — привязанностях, ссорах и любовных романах. Старая профессорша отличалась фантастической памятью. Она помнила наизусть целые поэтические сборники, и поэтов известных, и средней известности, и почти растворившихся в тени великих имен. Как-то постепенно стало прорисовываться, что и сама Анна Вениаминовна — поэт. Правда, поэт, никогда не публиковавший своих стихов. Маша утончившимся сердцем научилась угадывать, когда профессорша начинает чтение своего собственного. И не обманывалась. В таких случаях Анна Вениаминовна, начиная «свое» чтение, слегка терла лоб, потом сцепляла пальцы, прикрывала глаза...

— А вот это, Маша... Иногда мне кажется, что время этой поэзии ушло... Но это неотторжимо от культуры. Это — внутри...

Травой жестокою, пахучей и седой
Порос бесплодный скат извилистой долины.
Белеет молочай. Пласты размытой глины
Искрятся грифелем, и сланцем, и слюдой...

— И это — ваши стихи? — робко спрашивала Маша.

Анна Вениаминовна уклончиво улыбалась:

— В вашем возрасте, Маша, были написаны... Восемнадцать лет, что за возраст...

Маша потихоньку записывала стихи самой Анны Вениаминовны. Память у нее тоже была неплохая. Анна Вениаминовна, при всей ясности своей седой редковолосой головы, стихи помнила гораздо лучше, чем все остальное. Она уже вступила на тот необратимый путь, когда вспомнить, выпила ли она утреннее лекарство, выключила ли газ и спустила ли воду в уборной делается все труднее, а стихи лежат в кассетах памяти так крепко, что умирают последними, вместе с теми самым белками, которые есть способ существования жизни...

Маша была, конечно, не единственной посетительницей дряхлой квартиры. Приходили ученики всех времен — и довольно пожилые, и средних лет, и двадцатилетние. Приходили не очень часто — одна только Маша жила в соседнем доме, забегала почти каждый день.

Удивительное дело, за свои семнадцать лет Маша ни разу не встретила никого похожего на Анну Вениаминовну, а тут вдруг оказалось, что их множество — интеллигентных, одетых невзрачно и бедно, начитанных, образованных, остроумных! Об этом последнем качестве она и не догадывалась, оно никакого отношения не имело ни к анекдотам, ни к шуткам. И от проявленного остроумия никто не хохотал до упаду, а эдак тонко улыбался.

— Мужчина — это прекрасно, но зачем это держать дома? — с этой самой улыбкой задавала ехидный вопрос Анна Вениаминовна своей бывшей аспирантке Жене, тоже доста-

точно пожилой женщине, по поводу перипетий ее сложной жизни, и та немедленно ей отвечала:

— Анна Вениаминовна, я не хожу к соседке за утюгом, кофемолкой или миксером, завела свои собственные. Почему же я должна брать в долг мужчину?

— Женечка! Как вы можете сравнивать мужчину с утюгом? Утюг гладит, когда вам это нужно, а мужчина — когда это нужно ему! — парировала Анна Вениаминовна.

И Маша млела от их разговоров — может, и не таких уж смешных, но дело все было в том, что ответы-вопросы — пум-пум-пум — с молниеносной быстротой сыпались, и Маша даже не всегда успевала уследить за смыслом этого скоростного обмена. Она не знала, что этот легкий диалог, как и стихи, — фрагмент длинной культуры, выращиваемой не год, не два, а чередой поколений, посещающих приемы, рауты, благотворительные концерты и, прости Господи, университеты...

И цитаты, как потом она стала догадываться, занимали огромное место в этих разговорах. Как будто, кроме обычного русского, они владели еще каким-то языком, упрятанным внутри общеупотребимого. Маша так и не научилась распознавать, откуда, из каких книг они берутся, но по интонации разговаривающих научилась по крайней мере чувствовать присутствие ссылки, цитаты, намека...

Когда кто-нибудь приходил, Маша садилась в угол и слушала. Участвовать в этих разговорах она совсем не умела, но выходила на кухню поставить чайник и приносила чашки на овальный стол, а когда гости уходили, мыла эти хрупкие чашки, боясь кокнуть. Она была почти бессловесной фигурой, к ней никто и не обращался, разве что бывшая аспирантка Женя, самая из всех симпатичная, задавала ей время от времени какие-то странные вопросы — читала ли она Батюшкова, например... А его и в школе-то не проходили...

Самым любимым временем стали вечерние часы, когда Маша, уже после десяти, приходила к Анне Вениаминовне — на третий месяц знакомства ей были доверены ключи от квартиры, — садилась на раскладной странный стул, из которого можно было образовать лесенку, а хозяйка сидела в своем стро-

гом, не располагающем к шалостям кресле с прямой спинкой и жесткими подлокотниками, съедала смехотворный ужин — кремарку кефира, и после таинственной паузы начинала читать Маше стихи, и обычно Анна Вениаминовна начинала так:

— А вот это стихотворение Сергея Михайловича Городецкого очень любил Валерий Яковлевич Брюсов. Это из первого его сборника. Кажется, седьмого года...

Анна Вениаминовна читала великолепно, не по-актерски, с выражением, а по-профессорски, с пониманием:

— Не воздух, а золото,
Жидкое золото
Пролито в мир.
Скован без молота —
Жидкого золота
Не движется мир.

— А свои почитайте, — просила Маша, и профессорша прикрывала бумажистые, как у черепахи, веки и произносила медленно, величаво звучные слова, и Маша усиленно старалась их запомнить...

Поступать в гуманитарный институт родители не разрешили, да и у самой Маши не было уверенности, что сдаст. Все лето она занималась усердно математикой и физикой, почти каждый вечер ходила к Анне Вениаминовне, и та тоже к ней привязалась, беспокоилась, когда начались экзамены. Но все прошло благополучно, Машу приняли, и родители были довольны. Обещали подарить ей путевку заграницу, почему-то речь шла о Венгрии. Там какие-то знакомые были у матери с советских времен. Но Маша ехать отказалась — Анна Вениаминовна плохо себя чувствовала, стали отекать ее тонкие, белые, как молочное мороженое, ноги — это из-за жары, которая ударила под конец лета...

Маша не поехала в Венгрию. В середине августа, после тяжелого сердечного приступа, Анну Вениаминовну уложили в больницу, и Маша успела съездить туда три раза, а когда приехала в четвертый раз, Анны Вениаминовны в палате не обнаружила, и постель ее стояла без белья, и тумбочка разоренная — Маше сказали, что бабушка ее ночью умерла...

Маша собрала из тумбочки какую-то женскую и лекарственную мелочь — и не подумала, зачем она это делает, кому теперь нужен початый кусок детского мыла, простой одеколон, бумажные салфетки и валокордин... С благоговением взяла и три обернутых в газету стихотворных сборничка — сверху лежал ветхий сборник Блока «За гранью прошлых лет», издательства Гржебина, двадцатого года... Над серенькой штрихованной строкой с именем поэта было написано карандашом, бегучим и спотыкающимся почерком Анны Вениаминовны «С Богом новый карандаш тобой подаренный»... И можно было легко представить себе, что это сам Блок подарил ей этот самый карандаш. Хотя по времени не получалось, она была рождения двенадцатого года, и в двадцатом ей было всего восемь лет...

Весь день просидела Маша на квартире Анны Вениаминовны. Звонили, спрашивали, приезжали. К вечеру собралось человек десять: племянник с женой, заведующая кафедрой, где Анна Вениаминовна когда-то служила, знакомые и незнакомые женщины, и двое бородатых мужчин. Заведующая кафедрой вела себя как главное лицо, но распоряжалась всем порядком Женя, потому что она дала деньги на похороны. Большие деньги, триста долларов. Все закрутилось без Маши, и сладилось само собой, но ключ от квартиры у нее никто не спросил, она его и не отдавала. Потом прошли похороны, с отпеванием в церкви — тут как раз набежало несказанно много народу, человек двести, — и девятый день отмечали в квартире Анны Вениаминовны.

Пожилой племянник, который собирался переезжать в унаследованную им квартиру, держался в стороне: его не знали друзья и ученики Анны Вениаминовны, и он их не знал. Маша догадалась с грустью, что не было у Анны Вениаминовны никакой семейной жизни, кроме преподавания литературы. Еще Маша вдруг увидела, что печальное и пыльное жилье после смерти Анны Вениаминовны вдруг стало совершенно нищенским. Наверное оттого, что занавеси, всегда задраенные, кто-то открыл, и в косом августовском свете стала видна ничем не прикрытая бедность. И стол был бедным, и племянник...

А ведь пока Анна Вениаминовна была жива, эта ветхая квартира была роскошной, — недоумевала Маша.

Еще целый месяц, до самого въезда племянника, Маша иногда приходила в квартиру, садилась на свой стул-лесенку, доставала с полки наугад какую-нибудь из обернутых газетой книг и читала. Надо сказать, что за время их знакомства, в масштабах человеческой жизни совсем короткого, Маша научилась читать стихи. Понимать их еще не научилась, но читать и слушать — да... Вся эта библиотека шла на кафедру — это было распоряжение профессорши. Но у Маши была тетрадь — стихи самой Анны Вениаминовны, сохраненные и записанные Машей со слуха... Она тоже знала их наизусть.

Маша уже ходила на занятия в автодорожный институт, но все никак не могла прийти в себя. Встреча с Анной Вениаминовной, как теперь догадывалась Маша, стала главной точкой отсчета ее, Машиной, биографии, и после ее смерти никогда уже не будет у нее такого удивительного старшего друга... Вечером сорокового она пришла в квартиру Анны Вениаминовны и решила, что сегодня отдаст наконец ключи. Народу было человек двадцать. Племянник соорудил из двух досок лавки, и народ кое-как расселся. И все говорили про Анну Вениаминовну очень хорошо, так что Маша несколько раз немного всплакнула. Она выпила много вина и побагровела своим и без того красным лицом. Она все ждала, кто же наконец скажет, каким замечательным поэтом была сама Анна Вениаминовна, но никто этого не говорил. И тогда она, пересиливая свою застенчивость и скованность, исключительно во имя восстановления посмертной справедливости, достала влажными руками из нового студенческого рюкзака свою рукодельную тетрадку и, покраснев так, что и без того красное лицо приобрело даже синеватый оттенок, сказала:

— Вот здесь у меня целая тетрадь стихов, написанных самой Анной Вениаминовной. Она их никогда не публиковала. А когда я спросила почему, она сказала только одно: «А-а, это все незначительное». Но, по-моему, стихи очень значительные. Отличные даже, хоть она их и никогда не публиковала.

И Маша стала читать, начиная с первого, где жесткая тра-

ва, пахучая и седая, а потом про золотого птицелова в загробной роще, а потом еще и еще... Она не поднимала глаз, но когда читала самое замечательное из всех стихотворение, которые начинались словами: «Имя твое — птица в руке, имя твое — льдинка на языке...», она почувствовала что-то неладное... Остановилась и огляделась. Кто-то беззвучно смеялся. Кто-то в недоумении перешептывался с соседом. И вообще была самая настоящая неловкость, и пауза была такой длинной. Тогда самая из всех симпатичная Женя встала с бокалом вина:

— У меня есть тост. Здесь сегодня не так много народу собралось, но мы знаем, как Анна Вениаминовна умела притягивать к себе людей. Я хочу выпить за всех тех, кого она одарила богатством своей души, за самых старых ее друзей и за самых молодых... И чтобы мы никогда не забывали того важного, что она нам всем дала...

Все задвигались, стали слегка спорить, чокаться или не чокаться, и кое-кто еще переговаривался с недоумением или даже с раздражением, и Маша чувствовала, что заминка неприятная не прошла, но Женя все говорила и говорила, пока не поменялась тема разговора и не перешли на воспоминания давних лет...

Племянник Анны Вениаминовны плохо себя чувствовал, он извинился и ушел, договорившись с Машей, что она вымоет посуду после гостей, оставит ключи на столе и захлопнет дверь.

Гости разошлись, только Женя и Маша остались прибрать посуду. Сначала они вынесли всю рюмки и чашки в кухню и сложили на кухонном столе. Потом Женя села, закурила сигарету. Маша тоже покуривала, но не при взрослых. Но тут она тоже закурила. Ей хотелось что-то спросить у Жени, но все не могла сообразить, как задать вопрос. Женя задала вопрос сама:

— Машенька, а почему вы решили, что это стихи Анны Вениаминовны?

— Она сама это говорила, — ответила Маша, уже понимая, что сейчас все прояснится.

— Вы в этом уверены?

— Ну конечно, — Маша принесла свою сумку, достала было тетрадь, а потом вдруг сообразила, что стихи-то все запи-

саны ее рукой, и теперь Женя ей может не поверить, что стихи действительно сочинила Анна Вениаминовна.

— Я только записала их. Она мне много раз их читала. Это все в молодости она писала... — начала оправдываться Маша, уже прижимая тетрадь к груди. Но Женя протянула руку, и Маша отдала ей синюю тетрадь, на которой написано было черным толстым фломастером «Стихи Анны Вениаминовны».

Женя молча просматривала тетрадь и слегка улыбалась, как будто давним приятным воспоминаниям.

— Но ведь хорошие же стихи... — в отчаянии прошептала Маша. — Ведь не плохие же стихи...

Женя отложила тетрадь, закрыла ее и сказала:

— «Вот эта синяя тетрадь с моими детскими стихами...»

— Да в чем дело-то? — не выдержала Маша и опять покраснела до того сложного красно-синего цвета, которым никто, кроме нее, не умел краснеть.

— Видите ли, Машенька, — начала Женя, — первое стихотворение в этой тетради написано Максимилианом Волошиным, последнее — Мариной Цветаевой. И остальные тоже принадлежат разным более или менее известным поэтам. Так что это какое-то недоразумение. И Анна Вениаминовна не могла этого не знать. Вы что-то неправильно поняли из того, что она вам говорила...

— Честное слово, нет, — вспыхнула Маша, — Я все правильно поняла. Она мне сама говорила... давала понять... что ее это стихи.

И только тут Маша поняла, какой же она идиоткой выглядела перед всем этим образованнейшим народом, когда сунулась с чтением стихов... Она кинулась в ванную комнату и зарыдала. Женя пыталась ее утешить, но Маша заперлась на задвижку и долго не выходила.

Женя вымыла всю посуду, потом постучала в дверь ванной комнаты, и Маша вышла с распухшим, как у утопленника, лицом, и Женя обняла ее за плечи:

— Не надо так огорчаться. Я и сама не понимаю, зачем она это сделала. Знаешь, Анна Вениаминовна была очень непрос-

той человек, с большими амбициями и в каком-то смысле несостоявшийся... Понимаешь?

— Да я не об этом плачу... Она была первым интеллигентным человеком, которого я в жизни встретила... Она мне открыла такой мир... и кинула... просто кинула...

Никогда, никогда Маша не бросит свой институт и не поменяет автодорожной профессии на гуманитарную. И никогда бедная Маша не поймет, почему эта высокообразованная дама так жестоко над ней подшутила. Не поймет этого и заведующая кафедрой, и племянник, и все другие гости сорокового дня. Они все останутся в полной уверенности, что эта инженерская девочка с грубым лицом и полными ногами — совершеннейшая идиотка, которая превратно поняла Анну Вениаминовну и приписала ей такое, что и в голову не могло бы прийти интеллигентной профессорше...

Женя шла к метро через тот самый парк, где когда-то познакомилась пострадавшая девочка Маша с выдающейся дамой, пятьдесят лет преподававшей русскую поэзию, и пыталась понять, почему она это сдалала. Может быть, Анне Вениаминовне захотелось хоть единожды в жизни ощутить то, что переживает и великий поэт, и самый ничтожный графоман, когда читает свои стихи перед публикой и ощущает ответные эмоции в податливых и простодушных сердцах? И этого никто теперь не узнает.

5. Счастливый случай

В самом начале девяностых годов прошлого столетия, конец которого был отмечен с непристойной и трудно объяснимой помпой, многие люди интеллигентского сословия переживали большие трудности, связанные с крахом трех больших китов, или слонов, или «трех источников — трех составных частей» кое-как организованной жизни. Догматика дала такую трещину, что сама Божественная Троица закачалась. И многие люди начали тонуть. Кое-кто и потонул, зато некоторые научились плавать, а были и такие, кто в пошатнувшемся мире сориентировался и пошел в большое плавание.

Женя предала академическую науку, плюнула на монографию, на незащищенную докторскую диссертацию и перешла на телевидение. Сначала она успешно работала в учебной программе, через год оказалось, что учебные программы по иностранным языкам она печет как блины, и она начала писать уже для другой редакции сценарии документальных фильмов — не хуже других. А может, и получше. Завелись знакомые на всех этажах. А когда она сделала прекрасный документальный фильм про грузинского режиссера, с которым была хорошо знакома в молодые годы, то получила совсем уж блестящее предложение. Деликатного свойства. И не по официальному каналу, а так, через знакомых. Строго говоря, чтобы такую работу получить, надо было еще и приплатить. Но сценаристы, которые и приплатили бы, языков тех не знали. А для этой работы нужен был непременно один из трех европейских — немецкий, французский или, на худой конец, английский. Немецкий у Жени был превосходный, да и английский какой-никакой.

Заказ был из Швейцарии, и режиссер, собиравшийся снимать фильм этого деликатного свойства, был натурально швейцарец. Для написания сценария ему нужна была сценаристка, владеющая каким-нибудь доступным ему языком, умеющая легко вступать в контакты и непременно русская. Деликатность дела в том заключалась, что фильм задуман был о русских проститутках в Швейцарии.

Этот самый швейцарский режиссер по имени Мишель, в силу непробиваемой швейцарской наивности, написал официальное письмо на телевидение, где начальство сначала заволновалось, потом забегало, потом посоветовалось — и отказало. Наивному швейцарцу объяснили более опытные товарищи, что так дела не делаются, и он нашел через посольство каких-то культурных знакомых, те, в свою очередь, прочесали по своим знакомым, и все сошлось на Жене. Он прилетел в Москву вместе со своим продюсером, пригласил Женю в «Метрополь», где остановился, и там, за длинным ланчем, они все и обсудили на швейцарском языке, который в данном случае был немецким...

Надо сказать, что Женя мало чего знала о жизни проституток российских, и еще менее — о представительницах этой опас-

ной профессии за рубежом. Мишель же оказался подлинным поэтом, воспевающим блядей, шлюх и проституток всех стран и народов. Впечатление создавалось, что всех их он с самого юного возраста возлюбил как клиент. Да он этого и не скрывал.

— С женщинами другого круга у меня никогда ничего хорошего не получается, — пожаловался Мишель.

— Да ты не пробовал, — подал реплику молчаливый продюссер с блестящей розовой лысиной, аккуратно выкроенной посреди густых бурых волос.

— Пробовал, Луи, пробовал, и ты это прекрасно знаешь! — отмахнулся Мишель. Он был так увлечен темой, что разговор все не поворачивался на собственно рабочие проблемы, которые Женя должна была решать.

— Русские девушки — самые лучшие! — объявил он Жене. — Эта славянская мягкость, тихая женственность. Пепельные волосы — таких нет ни у скандинавок — они просто бесцветны, ни у блондинистых англосаксонок. Беда в том, что никто из русских языка хорошо не знает, а чтобы документальный фильм получился, надо их заставить говорить. Судьба, нюансы, все такое... А мне они рассказывают свои истории както шаблонно. Но какие девочки! Каждая — бриллиант! Ты понимаешь, что мне от тебя надо?

Он щелкал пальцами, прицеловывал воздух губами, даже ушами немного двигал. Вообще же он был необыкновенно симпатичен, да и неподдельный рабочий энтузиазм сильно его украшал.

Жене и раньше приходилось работать с иностранцами, и сложился некоторый стереотип официального англичанина, любезного француза и простоватого немца. Этот швейцарец был довольно французистым, синеглазым, со смугло-розовым цветом лица горнолыжника. И похож был на Ален Делона. От него исходила веселая и немного бестолковая энергия.

— Пока не понимаю, — мягко заметила Женя, — но вообще-то я понятливая.

— Я покажу тебе свои фильмы, и ты поймешь, что мне надо. Луи, договорись на «Мосфильме» насчет зала и покажи Жене нашу продукцию.

Он уже снял, как выяснилось, несколько фильмов о проститутках. Первый — о девочках африканского происхождения, потом о китаянках, которые древнейшую профессию совмещали с акробатикой, а недавно прожил полгода в Японии, где его постигла профессиональная неудача — фильм о гейшах удался, но под конец разразился большой скандал, и японцы конфисковали пленку.

— Объясняю, что мне нужно: историю каждой девушки. Реальную историю. Мне они этого не говорят. У меня с ними свои отношению, и всего они мне не расскажут. У девочек свои принципы. Мне нужно: первое — реальная история, а второе — надо раскрутить их, есть ли у них сутенер. Это мне очень важно. На чем все построено — только на деньгах или на привязанности какой-то. И — личная жизнь. Это — самое для меня интересное — личная жизнь проститутки...

Итак, Женя подрядилась исследовать личную жизнь русской проститутки в ее отхожем промысле. Решено было это исследование приурочить к началу мая, празднику трудящихся, когда для всех праздник, а для проституток самая трудовая вахта. Это у нас. А у них? Еще Женя брала неделю в счет отпуска. Визу швейцарскую обещали сделать за два дня.

Дома Женя объявила о своей поездке только в тот день, когда пришли билеты. Муж только крякнул, узнавши о цели заграничной командировки. Зато сыновья веселились от души: предостерегали от опасностей, давали полезные советы на все случаи жизни, острили довольно смело. Женя радовалась, что отношения ее с детьми так мало походили на ее собственные отношения с родителями, при которых даже слово «проститутка» произнести было невозможно.

Самолет опоздал с вылетом на час, и поэтому Женя начала беспокоиться еще в дороге: а ну как ее не дождутся? Встречающий продюссер Лео тоже опоздал — на полтора часа. Именно потому, что опоздал самолет, как он объяснил Жене. Он страшно торопился: ему надо было немедленно возвращаться обратно в аэропорт, где теперь он должен был встречать свою женутанцовщицу из Индии после полугодового обучения на курсах индийских танцев. Но ее самолет тоже опаздывал, и опаз-

дывал даже против объявленного опоздания. По расписанию должен был приземлиться на два часа раньше Жениного... Все это рождало в Жене недоумение: оплот европейской надежности и консерватизма покачнулся — расписание не соблюдалось, а жены приличных господ танцевали индийские танцы...

Было уже довольно поздно, и, как Женя ни крутила головой, из окна машины она ничего не рассмотрела. Первое, что она увидела, был гном размером с небольшую собаку, стоявший в позе привратника возле массивной двери, которая от соседства с гномом казалась совсем великанской. Луи позвонил. Ждали несколько минут. Наконец, печеная старая дама с новыми зубами в старых губах открыла тяжелую дверь — входите.

— Цюрих — сумасшедший город. Здесь в подземельях столько золота, что им все здешние дороги замостить можно. А чашка чая стоит пять долларов. Поэтому мы обычно снимаем нашим сотрудникам комнату в этом пансионе. Ты это оценишь уже завтра... — сказал Луи и впихнул чемодан через порог. — Мишель появится позже, он сегодня прилетает из Парижа и вечером собирался с тобой работать...

Женя даже не успела его переспросить: как, сегодня ночью?

Номер оказался маленький, чистенький, с большой кроватью, у изголовья которой стояла чудовищная лампа опять-таки с гномом. Второго гнома она нашла в туалете — там он притулился на полочке перед зеркалом, удваивая тем самым свою прелесть.

Женя умылась, повесила в шкаф три костюма — один, самый лучший, был заимствован у приятельницы. В номере еще обнаружилась крошечная кухонька, скорее закуток с плитой и раковиной. Женя поставила чайник. Было почти одиннадцать, никакого Мишеля не было, и она решила выпить чаю и немедленно лечь спать. Тут зазвонил телефон. Она сняла трубку. Это был Мишель:

— Женя, спускайся. Сейчас поужинаем и поедем работать.

Он встретил ее внизу, кинулся целовать, как старый друг после длинной разлуки. От него пахло не то духами, не то цветами. Богатством, догадалась Женя. Его оживление и радость были искренними.

Усадил Женю в низкую машину и повез. Он изменился в чем-то существенном с их последнего свидания в Москве, но Женя никак не могла уловить, в чем именно. В маленьком ресторане все официанты здоровались с Мишелем как со старым знакомым, а когда они сели за столик, подошел хозяин, и они поцеловались. Хозяин говорил по-французски, Женя догадалась, что толковали они о какой-то еде. Когда хозяин ушел, Мишель сказал:

— Хозяин парижанин. Живет в Цюрихе больше тридцати лет. И очень скучает... Ненавижу Швейцарию. Это место, где вообще нет любви. Никакой и никогда. Страна глухих и немых. Сама увидишь, — и глаза его блеснули черным зеркальным блеском.

Вот оно что! Глаза-то у него в Москве были голубые. А стали черные... Но так не бывает. Или я сошла с ума? Но ведь точно, точно были голубые... Ладно, я сейчас не сама живу, а смотрю кино, решила Женя.

Женя съела салат из лесных грибов и утиной печенки. В нем было еще много чего неузнаваемого. Вкус — неописуемый. Мишель заказал несколько блюд, но ни к одному из них не притронулся. Заставил Женю заказать десерт, сказал, что здесь делают нечто волшебное. Оно оказалось и впрямь волшебное, но совершенно непонятно что...

— Тебе надо будет переодеться, — Мишель приподнял лацкан ее пиджака. Костюм был итальянский, по Жениным понятиям, очень приличный, благородного каштанового цвета. — Ты взяла вечерние платья?

Женя покачала головой:

— Ты же меня не предупредил...

Никаких таких вечерних платьев Женя и не держала. В московской жизни — к чему?

Мишель ласково обнял ее:

— Ты прелесть, Женя. Как же я вас, русских, люблю... Мы подберем тебе что-нибудь...

И они снова сели в машину, куда-то поехали. Женя ничего не спрашивала: будь что будет.

Мишель привез ее в большую квартиру, уставленную африканскими скульптурами и железяками странного вида.

— Как тебе? Я в Черногории открыл этого художника. Деревенский кузнец. Совершенно сумасшедший. Ходит в одной и той же одежде, пока не порвется. А кует свои чудеса только по ночам. На старой мельнице. Балканская жуть, да?

Сон продолжался, и нельзя сказать, что он был особенно приятным: интересно, но тревожно. Мишель провел Женю в глубину квартиры, открыл дверь в комнату без окон, с длинной зеркальной стеной, отодвинул часть стены — там на плечиках висели платья, как в магазине.

«Гардеробная», — догадалась Женя.

— Эсперанса, моя жена, уже полгода в клинике. Это ее одежда. Мы у нее возьмем, — он перебрал ласковым движением висящие тряпки, вытянул что-то синее. — У нее восьмой размер, а у тебя, наверное, двенадцатый. Но Эсперанса очень любила всякие балахоны... Вот, — он снял синее с вешалки, — от Балансияга. Попробуй.

Женя сняла пиджак, юбку, это было нормально, он вел себя как профессионал, смотрел на Женю заинтересованно, но подружески. Она нырнула в синий балахон, считая, что пятнадцать лет разницы в возрасте допускают эту степень свободы...

— Отлично, — одобрил Мишель и посмотрел на часы. — Поехали...

И снова Женя ничего не спросила: ни про жену, ни про клинику он в Москве и словом не обмолвился — только о проститутках... Она и не знала, что он женат. И еще Женя подумала: неужели это я сегодня утром варила овсянку на своей Бутырской улице?

— Здесь недалеко.

Они ехали минут десять. Потом остановились. Мишель потер переносицу:

— Я не помню, говорил ли я тебе... Понимаешь, в Швейцарии проституция официально запрещена. Имеются ночные клубы, кабаре, бары, где работают девушки. Есть заведения специализированные — стриптиз-клубы. Большинство проституток, которые приезжают сюда на работу, приезжают с артистическими визами, как артистки кабаре. Стриптиз. Понятно? Такие клубы обычно работают до трех. Девушка может

снять себе клиента «на потом». Это ее личное дело и налогом не облагается — если не донесут. У русских положение самое тяжелое — большинство девочек зависят от русской мафии. То есть мафия отбирает почти все, что девочки зарабатывают. И вырваться от них практически невозможно. Мне хочется как-то им помочь. Ситуация опасная, для них было бы гораздо лучше, если проституцию легализовали...Чем более общество информировано, тем легче с этим работать. Ну, сама разберешься. Здесь у меня есть знакомая русская, Тамар. Если она после выступления свободна, поговоришь с ней...

Мишеля знали всюду — охранник на входе махнул ему рукой и что-то сказал ему очень тихо. Мишель ответил, оба засмеялись. Жене показалось, что шутка была на ее счет. Конечно, я здесь вроде тульского самовара — привезли...

Вошли в низкое полутемное помещение, уставленное столиками в круговую — в центре нечто вроде манежа, с лесенкой, увитой гирляндами, спускающейся с потолка. Музыка играла какая-то полувосточная, странная. Народу немного, половина столиков пустовала. За некоторыми сидели девицы — без клиентов. Вроде как общались между собой. Одна, азиатка, кивнула Мишелю, другая, чернокожая, подошла к столику. Мишель спросил насчет русской Тамар. Та кивнула.

Тамар, как выяснилось, была занята с клиентом. Свое выступление она только что отработала, и теперь гость заведения пригласил ее выпить. Они сидели за дальним столиком. Жене издали рассматривала русскую девицу — она оседлала стул боком, как амазонка лошадь. Тонкие блестящие ноги сверкали как лаком облитые. То ли колготки особые, то ли кремом намазаны, не поняла Женя.

Мишель заказал вино, но карточку официанту не вернул — показал Жене:

— Видишь цены?

Но Женя плохо ориентировалась в иностранной валюте, и тогда Мишель объяснил: большая часть дохода заведения происходит именно от торговли напитками, которые здесь продают по цене раз в десять выше обычной. Бутылка посредственного шампанского — около трехсот долларов. В этом клубе за вход не

платят, но подносят выпивку. И первым же бокалом вина клиент оплачивает вход. Девочки в этом заведении работают по двум категориям: выступающие с номером и статистки.

— Вот! — указал Мишель на манеж, где заструился свет. — Сейчас номер будет. Я этот номер и сам не видел. Здесь раньше трапеции не было.

Вышли под музыку две высокие девицы, одна в красном купальнике и в прозрачном длинном плаще, вторая в таком же черном.

— Обе трансвеститы. Тебе повезло. Это лучший стриптиз. Я слышал про них — они из Аргентины.

— То есть они мужики? — изумилась отставшая от жизни Женя.

— Были мужики, — объяснил Мишель. — А теперь они, безусловно, женщины. И они так наслаждаются своей женской природой, как натуральные женщины не могут... Сама увидишь.

Трансвеститы стали раскачивать лесенку и раскачивались вместе с ней сами, а потом сплелись в какую-то сложную фигуру руками и ногами, прицепились к лесенке, и плащи их развевались, и волосы совершали плавные движения в ритм медлительной качке. Постепенно они стали взбираться вверх, ухитряясь сохранять сложное переплетение рук и ног. Потом сверху упали их прозрачные плащи. Там, наверху, они расцепились и стали друг друга страстно раздевать — лифчики, пояса, трусики, под которыми оказалась пышная татуировка в самой интимной области. А потом, уже совсем голыми, они стали сползать по лестнице, играя грудями, животами и ягодицами. Женя смотрела на них во все глаза, пытаясь найти хоть какие-то следы их былого пола. Пожалуй, только кисти у одной были слишком крупными для девушки.

— Мишель, а как это ты сразу догадался, что они трансвеститы? Есть какие-то собые признаки? — тихо спросила Женя, и Мишель с жаром принялся объяснять:

— Несколько очень явных признаков. Обрати внимание, размер ноги и размер руки — это нельзя переделать. Потом — рельеф мышц плеча, это трудно удаляется. Но самое главное — талия. У мужчин грудная клетка цилиндрическая, не сужается

к талии, а у женщин — коническая. И это один из самых верных признаков. Посмотри еще на шею — иногда заметен кадык, это тоже хирургически не убирается. Я сюжет про трансвеститов делал. А подкачать грудь, ягодицы — для хирургов вообще не проблема. Гели специальные, наполнители. Потом расскажу. Вон Тамар.

К ним шла, улыбаясь бессмысленной улыбкой, хрупкая девица на неверных ногах. Мишель встал, они поцеловались, он представил Женю:

— Моя приятельница из Москвы. Я ей про тебя рассказывал, она хотела с тобой познакомиться. Женя ее зовут.

Женя смотрела на Тамар во все глаза. Внешность у девицы была трогательная — рот детский, глаза — круглые, волосы подобраны в пучок на макушке, и розовые ушки смешно парусили возле маленькой головки. Лет ей было давно не восемнадцать, но выражение лица — ребячливое.

— Из самой Москвы? Ну надо же! А я там отроду не бывала. В Хельсинки была, в Стокгольме, в Париже тоже. А в Москве не была. Я с Харькова. Знаете? — акцент был украинский, очень яркий.

— Ты выпьешь, Тамар? — спросил Мишель.

— Не, пить не буду. Но ты, Мишель, закажи, пусть стоит, ладно? — и обратилась к Жене: — А вы сюда надолго? Работать или как?

— Я в гости, дней на десять. Посмотреть, как вы тут живете, — улыбнулась Женя и вроде бы подмигнула. Во всяком случае, сделала какое-то движение глазами, Мишелю не заметное, — между нами, женщинами.

Движение оказало волшебное действие — Тамар застрекотала по-русски:

— А чего не остаешься-то? Ты ж с языком, еще не старая. Если разрешение на работу получить, можно и заработать. У нас одна с Харькова в прислугах здесь работает, так две семьи дома содержит, сын там уже и машину купил. Швейцарцы хорошо платят. Нашим, конечно, меньше, но все равно неплохо получается. Если не отстегивать. Ты с этим давно знакома? Поговори с ним, попроси. Он чудной парень, но всем помо-

гает. Правда, Мишель? — и добавила уже по-немецки: — Я говорю, ты хороший мальчик, правда? — и она провела тонким пальчиком по его загорелой шее. Он поцеловал ей руку.

Странное ощущение бесконечно длящегося сна не покидало Женю: было интересно, но уже хотелось проснуться.

— А ты давно здесь? — спросила Женя.

— Полтора года. До этого в Финляндии работала. Но я здесь до осени. Осенью уйду. У меня жених есть, швейцарец, он банкир, так что я только до конца контракта отработаю, и шабаш, — Тамар улыбнулась победной улыбкой, тряхнула головой, пучок ее распался, она выпила бокал шампанского и сделала небрежный жест в сторону Мишеля. — Еще закажи...

Мишель встал:

— Я пойду в баре закажу.

Он оставил их вдвоем — для свободы общения.

— Смотри, как тебе повезло, жениха нашла... — одобрила Женя. — Симпатичный?

— Я же говорю, швейцарец. Да все они симпатичные. Все богатые, жадные, чистоту любят. Тупые — в жизни не понимают, но бабки зарабатывают. Мне-то повезло — мой не из простой семьи, у него еще дед в банке работал. И не жадный, — она выставила вперед расслабленную руку, на среднем пальце сверкнуло колечко. — Видишь? Подарил!

— А дома-то знают, что ты замуж здесь выходишь? — забросила Женя удочку в сторону украинского прошлого.

— Дома... тоже скажешь! Где он, этот дом... Я из дому десять лет как ушла. Мне четырнадцати лет не было.

— В четырнадцать лет? С родителями конфликты?

— Конфликты! — фыркнула девица, — Мать у меня была — золото. А папа капитан вообще, в белой форме ходил, фуражка с крабом...

Она приостановилась, какая-то мысль зашевелилась в маленькой голове:

— Мы в Севастополе тогда жили. Взрыв был на судне, отец погиб. Я маленькая еще была. Мама красавица, через год замуж вышла. А отчим, сама понимаешь, отчим. Подонок. Лупил меня почем зря. К кровати привязывал. Мать-то в сме-

ну работала. При ней он вроде ничего, а как она уйдет, так он набрасывается. Зверюга был. Садист. Я матери не жаловалась, я ее жалела. А подросла, он стал ко мне приставать. Как напьется, так и пристает. Изнасиловал меня, и я из дому убежала. А ты говоришь — что дома?

— Бедная девочка... Ты и хлебнула... — посочувствовала Женя.

Тамар звали Зиной, и она действительно хлебнула. Она была даже не из Харькова, а из заводского города Рубежное Харьковской области, с химзавода, и мама была не золото, а рабочая с производства, пьющая мать-одиночка, и папа в белом кителе был чистым плодом воображения, как и отчим, изнасиловавший в детстве, — но все это Женя узнала через два дня, когда гуляла с Тамар по набережной Лиммата.

— Да. Много чего было. У тети жила, в Брянске, — работала, училась. Повстречала парня. Богатый, красивый. Любовь была. Решили пожениться. Уже заявление подали. Он купил мне платье белое, брюлики, все, что надо. Свадьбу заказали на сто человек. Одних цветов на тысячу баксов привезли... И в день свадьбы, утром, его расстреляли, прямо в машине, вместе с шофером и телохранителем...

Тамар стряхнула маленькую слезинку с угла глаза. Поправила волосы, опять стали видны круглые мышиные ушки. Руки у нее были короткопалые, с длинными наклеенными ногтями. Она была не так уж молода, но детскость ее была еще трогательней от замазанных гримом морщинок вокруг глаз... У Жени прямо дух перехватило от жалости: ей под тридцать, а все еще играет в сказку...

— У меня подруга здесь в Цюрихе есть, Люда из Москвы, она раньше тоже в нашем бизнесе работала, не в нашем клубе, а в «Венеции». Так она уже два года как замуж вышла. Муж банкир, она с ним разъезжает. У них два дома в Цюрихе, дом в Милане. Люда, конечно, класс, у нее четыре языка, она все знает — говорит хоть о музыке, хоть о картинах. В прошлом году она домой ездила. А вот это — никто себе позволить не может.

— А что, очень дорого? — задала Женя совершенно нелепый вопрос, и Тамар захохотала.

— Да причем тут «дорого»? Дорого — это само собой. Опасно! А ну как обратно не впустят? Мы здесь все живем еле-еле. Две тысячи — за квартиру. Одежда наша жутко дорогая, каждые трусы — стольник, бра — вообще от трехсот. Кремшампунь купишь — все, на жрачку вообще не остается, — она спохватилась, растопырила пальчики. — Ну у меня, конечно, порядок. Даже и до Франца, моего жениха, у меня были клиенты... Я за сто франков не ходила, тысяча баксов ночь. Но вообще здесь оч-чень непросто жить...

— А вернуться не думала? — опять сморозила глупость Женя, и Тамар засмеялась громко, так что сидящая рядом парочка оглянулась.

— Ты что, больная? Что я там буду делать? На вокзал пойду? У меня здесь профессия, бизнес, я в кабаре работаю! Да там тыщу лет пройдет, пока до культурной жизни дойдут. А может, вообще никогда...

Им давно уже поставили на стол шампанское. Тамар, не совсем и заметив, автоматически выпила.

«Начинающая алкоголичка», — догадалась Женя.

Мишель сидел в баре с марокканкой, которая в самом начале вызвала им Тамар. Марокканка была настоящая красавица. Женя переглянулась с Мишелем. Тамар поймала взгляд:

— И кого тут только нет, — черножопые и косоглазые. Мы с подругой в самом начале снимали с двумя черными. Ну такая деревня, слов нет. Мясо сырое ели! Одна потом померла. А вторая съехала. И мы наших девочек подселили, — она спохватилась. — Это давно было, теперь-то я свою квартиру нанимаю...

Охранник от дверей делал знак Тамар. Она встрепенулась.

— Да ты заходи. Возьми у Мишеля мой телефон, хочешь, днем погуляем. Я тебе Цюрих покажу...

Охранник махнул ей еще раз, и она пошла к выходу. Там ждал ее человек в темном плаще...

Следующий день был пропащий — у Жени болела голова, и никакие ее любимые таблетки не помогали. Она провалялась до двух. Потом позвонил Лео, сказал, что скоро заедет. Женя, совсем уж собравшаяся выйти в город, прождала

два часа, пока он объявился. Он привез ей конверт с деньгами — на расходы.

В одиннадцать вечера снова отправились по маршруту: ресторан — стриптиз-бар — кабаре. Мишель опять потащил Женю в какой-то дорогой ресторан, рассуждая в дороге о тонких различиях между богатством французским, швейцарским и немецким. Швейцарское представлялось ему самым тупым. Вообще патриотом он не был, ругал свою страну почти беспрерывно, и Женя про себя удивлялась, чего же он, свободный художник, не уедет в другое место, но пока не спрашивала...

Лада из бара «Экс-эль» была главным объектом Женино-го изучения в первой половине вечера. Полнотелая, с большой, слегка усталой грудью, она была похожа на медсестру, воспитательницу и парикмахершу. А также на подавальщицу в рабочей столовой, продавщицу в хорошем продовольственном магазине и приемщицу в химчистке. И одновременно — на всех советских послевоенных звезд от Серовой до Целиковской. Пергидрольные волосы, красная блестящая помада и широта души...

— Здравствуй, Лада. Я из Москвы. Мне Мишель про тебя рассказывал. Говорит, ты про здешнюю жизнь лучше всех знаешь. Все здесь сечешь, — начала знакомство Женя.

— Да мы здесь все сечем, — улыбнулась Лада и сразу же убрала улыбку. — А если чего не рассечешь, то тебе п...ц. Поняла, да?

— Ты давно здесь? — вопрос плохой, но обязательный.

— Здесь я три года, до этого я в Западном Берлине работала.

— А где лучше?

— Здесь лучше — и сравнивать нечего. И в материальном отношении, и по-всякому... Пьяный немец — тяжелый клиент. А здесь, считай, совсем и не пьют. Здесь гораздо приличней народ. А приезжие, сброд всякий, они всюду одинаковые. Но в Цюрихе всякой швали меньше. Здесь место дорогое, шваль всякая сюда не идет. Я довольна здесь, — с достоинством провинциальной учительницы ответила Лада.

— А домой не собираешься? — поинтересовалась Женя.

— Раньше были такие мысли. Но теперь все по-другому решается. Я замуж собираюсь, — улыбка внутренняя, тихая.

— Да что ты? За швейцарца? — обрадовалась Женя.

— За банкира. Состоятельный человек, не мальчишка, и, главное, он из хорошей здешней семьи, у него все банкиры до третьего колена. Прадед даже... — это Женя уже слышала...

— Много старше?

— Сорок два ему. Но женат не был. Мне тридцать четыре. Пора свою жизнь устраивать, — улыбается красными напомаженными... Помада блестит ровной поверхностью, без единой трещинки — особая какая-то косметика. — Я ребенка хочу родить. Хейнц детей любит.

— А как ты вообще за границу попала? — задает Женя ударный вопрос.

— Длинная история, — загадочно улыбается Лада. Она улыбается после каждого слова. Она все время улыбается. Это у нее вроде нервного тика. — Друг моего покойного жениха мне помог. Я из дому рано ушла, в четырнадцать лет. Работала, училась. Встретила человека — как в романе. Богатый, красивый, музыкант. В ансамбле выступал, по всей стране ездил. И накануне свадьбы — представь! — его убили. Может, ты в газетах читала, очень известная история была. И шофера его застрелили. Когда мне сказали, я полностью вырубилась, два месяца в больнице пролежала. Самоубийством кончала. Но друг его мне помог, он взял меня в свою группу на подтанцовку, и я поехала с ними в гастроли. И сделала ноги, — и снова она улыбнулась своей идиотской, изображающей загадочность улыбкой.

— Бедняга, сколько же тебе пришлось всего пережить, — посочувствовала Женя. — И родителей, наверное, сколько лет не видела...

— Да что родители? У меня отец был капитан дальнего плаванья. Если в гости ко мне зайдешь, я тут недалеко, я тебе фотографию покажу — красавец, форма белая, парадная... Погиб молодым, при взрыве. А мама беспомощная, избалованная, сама понимаешь, жена капитана дальнего плаванья, вышла замуж за его помощника, а он, скотина, меня лупил,

издевался всячески. А когда подросла, он меня изнасиловал. Я из дома убежала... Сейчас и вспоминать не хочется, сколько всего было... Но, видишь, обошлось. А мама после того, как я убежала, умерла... Так что у меня в Вологде — ничего. Пустое место.

Мишель то подходит, то отходит, выпивку оплачивает. Все довольны. Женя вторую пачку сигарет распечатывает. Опять завтра будет голова болеть...

— Вот с Хейнцем поженимся, откроем дело... Небольшой клуб я бы открыла, только в хорошем районе. «Русский клуб» назову. А что? Здесь район — не очень... Я бы сама девушек из России привезла. Сейчас и с визами лучше, — вдруг она оживилась. — Есть здесь у нас одна девушка из Москвы, Люда, я с ней знакома, но так, не особенно близко. С ней моя подруга дружит. Она уже два года как ушла из стриптиз-клуба, сейчас замужем за банкиром, в большом порядке.

На золотой цепочке, утопая между грудями, висит какой-то шарик. Лада вытаскивает его, поворачивает.

— Хейнц часы подарил. У меня через двадцать минут номер. Посмотришь, обалдеешь. У меня номер постановочный, не просто так... Я отработаю, вернусь... — улыбка крупным планом.

Стриптиз голый, то есть без предметов, стриптиз с предметом, стриптиз парный, мужской, женский, наконец, стриптиз-сеанс, когда хорошему клиенту персонально демонстрируют все от начала до конца — за особую плату...

Лада выступает со стулом. Стул — ее сексуальный партнер. Она его оглаживает, облизывает. Язык огромный, красный, увешан серебряными сережками или бубенчиками... Кажется, это стул снимает с нее перчатки, подвязки, трусики. В пупке — искусственный изумруд в сорок каратов. Лада отдается возлюбленному стулу с пылом артистической страсти.

Аплодисменты. Ладу приглашают выпить. Ладу приглашают потанцевать. Лада сегодня в ударе — об этом говорит Жене Мишель:

— Она сегодня отлично работала. Надо было сегодня снимать... Она опытная актриса, перед камерой не стесняется.

Ага, выходит, другие стесняются. Это интересно. Перед полным залом мужиков — не стесняются...

После выступления проходит часа полтора, прежде чем Лада возвращается к Жене:

— Ну, как тебе?

— Лада, класс! Лучший стриптиз за всю жизнь, — всего стриптизов Женя видела два — вчера и сегодня. И вчерашний был не хуже.

Снова сидят за столиком, перемалывают все то же. Про папу-капитана, про насильника-отчима, про жениха... Странно, одна и та же история — второй раз.

А зовут Ладу Ольгой. Она из Иванова, закончила ПТУ. Работала прядильщицей. Зарплату по полгода не выплачивали. Уехала на заработки в Питер. В проститутки. Хорошо зарабатывала. За вечер — сколько на фабрике за полмесяца. Это два дня спустя, сидя в кафе, где Ленин кушал струдель, расколется девочка. А пока — про здешнюю жизнь.

— Вы наших девочек не слушайте. На нашу зарплату здесь не проживешь — хватает только за квартиру заплатить и на одежду. Здесь костюмы очень дорогие...

Костюмы — трусики с блестками и бюстгальтер в стекляшках или что-нибудь кожаное... И бубенчик в языке, и изумруд... «Профодежда», — улыбается про себя Женя.

— А кормись — как хочешь, — и жалуется и хвастает одновременно Лада. — Вот у меня, к примеру, есть своя клиентура — тысяча баксов в ночь. А так ведь все наши девочки, — лицо презрительно кривится, — за двести франков ходят. К тому же я здесь работаю только до осени. Осенью мы с Хейнцем поженимся, и я открываю дело. Он банкир, он меня поддержит... У меня здесь подруга есть, Люда из Москвы. Тоже у нас работала, так вот она замуж вышла и открыла свое дело... — по второму кругу заходит Лада.

Ну конечно, у них алкоголизм — профессиональное заболевание. «Надо будет попросить Мишеля познакомить с этой Людой», — решает про себя Женя.

Оказывается, Мишель Люду прекрасно знает. Она сейчас в отъезде. Непременно познакомит, как только та появится...

Женя продолжала свою ежевечернюю вахту. День второй, третий, четвертый: Аэлита из Риги, Эмма из Саратова, Алиса из Волхова и Алина из Таллина... Сидит в барах ночами, выпивает с девушками понемногу, болтает о том о сем. С вечера алказельцер, утром алказельцер. Записывает вчерашние разговоры. Встречается с девочками, гуляет — то есть сидит с ними в приличных кафе, угощает их на Мишелевы деньги — телевидение оплачивает счета — пирожными и разговаривает, разговаривает. Им нравится о себе рассказывать. А Женин навык ученого заставляет ее анализировать их бесхитростные лживые рассказы, и она выстраивает типовую конструкцию...

Мишель появлялся только по вечерам. Он все-таки хотя и очень милый, но странный. Вдруг притащил ей из гардероба своей жены Эсперансы целую кучу платьев, бросил Жене на постель:

— Это проклятое барахло никому не нужно! Здесь целое состояние прокручено! Бедная мартышка...

И заплакал. Женя опять ни о чем не спросила. В другой раз пришел с Женей в бар, на работу, сидел мрачный, потом куда-то делся на три часа и пришел к самому закрытию — все лицо в каких-то сажевых разводах... И глаза опять сияют голубизной... Никогда Женя такого не видела — чтобы цвет глаз два раза в неделю менялся... Провожал домой и всю дорогу радовался как щенок.

«Неврастеник — такие резкие перепады настроения», — подумала Женя.

Подошли к двери пансиона, он говорит:

— Если хочешь, я у тебя останусь. Ну?

Женя засмеялась:

— Мишель, ты мне почти в сыновья годишься...

— Это не имеет никакого значения... Скажи «да», и я останусь...

— Нет. Иди спать... Ты устал...

— Ну нет... Я пойду спать к Тамар... Или к Аэлите...

Наконец рабочая встреча: продюссер Лео с портфелем, Мишель в ореоле умопомрачительных духов, Женя с десятком листков, исписанных мелким почерком.

— У меня есть семь персонажей, — начала Женя, — семь подлинных историй, за достоверность которых я не ручаюсь, но, скажем, семь приблизительно подлинных историй. И есть одна сверхистория. Это и есть тот ключ, которого тебе, Мишель, не хватало. Дело в том, что первоначально все девушки рассказывают одну и ту же вымышленную историю, в которой фигурирует хорошая мать, хороший отец — в пяти случаях девочки изображают отца в виде капитана в белом кителе. Далее — смерть отца, злой отчим, изнасилование в отрочестве — обычно именно отчимом, побег из дому, встреча с возлюбленным, несостоявшаяся из-за неожиданной смерти жениха свадьба...

Мишель пытается задать вопрос, но Женя останавливает его жестом: погоди, сначала я изложу... Он от нетерпения просто подскакивает на стуле...

— После смерти жениха возникает друг жениха, который помогает уехать за границу. Он оказывается негодяем, толкает девушку на путь профессиональной проституции. Но теперь как раз она встретила замечательного человека — в среднем, этот новый жених банкир, но иногда владелец собственного бизнеса, — и они скоро поженятся...

Вероятно, все они прочитали одну и ту же книжку или посмотрели какой-то фильм, который произвел на них впечатление. Ты, Мишель, совершенно прав, мы имеем дело с очень инфантильным человеческим типом, в котором действительно много трогательного... И последнее, что я могу сказать: все или почти все девочки упоминали о Люде из Москвы. Она какая-то местная героиня. И мифологический персонаж. Надо с ней встретиться, мне кажется, она и есть ключевая фигура будущего сценария.

Мишель вскочил и набросился на Женю с поцелуями:

— Гениально! К черту документальное кино! Этот капитан в белом кителе, насильник-отчим... А девочка, такая русская Лолита, бежавшая из дому... — Мишель стоял посреди комнаты, распахнув руки, и слезы текли из его черных в этот день глаз. — Она стоит на обочине дороги, голосует, а мимо идут траки, груженые траки из Германии, и никто не останавливается, и идет дождь... И расстрелянный накануне свадьбы жених...

русская мафия... Гениально! На Оскара! С Натали Портман в главной роли! О-о! — застонал Мишель и схватился за сердце. Потом вскочил и снова набросился на Женю с поцелуями:

— Это будет как Достоевский! Даже лучше! А с Людой мы увидимся сегодня вечером. Она вчера приехала и мне звонила... Хотя она нам совершенно не нужна... Я уже не хочу никакого документального кино! Будем делать игровое! К черту эту документальную дребедень...

Лео сидел совершенно безучастно. Когда Мишель закончил свой бурный монолог, он развел толстыми ручками и, надув губы, сказал:

— Мишель, ты как хочешь... Но я в этом проекте не участвую. Я нанимался на документальное кино для швейцарского телевидения. А этот проект... На него надо искать денег полгода или год... И вкладывать тебе свои я на этот раз не позволю...

Мишель засмеялся:

— Лео, ты просто как ребенок! Женя напишет сценарий так, что три четверти его мы снимаем в России. Покупаем там услуги. Там же все даром! Мы наймем русского оператора — у них есть несколько гениальных операторов! И композитора! И художника! И техника, пленка — наши. Три копейки будет стоить фильм! Ты же знаешь!

— Нет, нет. Абсурдная идея, — уперся Лео.

— Хорошо! Не веришь, не надо! Женя пишет сценарий, и будем разговаривать, когда сценарий будет готов. А сценарий я оплачу из своего кармана. Вот так!

Далее все покатилось с кинематографической скоростью. Встреча с Людой была назначена в том кабаре, где она когда-то работала. С хозяйкой, немолодой немкой, бежавшей из восточного Берлина еще в шестидесятых, Женя уже была знакома. Ее звали Ингеборг, и она уже сделала свою большую карьеру — из простой труженицы панели выросла до хозяйки заведения. Она была хорошая баба, девочки ее любили. Людой она гордилась как лучшим своим произведением.

Ждали Люду долго — она появилась с часовым опозданием: высокая блондинка с зубастым ртом и проваленной переносицей. Хорошенькая, как юная смерть. Элегантная, как мо-

дель «от кутюр». При ней муж, розовый колобок ей по грудь. С лицом приветливым и веселым. Расцеловались очень сердечно. Мишель поцеловал Люде руку, и Женя, уже усвоившая повадки режиссера, поняла, что это подчеркнутое почтение как раз и выдает их былые более близкие отношения...

Люда заговорила, и это был высший шик — одновременно на четырех языках: с Женей по-русски, с Мишелем по-французски, с Гердой по-немецки, а со своим мужем, уроженцем Локарно, по-итальянски.

— Люда, вы просто лингвист! — восхитилась Женя. — Вы так прекрасно говорите на иностранных языках...

— Да какой я лингвист, кончала я иняз имени Мориса Тореза, там лингвистов не готовят, так, долметчеры... толмачи... — улыбнулась Люда зубастым ртом, и Женя еще более поразилась: внешность хотя и стильная, но безукоризненно блядская, а словарный запас — столичной женщины хорошего круга. По-видимому, так оно и есть.

История Люды оказалась отличной от всех прочих: девочка из приличной семьи, дедушка профессор, квартира на Кропоткинской улице. Почтенные родители. Никакого изнасилования в детстве. Напротив, музыкальная школа и кружок в Доме ученых, художественная гимнастика... Институт с отличием. Счастливый поначалу брак с однокурсником, выезд на работу за границу. Очень тяжелая травма: муж оказался с гомосексуальными наклонностями и ушел от нее к юноше. В результате у Люды произошел нервный срыв — потеряла работу. Устроиться трудно, пошла в стиптиз. Здесь, в Цюрихе, жизнь очень дорогая, зарплаты едва хватало на квартиру. Ночью работала в стриптиз-клубе, днем — делала переводы. Кое-как вытягивала. А потом встретила Альдо. Здесь, в этом самом клубе, с ним и познакомилась. Он банкир, состоятельный человек, так что она свою жизнь устроила удачно...

А пьет она очень прилично, заметила Женя. Пришла, несвежая была. А пока разговор разговаривали, Люда выпила четыре бокала шампанского.

В какой-то момент Женя вышла в туалет. Здесь Женю ожидала маленькая неожиданность: служащая в туалете, «пипи-

дам», тоже оказалась из России. Видимо, из тех, кто на большой сцене не прижился, а уезжать не хочется... Женя сделала свое дело и по инерции заговорила с женщиной. Оказалось именно так, как Женя и предположила: из Краснодара, работала в Германии, теперь здесь...

Женя стояла у зеркала, смотрела на себя и сама себе говорила: куда же тебя, дорогая, занесло?

В этот момент, изящно покачиваясь и слегка вращаясь около каждой дверной ручки, вошла Люда... Она была совершенно пьяна. Ринулась в кабинку, поблевала, пописала. Вышла. «Пипи-дам» ей тут же сунула в руку стакан. Люда прополоскала свой зубастый рот, прыснула в него из дезодоранта. Села на козетку. Увидела Женю — любезность вдруг сошла с лица, как косметика... Закурила, скривилась и обратилась вдруг к Жене на языке уличной девки:

— А чего ты, собственно, здесь делаешь? Кто за тебя платит? Чего тебе вообще надо?

Как это бывает с пьяными, у нее, видимо, произошел слом, и Женя отвечала ей ласково:

— Да я сценарий пишу, Людок, про русских девушек в Цюрихе. А ты здесь — главная героиня: все про тебя говорят — Люда из Москвы...

— А ты как, ручкой пишешь или на диктофон? — спросила Люда с новой интонацией.

— Ну, есть у меня диктофон... — призналась Женя, — но с тобой мне просто интересно поговорить. Так, по-человечески...

И тут Люда превратилась вдруг в совершенную фурию. Попыталась встать, но плюхнулась на козетку:

— Ах ты сука казенная, заложить всех хочешь? Дома по пятам ходили, и здесь достали... Да я тебе пасть порву... — и делает она плечиками такое движение, как фильмовый актер, который урку играет...

И тут на Женю накатил какой-то истерический хохот.

— Людок, сестричка моя! — завопила она сквозь смех. — За кого ты меня-то принимаешь? Ты что, сбрендила? Может, ты думаешь, я в своей жизни говна не кушала?

Женя обняла Люду за плечи, и та уронила голову ей на плечо и начала рыдать. Сквозь рыдания прорывался знакомый текст, но выраженный ярче, чем это делали ее менее одаренные коллеги.

— А ты за три рубля не сосала у трех вокзалов? А на хор тебя не ставили? А в подъезде ты не давала? Да, я Люда из Москвы! Королева, ебена мать! Только я не Люда и не из Москвы! Я Зоя из Тулы! И профессоров у нас в родне не было. Прислугой в профессорском доме у евреев — да, работала! Внучку их на кружок в Дом ученых водила... А у меня — шахтеры все. Папаша, отчим. И мама моя до сих пор на шахте работает. Диспетчером. И пьяница отчим, сейчас сидит, хотя, наверное, помер уже. Изнасиловал меня, когда мне одиннадцать лет было... Да я школу с золотой медалью!... И в институт я поступила! Но как меня в «Национале» милиция загребла, так и выпиздили из института... Хорошо, не посадили, всем отделением отхарили и отпустили... Да я бы, может, сама бы профессором стала, если бы не приходилось мне с первого курса п... зарабатывать. Мне языки даются — как не фига делать... Я ухом все ловлю, без учебника... — она высунула длинный розовый язык, покрутила высокоорганизованным орудием профессионала.

Дальше рассказ шел по полной программе: жених, смерть накануне свадьбы, злой гений...

Текли пьяные слезы, жидкие сопли... Она икала, размазывала водостойкую тушь по впалым щекам.

— Людочка, не плачь, — гладила ее Женя по плечу. — Ты все равно здесь самая удачливая. Тебе все девчонки завидуют. У тебя и бизнес, и Альдо-муж...

— Писатель ты гребаный, — еще горше заплакала она. — Ну что же ты ни хера не понимаешь, инженер человеческих душ! Ну да, женился он! Я на него пашу как папа Карло, я сегодня под тремя клиентами полежала. Четыреста франков — all included... Один был араб лет шестидесяти, двустволка и гадина. Второй немец из Баварии, жадный до умопомрачения. Я себе воды минеральной в стакан налила, а он спрашивает: кто платит за эту воду... А третий — она захохотала — лапочка! Молодой

япошка, ну совсем без хера. Но какой вежливый... А про тысячу баксов — забудь. Мечта всех здешних идиоток. Такие деньги, может, только Наоми Кемпбелл дают...

Женя выволокла Люду из туалета. Розовый Альдо посмотрел на Люду недобрым глазом — и Женя поверила всему, что Люда только что о себе рассказала...

А еще через день Женя уехала. С Мишелем у нее был заключен договор на написание сценария. Такая сучья жизнь. Такая убогая ложь. А правда — еще более убогая. Но Мишелю хотелось сказки. Городского романса. Мелодрамы для бедных. Воплощения мечты всех девочек мира — простодушных, алчных, глупеньких, добрых, жестоких, обманутых...

Женя получила тысячу баксов аванса. Ту самую сумму, которую все они мечтали получить за ночь...

Вернулась домой. Дома было все по правде, очень трудно и напряженно. Женя ходила на работу и писала сценарий. В Москве эта история выглядела все нелепей и ненужней.

А через полтора месяца позвонил Лео, сказал, что Мишель умер от передозировки героина. И случилось это на следующий день после похорон его жены Эсперансы, которая умерла в клинике от СПИДа. Лео плакал. И Женя тоже плакала. Наконец-то весь этот бред закончился, и все получило свои объяснения, в том числе и цвет глаз: голубой, когда зрачок сжимается в иголочку, и черный, когда он расширяется и занимает всю радужку — в зависимости от дозы...

РАССКАЗЫ

Второе лицо

Пирожковая тарелочка, верхняя в стопе, соскользнула и, чмокнув о спинку стула, мягко упала на ковер двумя почти равными половинками. Машура огорченно охнула. Евгений Николаевич, стоявший в дверях столовой, хмыкнул не без злорадства. Сервиз был гарднеровский, в псевдокитайском стиле, подписной, но Евгений Николаевич давно уже не жалел своего имущества, а разбитая тарелочка даже утверждала правоту его давней мысли: наследники его были в высшей степени никчемными. Даже Машура, внучка его покойной жены Эммы Григорьевны, самая симпатичная из всех, выросшая на его глазах из толстоморденького младенца в красивую девицу, была бестолкова. Прямых наследников, собственно говоря, не было — все второго, третьего порядка, седьмая вода на киселе. И все — ждали...

Стол-сороконожку Евгений Николаевич раздвинул сам, закрепил медные крючки. Женщины — и Машура, и домработница Екатерина Алексеевна, и Леночка, приехавшая из Петербурга полуродственница, часто навещавшая его после смерти Эммы, со столом справиться не умели. Эмма, из всех женщин его жизни, единственная была и с головой, и с руками. Она и стол могла раздвинуть без мужской помощи, и хрусталь мыла так, как ни одна кухарка не умела... А про прием гостей, организацию любого дела — и говорить нечего. Равной ей не было...

Машура накрыла холеную столешницу простеганной фланелью, потом пленкой, а поверх положила парадную скатерть — все, как делала ее покойная бабушка. Только посуда у Эммы никогда не билась. Машура нервничала. Евгений Николаевич знал почему. Нитка жемчуга была тому причиной. Бабушкин жемчуг — на Ленкиной высокой шее...

Евгений Николаевич вздохнул — жена умерла пять лет тому назад, жестоко нарушив его жизненные планы. Ей и шестидесяти еще не было, выглядела великолепно. Элизабет Тейлор, на треть уменьшенная. Евгений Николаевич крупных женщин не любил. Сам был не особо рослым и ценил соразмерность. На что ему дылда? Прекраснейшая женщина была Эмма Григорьевна, ни в чем мужа не обманула, кроме одного: ушла раньше его. А ведь на шестнадцать лет была моложе.

Семидесятилетие свое он справлял в «Праге». Заказала Эмма банкетный зал на пятьдесят человек. Он этого и не касался, ей все можно было доверить. Стол, сервировка — отменные, без малейшего промаха. Справа от него сидела она, жена, в вечернем платье цвета «перванш» с гладкой, под орех крашеной головкой, а справа Галя, секретарша, в красном, золотоволосая. Две королевы, ничего не скажешь. И обеих он пощипывал в подстольи, под жесткой скатертью, то за ягодицу, то за ляжку, и обе сидели довольные, важные. И выдрал он их обеих в тот же вечер — заранее запланировал и меры некоторые принял. Галочку — в буфетной, при содействии знакомого официанта Алексея Васильевича, на ключик их запершего на десять минут. А Эммочку дома, по-супружески...

Восьмидесятилетие же было обставлено по-домашнему, стол накрыт на шестнадцать персон — пара нужных людей и родственники. Третьего порядка, усмехался про себя Евгений Николаевич. Он любил раз в год собирать этих племянниц, племянников, внучатных всяких. Эммочкиной родни десяток набиралось. Овощи и фрукты. Один был даже сухофрукт, вернее сказать, орешек — Женя-Арахис, подруга покойной жены, учительница музыки с растопыренными пальцами. Хитрая как муха. После Эммочкиной смерти он подарил ей кольцо с большим желтым бриллиантом с тремя угольками и тре-

щиной, даже не помнил, как оно в дом попало. В память о подруге. И подарок этот сбил ее с толку: прежде она мечтала выдать замуж свою престарелую дочь, а теперь забрала себе в голову пристроиться на Эммочкино место. Пятый год ходит в гости с арахисовым тортиком и прозрачными намеками. А Евгений Николаевич, смеху ради, делает вид, что вот-вот догадается и предложение ей сделает... Старая дура трепетала, кокетничала, делала многозначительные паузы, а он, провожая ее, подавал ей в прихожей Эммочкино пальто, которое она все донашивала, а перед самой дверью слегка прижимал к себе ее узкую, покосившуюся в басовую сторону клавиатуры спину. Так что уходила она каждый раз обнадеженная. Она тоже была в числе приглашенных. Вынужденно. Потому что зови — не зови, все равно притащится.

Аппетит к жизни у Евгения Николаевича, всегда преотличнейший, с годами не выветривался, только вкус поменялся. Его теперь тянуло на миниатюру. Даже в пище. Теперь вместо обыкновенной яичницы, которую, невзирая на холестериновую панику, по-прежнему съедал за завтраком, жарил себе два перепелиных яйца и пристрастился к еде, ранее неведомой — ко всякому младенческому овощу, к моркови, горошку, фасоли, но все «бэби», самое что ни на есть «бэби». Даже капусту ел игрушечную — брюссельскую. Врачи предостерегали от молодого мяса, советовали зрелое, а он выбирал телятину, ягненка, поросенка молочного. Это была его собственная теория, по крайней мере, та часть теории, которой он охотно делился с окружающими — на старости лет полезно все юное, растущее. Тот патриарх, что согревал свое старое тело о молодую плоть, — не дурак же он был.

От маленьких радостей надо получать большое удовольствие — учил он своих племянников, и чувствовал он себя прекрасно. Даже сердечная болезнь, найденная у него вскоре после войны, мало его беспокоила. Теперь сердечные болезни были у всех кругом, сердца оперировали, меняли сосуды, вставляли стимуляторы, и он полагал, что все это у него в запасе: дед прожил до ста лет, и отец тоже был отменного здоровья, но погиб от пули...

В отличие от пожилых людей, вечно сетующих на ухудшение времен, он острейшим образом ощущал именно улучшение времени, с особой чуткостью гедониста улавливал общее умножение всяческих удовольствий и радостей, которые мог себе позволить человек на исходе двадцатого века — таких удобств, комфорта и роскоши, о которых прежде нельзя было и помыслить. И услуг самых фантастических...

Вот, например, друг его Иван — по паспорту Абдурахман — Мурадович — не то парс, не то перс, похож на индуса, родом откуда-то из Средней Азии. Хирургическая его специализация была самая интимная, по мужской части, и слава его в медицинских кругах большая, но приглушенная — никто из его пациентов не трубил особенно о лечении. Евгений Николаевич, как человек дерзкий, испробовал на себе все методики: лет двадцать тому назад сделал ему Иван Мурадович некоторую полезную машинку. Уникальную. Она очень способствовала. Потом, следуя времени, сделал небольшую операцию — опять угодил. И, конечно, препараты. Была одна такая инъекция: вколол один кубик мутной жидкости — и два часа скачешь как тридцатилетний. Словом, все новые технологии опробывал на себе Евгений Николаевич. Последнее, недавнее вмешательство было совсем радикальное, только-только разработанное. Операция нешуточная, в два приема делали. Тонкая механика. На прошлой неделе у него была инструкторша, из лаборатории Ивана Мурадовича, и все сработало замечательно. Но теперь — другое дело: пригласив питерскую Леночку, он собирался сегодня же применить впервые новинку сексуальной науки без инструкторши, на живом материале.

Лицом Ленка была не ахти, но шея — как у хорошей лошади, длинная, с изгибом, за то и жемчуг получила. Но вся фигура отменная, гитара семиструнная: задница как самовар, выпуклая, талия осиная, груди же основательные, в разные стороны торчат двумя кульками... Сам же Евгений Николаевич был в молодые годы красавец — с актером Кадочниковым одно лицо. Теперь-то не помнит никто, а раньше девки на улице за ним бегали, автографов просили. Он давал: «Кадоч-

ников» писал большими твердыми буквами на чем попало. И приключения даже случались на этой почве...

В числе приглашенных не родственников был еще Валера, Валерий Михайлович, молодой друг хозяина дома. Молодость его друзей исчислялась в шкале относительной, Валерию Михайловичу было за сорок. Был он отчасти друг, отчасти воспитанник, а отчасти и пожизненный должник. За длинную жизнь Евгения Николаевича накопилось у него много и должников, и недоброжелателей, и врагов, и завистников. Профессия у него была такая — прокурор. Смолоду он был человеком свиты, но мелким, в самом хвосте. Как окончил свое юридическое образование в конце сорок первого года, так и направили его в соответствующие органы. Работал в Министерстве, но недолго, перевели в СМЕРШ, опять на должность незначительную, скорее писчую. Первый сильный карьерный шаг произошел, когда его привлекли к участию в Нюрнбергском процессе как самого малого чиновника, и тогда открылась перед ним великая перспектива, почти уму не внятная, ошеломляющая. Другой бы попался на этом. Но не Евгений Николаевич. Он крепко задумался — и остановился. Не то что его личный опыт, а как будто каждая клетка мозга и крови вопила — остановись! И он отступил на шаг, пропустил впереди себя одного умницу, потому что вроде как обнаружилась сердечная болезнь — кстати. И стал он вторым лицом. Как мудро это было! Все первые лица, все до единого, сгорели синим пламенем, кто на чем, по большей части и ни на чем, а он, со своей второй ролью, отсиделся, и пронесло.

— Все чудом, чудом все, — рассказывал Евгений Николаевич другу Валере об увлекательнейших событиях его молодости. — Не раз, не два, и не сосчитаю, сколько — проснусь среди ночи, и вдруг как огнем озарит: или в больницу залечь, или сделать опережающее движение, или даже — демобилизоваться. И такое было...

В юриспруденции Валерий ничего не понимал, зато в антикварном деле имел чутье необыкновенное. Помог ему Евгений Николаевич, молодому дураку, из одного дела выпутаться. Валерий со своей стороны немало консультировал старшего

товарища в тонких и интересных предприятиях, которые и составляли главный интерес жизни бывшего прокурора. Это собирательство, случайно начавшееся у Евгения Николаевича в давние военные, а особенно в послевоенные времена, сделалось с годами настоящей профессией, прокурорская же работа превратилась в почтенную завесу, но не вполне декоративную: чем далее, тем более вкладывал прокурор неконвертируемых советских денег в конвертируемые ценности.

Место Евгения Николаевича было во главе стола, а за остальными пятнадцатью кувертами, в павловских полукреслах и на гостином диване со скалочками сидели, своими неразумными задницами не ощущая художества безукоризненной мебели, безмозглые претенденты на его имущество — видимое и невидимое, то есть то, которое укрыто было в двух тайных стенных сейфах, движимое, которое они начнут делить еще до похорон, и недвижимое, то есть эту самую квартиру и дачу не ахти какую, но на гектарном генеральском участке в двадцати километрах от Москвы, на берегу реки... Наследнички, ни в чем ни уха ни рыла... Ненавидел же он их всех! Но не так просто, не каждого в отдельности — Машуру так даже и любил, и внучатного племянничка, Сашу Козлова, по прозвищу Серенький Козлик, жалел, всю жизнь ему помогал, образование дал. Но ведь убогий человек, ни в чем понятия не имеет. Ветеринар! Собачьим приютом заведует! Всю жизнь по соседям и по знакомым кости собирает! Раз в неделю приезжает к Евгению Николаевичу за мясными объедками — Екатерина Алексеевна в пакет собирает. Вот и теперь сидит за столом и, наверное, прикидывает, сколько объедков своим собачкам унесет... Покойной сестры две пожилые дочери, одна в розовом, другая в голубом — дуры комолые, одна в хозмаге всю жизнь проработала, по три рубля крала, вторая, смешно сказать, воспитательницей в детском саду тридцать лет работает... И своих четверых девок наплодила, одна другой уродливей, но похожие, различить нельзя... Наследницы!

Но своих детей не было... Пораньше бы свела его жизнь с Иваном Мурадовичем, сделал бы он ему плевую операцию в молодые еще годы, и рожали бы от него бабы...

А из всех чужих детей любил он одну — Люську, Эммочкину дочь. Но она, стерва, с характером, уехала в Израиль — скандально, против семьи пошла. Евгению Николаевичу тогда работу пришлось менять из-за этого шального отъезда. Впрочем, к лучшему повернулось... А часики анкерные, английской работы, мастера Грэхама, Люська все же взяла, вывезла, квартиру купила в Тель-Авиве, а сколько еще от тех часов осталось — этого Евгений Николаевич не знал. По аукционам последнего времени цена тем Грэхамовским часикам от трехсот тысяч начинается... Тогда же Евгений Николаевич понял, что есть большое достоинство в миниатюрных предметах — с точки зрения вывоза. Если с его коллекцией толково распорядиться — не один миллион потянет... А Люська ухаживать за матерью не приехала, как Эммочка ее звала. На похороны зато приехала — наследство получать! Наследница! Вот уж кто ничего не получит, так это Люська... Сколько раз потом пыталась подмылиться, и сама, и через Машуру. Нет так нет. Машка, девочка маленькая, за бабушкой ухаживала, она больше заслужила... Но тоже — вспомнить противно — лучшее Эммино кольцо через две недели в метро потеряла, вместе с перчаткой...

Грызла его мысль о завещании. Очень грызла. И так прикидывал, и эдак. Одно время завещания писал — то на Машуру, то, обозлившись на нее, на Валеру, то на всех делил, то одному кому-нибудь все отписывал. Да и законы-то — что не так, в казну пойдет. И этот вариант Евгений Николаевич тоже рассматривал: висит, скажем, неплохой Поленов или любимый сине-розовый Кустодиев, а под ним надпись: «Дар Русскому музею от Е. Н. Кирикова». Нет, не греет...

Так и получается, что помирать ему невозможно из-за нерешенности этого вопроса, следовательно, главное дело — здоровье поддерживать, покуда решение не явится. Да, собственно, торопиться было некуда. Жаловаться — не на что. Если какие неполадки возникали в механизме, он, как хороший хозяин, тут же устранял. Урология и все, что около лежит, — Иван Мурадович обслуживает наилучшим образом. В позапрошлом году прооперировал косточку на ноге. До того — зубы металлокерамические, самые лучшие поставил. Даже слишком

хорошие, могли бы чуток пожелтее, понатуральнее быть. Массажист Саша ходит три раза в неделю, уже лет двадцать. Наверное, уже две машины на его деньги купил... Не жалко. Ничего не жалко. Эммочкина наука — она его научила денег на себя не жалеть. Тратить. До нее он только одно знал — котлы. Часы-часики, тикалки наручные, каминные, каретные, кабинетные... Эммочка глаза открыла, всему научила... Глаз! Вкус! Чутье! Все, что в доме есть, — посуда, серебро, мебель, картины — высшей пробы. А наследников толковых — нету, хотя народу — полный стол! И всем хочется. Даже Екатерина Алексеевна, услужающая, и та претендует на строчку в завещании... Но она хоть в чем-то разбирается: холодные закуски всегда прекрасно стряпает, и пироги дрожжевые ей удаются, но горячее — хоть тресни! — всегда пересушивает... Впрочем, гурманов среди них нет, народ непривередливый, мало кто и заметит, если поросенок будет суховат — ишь, как по буфету ударяют. Только Иван Мурадович, восточный человек, понимает, что на тарелке лежит. Ест он аристократически-отстраненно, с выражением лица благосклонно безразличным, и рука его того же оттенка, что слоновая кость черенка рыбной серебряной вилки... Впрочем, он и одними голыми пальцами, без вилки и ножа, тоже ел таким образом, что в голову приходила мысль об игре на музыкальном инструменте или о тех интимных операциях, которыми он двадцать лет занимался... Лицо у Ивана Мурадовича было лишено выражения, и уж во всяком случае никакого отношения к пище — восторженного, оценивающего или жадного — на нем не написано. Угощение, собственно говоря, было для мусульманина либо бесспорно несъедобным — вроде студня и поросенка, либо подозрительно, например, пирожки с мясом и салат неизвестно с чем. И ел Иван Мурадович очень с большим выбором и умеренно — белую рыбу, свежие огурцы, баклажаны, зелень... Думал же он вовсе не о еде, а о старшем сыне Абдулле, заканчивающем в Лондоне коммерческую школу, о том, что собирался лететь к нему в эту субботу, но в пятницу предстояла операция над увядшим членом одного богатого человека. И, пожалуй, улететь ему не удастся... Он презирал своих пациентов, теряющих мужскую силу

к пятидесяти. Дед его женился последний раз в семьдесят восемь, и молодая родила ему еще трех детей, и последний был его отцом. И ни о каком медицинском подспорье и не думали эти азиатские старики, сухие, белобородые, с нестареющими своими кинжалами... Размышлял Иван Мурадович о преимуществе мусульманского мира, о могучей витальной силе, давно иссякшей у европейцев... А вот женщины русские были привлекательны, очень привлекательны... Поглядывал на Машуру, с ее ангельски кошачьим личиком, на еще одну, в розовом, увядшую, длиннолицую, но чем-то привлекательную... И он медленно орудовал рыбным ножом...

Машура, Эммочкиного воспитания, тоже умела есть, а муж ее Антон — вахлак. Рубает, как матрос. Если Машка с ним разведется, я ее сюда пропишу. Иначе — нет. По теперешним законам, муж имеет право на ее собственность, если она получена в то время, когда они состояли в браке. А может, Ленку питерскую пропишу. Скажу — как родственницу, если разведешься. Нет, это как раз будет глупость. Она-то с радостью разведется. Еще и притащится сюда со своей дочкой. Скушная материя... Собственно говоря, завещание-то давно уже было написано. Только оно перестало Евгения Николавевича удовлетворять. И зачем он голову ломает, в каких долях этим придуркам добро разделить? Машура вон за полчаса разгрохала тарелку и два бокала, причем один совсем хороший, старого русского стекла... Ну зачем ей посуда?

Гости кушали и славили хозяина — за ум, талант, умение жить, желали многих лет жизни, а хозяин ругал себя, что устроил это скучное празднование вместо того, чтобы взять путевку в Карловы Вары и отметить свое восьмидесятилетие там, в компании какой-нибудь молодой бабешки, или Ленку питерскую с собой взять, или еще одну, Ирина Ивановну, агентшу из турбюро, она ему намекнула, что поехала бы с ним... Да мало ли...

Разошлись в первом часу. Екатерина Алексеевна была отпущена после подачи горячего, Машура сносила чайную посуду на кухню, а Евгений Николаевич из кабинета ожидал стеклянного звона, но, видно, она на сегодня программу свою уже выполнила. Ленка мыла посуду, опоясавшись длинным полотенцем.

Евгений Николаевич испытавал некоторое нетерпение — хотелось испробовать новинку. И радовался своему нетерпению, как свидетельству не совсем еще умершей эмоциональной жизни.

Машура наконец ушла, поцеловав деда на пороге. Он подмигнул ей. Обычно она пихала его мелким кулачком в живот — такая игра сохранилась между ними с детства. Но на этот раз Машура не ответила. Обиделась, дура, что я жемчуга Ленке подарил. А может, докумекала чего?

«Да все равно хорошая девочка, — решил Евгений Николаевич и поцеловал в стриженый мужским ежиком затылок. — Подарю ей на Новый год жука с изумрудом». И тут же передумал: лучше денег подарю, долларов триста. На что ей жук от Фаберже? Потеряет...

Ленка тоже была хорошая девочка, но в другом роде. Привычки Евгения Николаевича давно ей были известны, и вела она себя скромненько, делала вид, что только для того и приехала, чтобы помочь двоюродному дядюшке посуду после гостей помыть. Ей было тридцать четыре года, и началась эта история двенадцать лет тому назад, при жизни Эммы Григорьевны... Как-то раз она остановилась у них на правах дальней родственницы, приехавшей в Москву на экскурсию, и тогда случайно произошло неожиданное сближение. Эмма Григорьевна отлучилась тогда на Новый Арбат к косметичке. И дядя зашел к ней в гостевую комнату, и она даже не сразу и поняла, чего он хочет, и когда собралась зарыдать от молниеносной неожиданности и неправдоподобной ловкости, с которой овладел ею пожилой родственник, он сказал ей строго, как начальник:

— А ну перестань. Быстро скажи, чего ты хочешь? Шубу хочешь? Ну, чего хочешь, говори...

И она согласилась на шубу... Дядюшка был щедр, подарил ей на свадьбу тысячу рублей, когда дочка родилась, опять же денег прислал. Всякий раз, когда Лена приезжала в Москву, покупал ей такие подарки, что она в собственных глазах вырастала. Два кольца у нее было — всем подругам говорила, что наследственные. Мужу, Сережке, сказала — от бабушки наследство. Одно, правда, продать пришлось, когда муж чуть

в тюрьму не сел. Откупились теми деньгами. На этот раз была у Лены особая миссия: она собиралась у Евгения Николаевича денег на квартиру просить. У нее квартира была хоть и двухкомнатная, но всего двадцать четыре метра, не повернешься. Хотела просить в долг, но планировала — без отдачи. Десять тысяч долларов собиралась просить на доплату — соседи продавали трехкомнатную. Это надо было воздуху набрать, чтобы такое выговорить. Но Сережка очень напирал — попроси у дядьки, он тебе не откажет... Был Сережа молодой, на четыре года жены моложе, и не подозревал он восьмидесятилетнего старика, которого, кстати, в глаза не видел, в сексуальной прыти.

А Лена не успела и рук вытереть, как Евгений Николаевич обхватил ее самоварную задницу... Они не часто виделись, давние любовники. От силы два раза в год. И играли все в одну и ту же игру — как будто происходит с Ленкой случайность, нечто — ах! первый раз! И она, юная, потрясенная, шарахается, не очень упорно защищая свою девичью честь. Она давно знала о технических ухищрениях дядюшки и относилась к этому с уважением — так-то, по-простому, любой дурак может. Если быть честной, ей нравился Евгений Николаевич — запах его дорогих одеколонов, чистота, красота и богатство его дома, и подарки его нравились. И как он обставлял всякий раз как будто случайную любовь. С мужем Сережей все было куда как менее интересно. А в этот раз Евгений Николаевич был вообще — прима, и Ленка догадалась, что подшили ему какую-то штуковину, которая была, по всему видать, безотказная.

Евгений Николаевич оценил новинку не так однозначно, как партнерша, — сам процесс шел отлично, но завершающая фаза смазанная — вроде как электрический утюг выключили, он и остывает. За долгие годы общения со специалистами, да и по складу характера, он не искал ничего таинственного в этом обыкновенном и приятном деле, заботился о качественных показателях, но собирался назавтра доложить Ивану Мурадовичу о своих ощущениях и наблюдениях. В общем, оргазму не хватало остроты...

Уезжала Ленка дневным поездом, он ее слегка мариновал с подарком. Конвертик он ей приготовил, но не отдавал... Позавтракали, сыграли партию в шахматы — это было странное ее достоинство, очень прилично для дамы играла в шахматы. Она слегка нервничала, пора уже было рот раскрыть и денег попросить, но все не могла себя перемочь. Евгений Николаевич выиграл малоинтересную партию, сложил фигуры в ячейки, белой кожей подбитые, и велел Ленке принести ему из кабинета деревянную шкатулочку, которая стоит на письменном столе. Лена принесла. Он велел раскрыть. Там лежал конверт. Он велел раскрыть — потому что ему хотелось получить еще немного удовольствия, видя, как вспыхивает она едва ли не до слез, стесняется, прикладывает руки к щекам, ахает и целует его в чисто выбритый жидковатый подбородок. Она все это и проделала, как он ожидал. Это был отличный спектакль, на двоих, отменно сыгранный и обоим участникам доставляющий неизменное удовольствие при минимуме неожиданности.

Но на этот раз ждала Евгения Николаевича неожиданность: Леночка пересчитала деньги — тысяча долларов там была, ни много ни мало, — положила их в конверт, помолчала, опустив густоволосую, со старомодным, как любил Евгений Николавевич, пучком голову, и, глядя в стол, тихо и деловито попросила Евгения Николаевича одолжить ей еще десять тысяч на расширение площади квартиры...

Евгений Николаевич глазом не моргнул, потукал чистыми пальцами по шахматному ящичку и сказал деловито:

— Этот вопрос мы сейчас решать не будем. Отложим на время...

Лене очень хотелось спросить, на какое время, но она всей душой понимала, что вопрос этот будет направильным, и промолчала.

Перед дорогой попили чаю, Лена съела пирожное из вчерашних оставшихся, Евгений Николаевич пирожного не стал. Потом к условленному времени приехал шофер Костя и отвез Леночку на Ленинградский вокзал.

Евгений Николаевич позвонил Ивану Мурадовичу, от-

читался о вчерашнем мероприятии. Тот назначил ему на вторник — чтобы пришел в лабораторию кое-какие анализы сдать. Потом Костя вернулся и отвез его к одному коллекционеру, Илье Израилевичу, — тот был, как и Евгений Николаевич, не маньяк какой-то одной идеи, а тоже собирал из разных областей: и гравюры у него были, и книги, и карты. Отдельным предметом собирательства были старинные приборы — всяческие астролябии, подзорные трубы и телескопы. Не брезговал он и музыкальными шкатулками. И теперь к нему попала преотличная, судя по описанию, музыкальная шкатулка восемнадцатого века, с часами, а на часах имеется вроде бы знак немецкого часовщика Петера Кицинга. И Илья Израилевич просил приятеля взглянуть на эту марку, точно ли Кицинг. А Евгению Николаевичу это тоже было небезинтересно — по старой и первейшей своей привязанности... И он отложил неприятные размышления о завещании на другой день, решивши в этот вечер насладиться профессиональным общением, а может, и кой-какой негоциацией. Илья Израилевич славился по Москве способностью всех перепить, а также необыкновенной азартностью: если ему чего приглянется, он всех конкурентов ценой перешибал, иногда и весьма несуразно. А у Евгения Николаевича было одно русское бумажное издание весьма редкое, как раз того рода, который Илья Израилевич особенно ценил.

До позднего вечера просидел Евгений Николаевич у приятеля. Начал с дружеского подношения — маленькую книжечку Лисицкого, дореволюционную, из первых, тираж 200 экземпляров. Илья Израилевич даже забеспокоился несколько — подарок был превышающий незначительный повод встречи... Выпивали. Илья Израилевич показывал свои диковинки. Евгений Николаевич долго рассматривал шкатулку. Она не очень ему показалась. Громоздкая, грубоватая. Механика, правда, безукоризненная, и часовая, и собственно музыкальная часть. Подтвердил ее происхождение. Этот Илья Израилевич начинал от мастеровых, был механик отменный и собственноручно всю эту механику отладил, на ход поставил. Евгений Николаевич, может, более всего это и ценил — сам он имел глаз, понимание, а вот руками никогда ни к чему не прикасал-

ся, кроме авторучки. Ко всему прочему дом был еврейский, шумный, время от времени в комнату к Илье Израилевичу врывалась какая-нибудь растрепанная девица, одна из его многочисленных дочерей и племянниц, или младенец. Он всем давал — кому денег, кому телефонный номер из записной книжки, мальчонке лет шести вынул из ящика стола большой красно-синий карандаш советских времен... Евгений Николаевич оглядывал стеллажи, шкафы и завалы книг на всех стульях, расставленные на столах приборы и инструменты и размышлял о том, какая же судьба ожидает коллекцию Ильи Израилевича... Лохматые девки эти передерутся, все пойдет по рукам: и футуристы, и коллекция двадцатых годов. А ведь как хорошо, когда все можно передать в хорошие руки, и в одни.

В ту ночь Евгений Николаевич плохо спал, и сон снился какой-то дрянной — с покойной женой ссорился из-за каких-то билетов. Только не удалось вспомнить, то ли он хотел ехать, а она возражала, то ли наоборот, она требовала немедленно уезжать, а он никуда не хотел. А потом набежала стая разнокалиберных собак, великое множество, и все, включая Эмму, исчезло. Он проснулся, потом снова заснул, встал позже обыкновенного, долго лежал в постели, вяло обдумывал события двух минувших дней. Ленке решил денег на квартиру не давать, Машку — не прописывать. А всех прочих своих наследников поочередно пригласить на собеседование, посмотреть, кто чем дышит.

Главная же забота Евгения Николаевича была коллекция, потому что наличных денег было у него немного, он дома больше трех тысяч не держал, настоящих же денег стоила коллекция, причем самая ценная часть ее была еще в шестидесятом году замурована в сейфе, в стене спальни, и сделано все было так, что ничем не простучишь. И три ремонта с тех пор прошли по стенам, никаких следов... Открыть мог только тот, кому Евгений Николаевич сам покажет. Ключи от сейфа он давно уже передал Валерию Михайловичу, но не показал, где сейф. Никому не показал. А надо бы...

Но это — в последнюю очередь. Для начала Евгений Николаевич решил побеседовать с каждым из наследников в от-

дельности, прощупать, кто чем дышит, а там уж и определить, кто наиболее достойный. В списке родственников значилось двенадцать человек.

Это растянувшееся на три месяца мероприятие доставило Евгению Николаевичу, против ожидания, огромное удовольствие, начиная с первого визита, когда он пригласил своих племянниц — розовую и голубую — прийти не вместе, а по отдельности. Как он понял, поссорились они по этой причине сразу же, как только начали обсуждение, кто же из них идет второй. Почему-то каждой из сестер хотелось пропустить другую впереди себя... Кажется, это была их первая ссора за всю жизнь. Но ставка оказалась слишком высока: ясно было, что речь шла о большом наследстве — одна из сестер была многодетная, считала, что и наследство от дядюшки справедливо делить не на них двоих, а на шесть частей, учитывая ее дочерей. Бездетная же уверена была, что по справедливости — на двоих, поскольку не должна она страдать от своей бездетности — она и так всю жизнь своим племянницам помогала и подарками, деньгами, случалось.

Евгений Николаевич дал им время немного поспорить, а потом пригласил бездетную, в розовом. И она пришла, полная обиды на сестру, на магазинное начальство, на общую несправедливость жизни. Евгений Николаевич слушал ее внимательно, он делал это профессионально, и вопросы задавал короткие, точные. И, как ей показалось, очень сочувственные. Во всяком случае ушла она в состоянии удовлетворения, и особенно удачно удалось ей ввернуть уже в дверях, как беспокоится она за своих племянниц, потому что одна только девочка толковая, учится, а другие три шальные, беспутные, и прока от них ждать не приходится — стакана воды не подадут. Не то что она, их тетушка, которая, если что надо, в любой момент тут как тут, и поможет, и присмотрит по-родственному...

В голубом пришла через неделю. Она молчала, на дядюшкины вопросы отвечала скупо, на жизнь не жаловалась. Говорила — все хорошо, девочки хорошие, и кто учится — хорошо учится, а кто работает — хорошо работает. А под конец разрыдалась, потому что ее чуткой душе открылось, что сестра

дорогая обошла ее на кривой козе, и ничего она от дядюшки не получит, а все сестре достанется. И тогда Евгений Николаевич утешил ее, по голове погладил, вытер платком, как она сама вытирала своим воспитанникам, ее обидные слезы, и плакать не велел. И даже спросил, какие у нее нужды особые. И она, все горше плача, от сердца поведала ему, как трудно растить без мужа, и как горько ей было брошенной, в тридцать лет с четырьмя одной оставаться, и спасибо ему, что он, дядя родной, ей вроде как алименты давал за исчезнувшего мужа, пока девочки в школу ходили... И тогда он подарил ей сто долларов, и велел идти и не плакать, а старшую, которая бухгалтерские курсы закончила, обещал на хорошую работу пристроить, если она, конечно, не полная дура — как ты, Валентина, всю жизнь была... И ушла Валентина в голубом обнадеженная. Наследство девчачье, казалось, она отбила...

Двоюродному брату Славе велел приходить без жены, для семейного разговора. Но жена его одного не пустила. Евгений Николаевич озлился, но виду не подал. Напоил чаем, поговорил о погоде. Жена Славина и так и сяк, все пыталась навести его на то, зачем он их пригласил: про трудности жизни, про одинокую старость, и кто ему помогает, и хорошо ли услужают... А Евгений Николаевич — все о погоде. Слава-то знал его отлично, всю жизнь побаивался, сидел молча и даже немного радовался такому повороту событий: говорил он Райке, чтоб дома сидела, а она потащилась. Пусть теперь знает, как себя вести надо. До пятидесяти лет дожила, ума не нажила. Одна жадность глупая. Но все ж таки ему ее жалко было, когда она расплакалась прямо на лестнице у Евгения Николаевича, сдержаться не смогла... Уж так ей хотелось дачу Евгения Николаевича заполучить. Родни-то у него настоящей все равно нет. Кто ему Машка-то? Никто! Покойной жены внучка от другого мужа! А Славин отец Владимир брат родной Николаю Кутикову... Может, прав был Слава, лучше бы дома ей остаться. Потому она и плакала, что сама все испортила. Слава же, черт ехидный, фальшиво ее утешал, а сам радовался — не нужна ему была ни дача, ни машина, вообще ничего — он любил только телевизор смотреть, на диване лежа, придурок, ей-богу...

И она спустила на него собак, как положено, высказала ему все о его ничтожности. А он, человек мягкий, вдруг — и как на него наехало! — отвесил ей затрещину. Первый раз в жизни. Она взвыла и ревела до самого дома...

Брат Эммы Григорьевны был, конечно, ни при чем. Однако, когда Эмма умерла пять лет тому назад, он из своей Германии и вроде бы как принюхивался, не светит ли ему. Эмма еще во время болезни разделила семейные фотографии на две пачки, несмотря на слабость и сильные боли, которые ее последние месяцы донимали, оформила в два альбома, один — Люське с Машкой, второй — брату. Он его и получил. Смотреть же на этого Семена-писателя было Евгению Николаевичу неприятно. Он был очень похож лицом на Эмму — брови, глаза, даже улыбка уголками рта вверх... И он — жив, а ее нет. Евгений Николаевич был тогда вне себя — никак не мог с Эммочкиной смертью смириться, — он ее выбрал из многих женщин, только одну такую за всю жизнь и встретил, с которой и жить — радоваться, и стареть, и болеть... И ведь как умна была — свободу давала, не ревновала по мелочовке. И вот теперь этот Семен Григорьевич приехал в Москву публиковать свои никчемные книги, сидит здесь уже три месяца, а что ему? Немецкая пенсия идет. И притащился к Евгению Николаевичу на восьмидесятилетие, и по телефону звонит. И вообще хочет общаться изо всех сил. Может, и ему чего-то надо? Позвал его Евгений Николаевич просто так, прощупать... Разговор же получился интереснейший. Оказывается, на дармовых немецких хлебах стал писатель исследовать проблему еврейского имущества, прихваченного фашистами. Заодно всплывали всякие интересные истории и не фашистские, а советские. И на десятой минуте разговора догадался Евгений Николаевич, что этот самый брат имеет к нему интерес возвышенный — хотел про Нюрнбергский процесс порасспросить...

Евгений Николаевич рукой махнул:

— Да какое там мое участие, мальчишкой на побегушках... Вышинскому стакан чаю подносил...

Разбежался! Нашел информатора. И сам грамотный: захочу, сам такое напишу, что вы все закачаетесь. Только не буду

этого делать. А тебе, брат Семен Григорьевич, фотографию дарю: узнаешь? Точно! Геринг на первом плане, а позади него кто? Не узнаешь? Я, само собой! Правильно!

Однако приятно — еврейские проблемы его волнуют, а наследство — нет. Бывают же такие идейные евреи. Эммочка попрактичней была! А вот Люська много не получила. Не заслужила.

Потом приехала двоюродная сестра из Киева. Он ей позвонил — она сразу и прикатила. Хотя, между прочим, с днем рождения не поздравила. Ну ладно. Приехала с дочкой. Оказалось, процветают! У дочки муж коммерсант, торгует компьютерами. Там, на Украине, у них своя проблема — русских не любят. Но дочка за хохлом, поставляет он компьютеры по всем их правительственным организациям, торгует направо-налево, то в Англию, то еще куда-то разъезжает. Сначала обе они по привычке все пыль в глаза пускали, это в первый день. Но, видимо, ночью они между собой переговорили, оценили Евгения Николаевича одинокое положение, которое он им обрисовал скудными словами, также и очевидное его богатство — отдельное впечатление произвели замки на дверях. Сестра воров боялась, и замки у нее в Киеве были оборудованы наилучшие. У Женечки были куда как позатейливей. Словом, на другой день разговор уже пошел другой — бабы больше не хвастали. Напротив, все сочувствовали Евгению Николаевичу. Сестра пригласила его на лето приехать к ним на дачу — зять два года тому назад купил дом в Ялте, вилла настоящая! Живи там хоть все лето. Море рядом. Прислуга круглый год. Пара семейная, потомки петербургских аристократов, с революции застряли в Ялте. Третье поколение уже — забавные такие. Салфетки к завтраку она сворачивает то домиком, то птичкой. Бабушка ее научила. Словом, Женя, как надумаешь, приезжай, всегда рады. И муж мой — влезает племянница — с такими связями, что если что надо, вопросов нет. И врачи самые лучшие у нас, в Киеве, и питание самое натуральное... Всегда рады...

Отвез их шофер Костя в аэропорт. С тех пор сестра звонит каждую неделю по сю пору, о здоровье осведомляется. Мебель ей, видите ли, понравилась. Похвалила.

Дольше всех не шел Саша Козлик — три раза откладывал. Звонил, извинялся. Наконец пришел. Лет ему около сорока.- Тощий, курносый, жидкие волосенки. Под глазами — круги, в глазах — страсть... Страсть редкая — собачья.

А ведь алкаш, догадался про него проницательный Евгений Николаевич. И ошибся. Во всяком случае, если и был он алкаш, то завязавший. От водки-коньяка отказался, пил чай. Выпил чашек шесть, крепкого, с сахаром. Но при этом едва-едва один бутерброд дожевал, без всякого интереса ел. Говорил же — не остановишь. Про собак. Про дикие, нечеловеческие страдания бездомных, брошенных и одичавших животных, про раны, нанесенные им жестокими людьми, и что самое страшное — детьми. Говорил о трагической бессловесности всего тварного мира, о пропасти непонимания между людьми и животными.

Евгений Николаевич сделал не одну попытку перевести стрелку на его личную жизнь, на какую-нибудь тему, к собакам отношения не имеющую. Но из этого ничего не вышло. Он говорил о своих псинах, шавках, о дворнягах и породистых, шариках, джеках, альмах... о собачьем бешенстве и авитаминозе, о течках и гонах, об истории собачьего племени, о древнейших охотничьих собаках и о древних декоративных. Но главное, что его мучило, что составляло смысл, цель и призвание его жизни, было создание приюта для бездомных собак. Он давно уже обивал пороги всех столичных организаций, в подробностях рассказал Евгению Николаевичу о всех письмах во все инстанции, которые написал за свою жизнь. Евгению Николаевичу давно уже стало ясно, что имеет дело с безопасным сумасшедшим. Он слушал его почти два часа. Речь Козлика была вполне связной, и логика в ней присутствовала, только весь он, вместе со своими собаками, как будто с Луны свалился. Наконец он достал распадающийся надвое бумажник, вынул из него любительскую фотографию и предъявил Евгению Николаевичу:

— Топа, моя первая собака, девятнадцать лет со мной прожила. Умнейшее существо, благороднейшее... От диабета умерла.

 Мутная собачья морда с острыми ушами улыбалась с потертой фотографии.

Хватит, пожалуй, решил Евгений Николаевич и закончил визит элегантнейшим способом:

— Саша, там Екатерина Алексеевна полную сумку продуктов собрала для твоих питомцев.

Козлик с голодным блеском в глазах схватил два больших пакета, поблагодарил и умчался, оставив после себя крепкий псиный дух...

Убирая чашки в буфет волнистой березы, Евгений Николаевич улыбался и качал головой: наследнички ему попались, хоть не помирай... Впрочем, помирать он и не собирался.

Машура приходила к нему по меньшей мере раз в неделю. С ней приятно было поболтать о том о сем. Иногда она могла и какое-нибудь хозяйственное поручение выполнить. Но обыкновенно Евгений Николаевич ее не загружал, предпочитал наемный труд — была Екатерина Алексеевна, вполне еще крепкая старуха, шофер Костя, да и Валерий Михайлович, преданнейший друг и ассистент, всегда готов был удружить.

Машура занималась журналистикой, второй год как закончила университет и страшно была увлечена всем на свете — то писала про какого-то шамана, то ехала в полуживой научный городок военного направления и делала репортаж о великом прошлом и скорбном настоящем его жителей, а то вдруг ее послали в командировку на остров Бали, от какой-то туристической фирмы, чтоб она написала, как там славно отдыхать... И Машура рассказывала обо всем деду, а он слушал ее с удовольствием и понимал, что права она была, добиваясь этой никчемной профессии, а он, Евгений Николаевич, был не прав, заявляя, что глупей занятия не придумать. Дело оказалось как раз по ней. Хорошая, очень хорошая девчонка. Сильно не нравилось ему в Машке сейчас только одно — муж ее Антон, из-за которого отношения их разлаживались. Евгению Николаевичу картина ясна была с первой минуты его жениховства: бочком, бочком — и прямо к кормушке, сиротка провинциальная, все из Машки тянет, а она, дурочка, не понимает. И Антон этот вологодский отравлял Евгению Нико-

лаевичу жизнь — потому что, пока она за ним замужем, не мог он на нее оставлять наследство. Не хотел. И все...

И разговор с приемной своей внучкой повел Евгений Николаевич очень жесткий, так и сказал начистоту: старое свое завещание отменяю — пока ты с Антоном не разведешься, ни на что не рассчитывай.

И тут Евгений Николаевич получил от Машки такой отлуп, какого в жизни не имел — маленькая эта жучка посмотрела на него Эммочкиными серо-зелеными глазами, подняла левую бровь, как бабушка, бывало, делала, и сказала ему спокойненько:

— Дед, а не сошел ли ты с ума? Уж не думаешь ли ты, что я из-за твоего старого дивана разведусь с любимым человеком? Из-за ложечек серебряных? Да?

И она захохотала звонко и совершенно естественно, и это было так оскорбительно, так обидно Евгению Николаевичу — никто так его не унижал. Он сдержался, пожал плечами:

— Тебе решать.

Она вскочила, подергала его за уши, ткнула кулачком в живот, но теперь у него не было охоты к шуткам.

— Ты подумай, как бы тебе не прогадать, — хмуро пригрозил он ей и сразу же почувствовал, что не то сказал.

— Ага, ночей спать не буду, буду взвешивать, как бы не прогадать, — фыркнула засранка.

В результате не спал теперь он, Евгений Николаевич. Бессонница пошла на пользу — в ночной душной тишине он принял не одно решение, а несколько. Первое — с завещанием нашел остроумное решение. Потом — с дачей: перестроить. А может, снести старую целиком и отстроить заново, по всем теперешним правилам, в три уровня, с сауной, гаражом. Участок-гектар, можно и пруд вырыть. И жить круглый год на даче. Квартиру — продать. Она вообще устарела. Сталинский дом, высотка, по прежним меркам превосходный, по теперешним — говно. Окна маленькие, все на проспект, шум и вонь с утра до ночи, лифты допотопные, подземного гаража нет... Все. Избавляться. Был бы помоложе, можно бы отделку модерную сделать и сдавать. Да на что они нужны, эти две тысячи? Если

уж квартиру в городе иметь, то небольшую, элитную, в центре. Коллекцию часов — продать! Через Сотбис или через Кристи, это надо обдумать. Деньги — в хороший банк. Поручить продажу Валерию Михайловичу — на процент. И что там Машка про Бали писала? Да, попробовать все по-новому. Зимой, в слякоть, в грязь, в московскую темень — в Бали, к чертовой матери, мало ли островов Канарских и прочих, гостиниц пятизведочных, молоденьких блядей? Десять лет у меня в запасе есть... Дед Кириков до девяноста пяти дотянул. Или до девяноста восьми? А завещание — напишу. И Машуре предъявлю, чтоб знала. Таким путем...

И сон у Евгения Николаевича наладился. И настроение поднялось. И, кроме всего прочего, произошло одно незначительное, но забавнейшее событие — прогуливаясь в послеобеденный час по улице Чехова, Евгений Николаевич наступил на потерянный женский шарфик и поднял его, чтобы повесить на ближайшую ручку двери. Подняв, почувствовал рукой что-то мелко-острое — оказалась прицепившаяся к шарфику серьга. Да не просто так — трехкаратный сапфир-кобашон с бриллиантовым глазком сверху... Смешно, ей-богу. Теперь, когда Евгений Николаевич решился закончить со своим собирательством, коллекцию продать и забыть — такой маленький соблазн, детский какой-то. Сначала подумал — закажу Машуре кольцо сапфировое. И тут же плюнул в сердцах...

Дело задуманное было грандиозным. Первое — опись коллекции. Те двенадцать драгоценнейших номеров, что в сейфе, шли отдельным списком. Остальное сделали вместе с Валерием. Дальше пошла работа с нотариусом. Сделали доверенность на Валерия, с правом передоверия. Вся схема была Евгению Николаевичу давно известная, он ею не раз пользовался — переправлял часики, продавал через доверенных лиц. Но здесь суммы были слишком велики. Были у него и свои механизмы контроля, такие ребятки, что босыми по снегу не ходили. Обутые-переобутые... И сами кого хошь обуют. Валера был надежнейший, но, помимо того, у Евгения Николаевича лет двадцать были на руках еще и бумаги кое-какие на Валерия Михай-

ловича. В сейфе лежали, там же, где припрятанные часы. Прокурор все-таки.

Два месяца полных ушло на бумажные дела. Пришлось подключать еще одного банковского мальчика — он удивил Евгения Николаевича своим юным видом. Оказался толковым и давал гарантии. Когда завещание было составлено, накануне прихода нотариуса Евгений Николаевич вызвал Машуру. Прежде чем показать ей новое завещание, сказал:

— До завтра еще можно переписать. Я ставлю вопрос так: разведись. Мне надо, чтобы ты была разведена на момент получения недвижимости, когда я помру. Ты понимаешь? А спать спи с кем хочешь, хоть с бывшим мужем. Это меня не касается.

— Дед, я как раз хотела тебе сказать, что беременна. Так что о разводе речи быть не может. И не подумаю... — и отодвинула бумагу, не читая.

— Ну и чудно, — улыбнулся Евгений Николаевич. — Получишь от меня красивую чашечку.

— Супрематическую, хорошо?

— Договорились, — кивнул Евгений Николаевич.

И у Люськи такой же непреклонный характер. И похожи на Эмму, и совсем другие, черт их подери. Но будет по-моему, решил Евгений Николаевич.

Получилось однако по-третьему: и не так, и не так. Прошла ровно неделя после разговора с Машурой, и все, что наметил, исполнил Евгений Николаевич с полной точностью: завещание заверил, опись передал Валере и накануне своего последнего дня передал ему ключ от замурованного сейфа, а точную инструкцию, где стену разбирать, передал в другие руки, банковскому мальчику. Знал Евгений Николаевич, как дела делаются.

Неранним утром, уже после рынка, пришла Екатерина Алексеевна с продуктовой сумочкой, долго звонила в дверь, но Евгений Николаевич не открыл. Она ждала час у двери, потом поехала, в полном недоумении, домой, оттуда звонила до самого вечера, но и к телефону он не подходил. Около девяти вечера позвонила Маше, сказала, что тревожится, не случилось ли чего. Маша была раздражена, разговаривала с Екатериной Алексеев-

ной почти грубо, сказала, что сегодня ей ехать не с руки, а поедет завтра утром. Однако устыдилась и поехала. У нее, у единственной, были ключи от квартиры. Она приехала в половине одиннадцатого, позвонила в дверь, ожидая, что дед откроет как ни в чем не бывало, и опять она будет в дураках: притащилась усталая слушать его шантажные глупости. Но никто ей не открыл, и она двумя хитроумными ключами попыталась открыть дверь, но дверь изнутри оказалась заблокирована. Вызвала Валерия Михайловича. Тот сразу же побежал за милицией. Приехали два милиционера, взломали дверь. Вошли — и обнаружили Евгения Николаевича в спальне, сидящим возле бюро и всей грудью навалившимся на откинутую доску. Рядом стакан с водой и гора таблеток, из которых, видно, он ничего не успел выпить.

Маша сразу поняла, что он мертв. Голова лежала боком, и красивое его лицо имело желтовато-белый оттенок старого мрамора. На губах засохла сухая пена, похожая на мыльную... Составили протокол. Понаехало каких-то людей. Маша позвонила Антону, чтобы он приехал. Ее второй месяц беспрестанно тошнило, и ей очень хотелось, чтобы все поскорее кончилось, и она могла бы уйти домой и лечь спать. Милиционер спросил документы, и Машины тоже. Все у деда было на местах, все в порядке. Она достала свидетельство о смерти бабушки, и копию их брачного свидетельства, и копию метрики Люськи, и копию метрики своей собственной — все было на известном месте, в известной папке. Один из милиционеров спросил, откуда она знает, где что лежит.

— Да я в этом доме родилась. Три года назад, когда замуж вышла, дед мне однокомнатную купил... А так я здесь всегда и жила... И прописана здесь была...

Только к утру приехала машина и забрала деда. В бумаге врачи написали — остановка сердца.

Потом началась суета — звонили родственники, приезжали. Полный дом народу. Денег в бюро было три тысячи. Маша думала, что Валерий Михайлович возьмет на себя все хлопоты по похоронам, но он как-то скромно стоял сбоку, инициативы не проявлял. Тогда Антон, Машин муж, взял эти три тысячи и стал всем распоряжаться. Валерий Михайлович только совето-

вал, что все должно быть самым лучшим. А и так все было самое лучшее: Эмма Григорьевна похоронена на Ваганьковском, участок просторный, на две могилы. Поминки заказали в «Праге» — Евгений Николаевич «Прагу» любил с давних времен. Он там всех знал, и его все знали. Потому что начальство-то менялось, а старые клиенты оставались. Отпевали в Ваганьковской церкви, но Машура внутрь не заходила, ее как раз тошнило сильнее обычного. Слушала она с улицы стройное пение — Валерий Михайлович и певчих каких-то особых оплатил.

В том же самом Ореховом зале, где справляли когда-то семидесятилетие, теперь собрались на поминки. Народу было человек шестьдесят, не одни только родственники. Стол был накрыт богато и старомодно — с блинами, киселем, кутьей и всеми православными примочками, в которых Валерий Михайлович оказался большим знатоком.

Трех тысяч почему-то не хватило, и Валерий Михайлович сам вызвался доложить сколько надо. И доложил. Машура порадовалась за него: он всегда казался ей каким-то скользким и подозрительным. Но, видно, прав был дед, что так его к себе приблизил — вел он себя в высшей степени достойно. Довольно рано закончилось поминание, и Валерий Михайлович пригласил всех родственников зайти на минуту на квартиру к Евгению Николаевичу. И пошли, ни о чем не спрашивая. Ясное дело, речь шла о завещании.

Маша открыла, вошла первая. Зеркало у двери завешено было белой простыней, и от этого прихожая как ослепла. Все утыкались глазами в эту неприятную белизну и отводили глаза. Родственников оказалась толпа: друг на друга не смотрели, а как-то в сторону — кто в окно, кто в стену. Розово-голубые сестры и вовсе повернулись друг к другу спиной. Каждая чувствовала себя немного предательницей, потому что каждая была уверена, что раздел долей произойдет именно в ее пользу. Вокруг многодетной частоколом стояли четыре хмурые девицы. Присутствовал и брат двоюродный с женой, и шурин, и все племянники. Лена питерская приехала с мужем — десять тысяч под охраной домой везти. А Саша Козлов поехал прямо с

кладбища по своим собачьим делам: какая-то знатная сука разродиться без него не могла, ему предстояло кесарево сечение производить. Потому его и на поминках не было.

Валерий Михайлович вынул из бюро бумаги и огласил. Завещание было коротким, как кинжальный удар. Все свое имущество, движимое и недвижимое, он завещал своему племяннику Козлову Александру Ивановичу целево — на организацию и содержание собачьего приюта. Каждого из родственников — перечислены поименно, никого не забыл — он одарял коллекционной чашкой, включая четырех внучатных племянниц, частоколом стоящих возле голубой мамаши.

Маше была особо оговорена чашка супрематическая, работы ученика Казимира Малевича по фамилии Хейдекель.

Доверенным лицом для производства всех продаж имущества, включая коллекцию часов, назначался Валерий Михайлович. Ему же предназначалась сумма в десять тысяч американских долларов — за многотрудную работу по ликвидации имущества и передачи основных денег в фонд организации собачьего приюта.

Машура тихонько вышла в коридор — удивительное дело, такой маленький ребеночек, всего двенадцать недель, а тошнит круглые сутки. Маша заперлась в уборной и сблевала — с утра уже восьмой раз.

Все тяжело молчали. Только Женя-Арахис, которая в родственницах не состояла, но нахально приперлась на интимнейшую семейную встречу, тихо взвизгнула:

— Все собакам? Да в суд надо подавать!

— Видите ли, — вежливо пояснил Валерий Михайлович, — поскольку среди родственников нет прямых наследников, суд скорее всего не примет дело к рассмотрению. Но попытаться можно.

Машура подошла к горке, вынула странно квадратную фаянсовую чашку с асимметричной ручкой, потом положила ключи от квартиры на стол и вышла из комнаты.

Лена питерская тихо плакала, глядя в окно. Она плакала уже четвертый день, с тех пор как узнала о смерти Евгения Николаевича. Не в деньгах дело — он был такой... такой, ка-

кого у нее уж никогда не будет. Но и ускользнувших денег тоже было жаль. Он бы дал, если б был жив...

Антон был в тихом бешенстве. Завел Машу на кухню, сказал, что надо опротестовывать завещание: какие собаки, у него родственников дюжина.

— Да никогда в жизни! — улыбнулась Маша. — Здесь, Антоша, нашего ничего нет. Если б он все мне оставил, было б хуже... Не могу тебе объяснить — ничего этого в руки брать нельзя...

Все-таки Евгений Николаевич был действительно всех умней — Антон Машку оставил еще до рождения ребенка. А что собачки не получили тех двенадцати предметов, которые в сейфе сохранялись, оно не так страшно — им и так очень много досталось. Потому что в Сером Козлике Евгений Николаевич не ошибся.

Женщины русских селений...

Стол был накрыт с роскошью бедняков: вся еда, приготовленная без соприкосновения с руками человека, была куплена в Зейбарс, в дорогой кулинарии на 81-й, приволочена Верой на своем горбу через весь Нью-Йорк в Квинс и разложена наспех в простецкие китайские плошки. Еды оказалось вдвое больше, чем нужно для трех стремящихся к похуданию женщин, а выпивки — на пятерых пьющих мужиков, которых как раз и не было.

Обилие выпивки образовалось случайно: хозяйка дома Вера выставила от себя водки обыкновенной, без затей, и еще одна стояла в шкафчике, и обе гостьи принесли по бутылке: Марго — голландский Cherry, а Эмма, москвичка командировочная, — поддельный Наполеон, приобретенный в гастрономе на Смоленской для особо торжественного случая. Он и представился, этот случай, выпала эта безумная командировка, о которой она и мечтать не мечтала.

Теперь Марго с Эммой сидели перед накрытым Верой столом, а сама хозяйка вышла погулять с Шариком, который долго терпеть от старости не мог, а гадить в доме от благородства не смел, и потому жестоко страдал от внутреннего конфликта... Сидели молча перед накрытым столом и ждали самое Веру, с которой Марго была очень дружна в американской жизни. Между собой Вера с Эммой были знакомы заочно. Благодаря Маргошиной болтливости, многое друг о друге знали, но уви-

делись в этот вечер первый раз. Со вчерашнего вечера между Марго и Эммой пробежала какая-то давняя кошка, и Эмма старалась вспомнить теперь, почему она от Маргоши в давние московские времена иногда отдалялась, а потом снова к ней возвращалась, как к старому любовнику...

Остановилась Эмма не в гостинице, а у Маргоши, с которой не виделась ровнешенько десять лет. Родились они в одном месяце, жили в одном московском дворе и учились в одном классе, и до тридцати лет расставались разве что на несколько дней, а потом непременно вываливали друг дружке во всех подробностях все свои приключения за истекший период. В один год родившиеся дети сблизили их еще более — уложив детей, встречались на Эмкиной кухне, выкуривали по пачке «Явы», исповедали друг другу привычно все мысли и дела, грехи вольные и невольные, и расходились, очищенные, сытые разговором, в третьем часу ночи, когда спать оставалось меньше пяти часов.

Теперь, после десятилетней разлуки, они вцепились друг в друга и испытали такое счастье взаимопонимания, какое знакомо лишь музыкантам в хорошей джазовой сессии, когда каждый поворот темы наперед чувствуешь специальным органом, всем прочим людям не предоставленным. События жизни все были известны: переписывались хоть и не часто, но регулярно. Однако много оставалось такого, чего в письме не напишешь, что понимается только с голоса, с улыбки, с интонации... Марго три года как развелась со своим алкоголиком, Веником Говеным, как она его называла, и проживала теперь эпоху выхода из тьмы египетской. Пустыня, в которую она теперь попала, предоставляла ей неограниченную свободу, но счастливой она себя не чувствовала, потому что место, которое прежде занимал Веник со своими пустыми бутылками в портфеле, в гардеробе, среди детских игрушек, с грубостью пьяного секса, с воровством семейных денег — детских, квартирных, каких угодно, — это пустое место проросло ужасными ссорами со старшим шестнадцатилетним Гришкой и полным отчуждением девятилетнего Давида... И все это она объясняла Эмке, а Эмка толь-

ко квакала, качала головой, вздыхала и, практической пользы не принося, так страстно сочувствовала, что Маргоше как будто становилось легче. А потом Эмма хвалила ее за успехи в эмигрантской жизни, за великие подвиги, которые Марго действительно совершила, подтвердив свой диплом и уцепив скромную золотую рыбку в виде должности ассистента в частной онкологической клинике, с хорошей перспективой получить собственную лицензию и так далее... Долго объяснять.

Первые три дня, вернее, вечера, поскольку днем подруги разбегались по своим рабочим делам, были посвящены, главным образом, разбору полетов Веника Говеного, и Эмма только диву давалась, почему это отсутствие мужа совершенно равно его присутствию. Казалось бы, промучилась столько лет с плохим человеком, к тому же и алкоголиком, боялась развода, как полагается восточной женщине, набралась куража, развелась — и живи себе спокойно. Нет, теперь страдает, зачем так долго страдала... И так же долго, с подробностями, все это излагает... Но настал вечер, когда Марго наконец спросила у Эммы:

— А твои-то дела как? Что там у тебя с твоим героем?

И в голосе почудился искренний интерес.

— Все, — вздохнула Эмма. — Рассталась. Окончательно. Начинаю новую жизнь.

— Давно? — встрепенулась Марго, которая старую жизнь уже закончила, но новая все никак не начиналась.

— За день до отъезда. Восемнадцатого.

И она подробно рассказала, как встретилась с Гошей последний раз. Как пришла к нему в мастерскую, всю заставленную из железа скрученными людьми, такими трагическими, понимаешь, как будто заблудившимися в материале, — случайно ожили не в теле, а в жестком металле, и страдают от своего ржавого несовершенства...

— Ты меня понимаешь?

— Вроде да. Так и что? Встретились...

— Тупик. Мы попали в тупик, и деваться некуда. Его дебилка жена, беспомощная дура, дочка одна больная, вторая просто психопатка, деваться ему от них некуда, а я только усу-

губляю все... И от наших отношений всем только хуже. Да и пьет-то он от безвыходности...

Марго смотрела на Эмму своим армяно-азербайджанским взором, и легкий испуг превращался в тихое отвращение, пока не прорвался непристойным вопросом:

— Эм, а ты с ним, с пьяным, спишь?

— Маргоша, да я его трезвым за восемь лет, может, два раза видела. Он трезвым никогда не бывает.

— Бедная, — зажмурила свои преувеличенные очи Марго, — я тебя понимаю...

— Не понимаешь, не понимаешь, — замотала головой Эмма. — Он потрясающий, и не важно, пьяный, трезвый. Он — то, что нужно каждой женщине. Он мужчина до мозга костей. Он просто попал в ужасное положение. И меня туда завел, в это ужасное положение. Он ни в чем передо мной не виноват. Обстоятельства... Но я уже все, решилась. Я выскочу. Я не должна ему мешать, он творческий, он особенный. Совсем не похож на инженерское быдло. У него весь мир другой. Конечно, я никого даже близко на него похожего не встречу, это ясно. Но он у меня был, это кусок моей жизни, целых восемь лет, и этого никто у меня не отнимет. Это — мое.

— А ты почему думаешь, что ты с ним навсегда рассталась? Ты мне три раза уже писала, что ты с ним порвала. И всякий раз — снова. У меня все письма твои хранятся, — невеликодушно напомнила Марго.

— Знаешь, я раньше только о том думала, как ему лучше. А теперь я посмотрела на это с другой стороны — о себе подумала. Теперь — ради моей жизни. Мне сорок исполнилось...

— Это я знаю, и мне, — заметила Марго.

— Так вот, самое время начать новую жизнь. Мы расстались — по моему сценарию, понимаешь? Это я выбрала время и место. И мы провели нашу последнюю ночь... Которую я никогда не забуду. Потому что это выходит за пределы того, что обыкновенно происходит в сексе. Это — за пределом. Перед лицом неба. И эти железные люди, которых он сковал, они как свидетели... Ты себе не представляешь, что это значит — жить с художником...

— Не, не представляю. Венька — программист. Правда, очень хороший. Он совершенно не возвышенный, ты его знаешь. Он эгоист распоследний и, кроме компьютера и водки, ни в чем не нуждается... Ты, Эмка, всегда была необыкновенная, и любовники у тебя необыкновенные. Венгр какой был! Как его, красавец?

— Иштван.

— Да и муж твой, Санек, какой приличный был... Ты себе еще найдешь и замуж выйдешь... А я... — Марго засунула большие пальцы под лифчик, приподняла свое цветущее, но слегка поникшее хозяйство. — При всем при том... — Она встала, повернулась, покачала боками, чтобы весь чудесный ее кувшин — грудь, тонкую талию, убедительный крутой разворот крупа — подтвердить... — и на хер никому не нужно! За всю жизнь ни с кем, кроме Веника Говеного, не переспала. С восемнадцати лет... Объясни мне, Эммочка, почему так получается: роста у тебя нет, сисек на второй номер не соберешь, ноги, извини, кривые, почему у тебя всегда навалом любовников...

Эмка засмеялась добродушно, нисколько не обидевшись:

— За что, Маргоша, тебя люблю — за искренность. Хотя ответить могу — да я тебе это давно говорила. Армяно-азербайджанский конфликт. Ты его разреши сама в себе — ты женщина восточная или западная? Если восточная — не разводись с мужем, а если западная — заведи любовника и не делай из этого проблемы...

Марго неожиданно обиделась:

— Да я же всю твою семью знаю, и маму, и бабушку, чем твои еврейки лучше моей армянской мамы? Чем это вы западные?

— Западная женщина себя уважает. Помнишь мою бабушку?

Марго, конечно, помнила. Уж да, важная была старуха Цецилия Соломоновна. Царица. Но ноги, между прочим, тоже кривые были... Может, правда, западная?

На этой вздорной ноте Марго собрала со стола посуду, вздохнула, взглянув на часы, потому что, как в московские

времена, шел третий час, а вставать было в семь — и разошлись спать по комнатам: Марго в спальню, а Эмма в гостиную, где был новый гостевой диван, купленный после ухода Веника, когда денег в доме стало, как после большого выигрыша в лотерее...

Вера вошла — розовая, с молодым морщинистым лицом и плохо выкрашенными волосами. За ней — Шарик, вразвалку, по-старчески, и сел слева от Вериного кресла с лицемерным безразличием к накрытому столу.

«Вот парочка, не скрывающая своего возраста», — подумала Эмма с симпатией.

Вера плюхнулась в плетеное кресло, оно тонко пискнуло. Протянула руку за бутылкой:

— Дата неровная, но я все считаю по месяцам: сегодня семнадцать месяцев, как Мишка умер.

Она разлила, не спрашивая, водку по стопкам, и Эмма отметила, что стопки московские, хрустальные, сталинских времен.

— Царствие Небесное, Мишенька! — радостно воскликнула Вера и опрокинула стопку. Потом вздохнула. — Полтора года... Как будто вчера...

Взяла с блюда кусок копченой индейки, бросила собаке:

— Лопай, Шарик, это чистый яд для тебя.

Собака оценила хозяйский жест и, разрываясь между двумя острыми желаниями — немедленно благодарственно лизнуть руку и немедленно же проглотить загорелый кусок божественного вкуса, — заметалась... Сложный был у Шарика характер.

— Нажремся сейчас... — мечтательно произнесла хозяйка. — Давайте, давайте, девочки! С тех пор как Мишки не стало, я, кажется, ни разу не готовила еды... Все в забегаловках. Марго! Ну, что ли?

И то ли оттого, что действительно проголодались, то ли оттого, что собака страстно стонала над индейской косточкой, набросились на еду, забыв о приличиях, вилках и паузах... Жор какой-то нашел. Даже и не похваливали еду, молча и яростно

жевали, подкладывали, подливали, и Шарик под столом оживился — ему тоже подбрасывали. И все было такое вкусное — и рыба красная, и салаты, и пироги, и паштет... И вкус еды неамериканский. О чем Марго и сказала. Вера засмеялась:

— Неамериканский, конечно! Еврейский вкус у этой еды. Этот магазин, Зайбарс, еврейский. Мы с Мишкой его облюбовали сразу как приехали. Дорогущий был. Денег тогда не было, мы по сто граммов покупали — форшмак, паштет, и хлеба черного в те времена в Америке еще не было, только у них. Здесь, в Америке, евреев из России называют русскими, зато русские, как я, отчаянно жидовеют, — засмеялась Вера, обращаясь к Эмме, которая местных условий не знала. — Бедная моя бабка накануне свадьбы умерла, боюсь, от горя, что любимая внучка выходит за еврея... А мамочка все говорила:

— И пусть, что еврей, зато хоть один зять непьющий будет!

И Вера захохотала звонко, и морщины просто в два букета собрались — на одной щеке и на другой, и — удивительное дело! — от них она еще больше помолодела.

— Сильно пил? — спросила Эмма. Вопрос этот ее глубоко занимал.

— Пил, как еще, — сморщилась Марго.

— Ох, да как пил! — Вера повернула свое улыбающееся лицо к большому портрету покойного мужа. Портрет был раздут со старой послевоенной фотографии. Качество неважное. Молодой солдат, с косым кудрявым чубом из-под пилотки, с папироской в углу рта. — Хорош, да? Всем был хорош. И пил хорошо. От цирроза печени он умер, Эммочка.

Марго положила свою большеволосую голову на мраморную с прожилками руку. Она была богиня, натуральная богиня, с римским носом, изо лба растущим, нечеловеческого размера глазами и большими губами, наподобие лука изогнутыми:

— Верочка, Миша твой, конечно, был человек прекрасный, обаятельный, и вообще — личность выдающаяся. Но ведь ты же мучилась как с ним, из-за пьянства этого. Я-то знаю! Чего же хорошего в питье может быть? Ведь потеря человеческого образа! Нет, разве?

А Вера отставила пустую бутылку водки, незаметно как-то она пролетела, достала вторую, и все с той же улыбкой:

— Глупости какие! Пьянство освобождает... Когда человек хороший, он пьяным только лучше делается, а если говно, то говнеет. Поверь моему слову, уж я-то знаю! Погоди-ка! Чего-то мне не хватает! — и Вера вскочила, покопалась на какой-то полке, достала кассету, включила. Голос вкрадчивый и убедительный пропел-проговорил: самогона взял ноль восемь, косхалвы, пару рижского и керченскую сельдь...

— Мишка любил его... Собутыльники были, друзья...

Но никто бедной гитары этой не слушал, и голос из прошлого висел в воздухе, а говорили о своем. И пили: Вера — водку, Эмма — фальшивый коньяк, а Марго — всего понемногу, мешая.

И, странное дело, постепенно менялись, все в разные стороны: Вера веселела, шла на подъем, Марго мрачнела, сердилась и как будто раздражалась, что это Верка так радуется, а Эмма смотрела на них, и ей казалось, что сейчас узнает она что-то важное, что поможет начать новую жизнь. И слушала во все уши, больше помалкивая. Тем более, что алкоголь ее сегодня не очень брал.

— А, что ни говори! — Вера сделала рукой русский размашистый жест, как будто собиралась «Барыню» танцевать. — В России все самые талантливые, все самые лучшие люди испокон веку — пьяницы! Петр Первый! Пушкин! Достоевский! Мусоргский! Андрей Платонов! Венечка Ерофеев! Гагарин! Мишка мой!

Марго выпучилась:

— Да Мишка-то твой причем, Вера? Ну пусть Гагарин, черт с ним! Но Мишка, Мишка-то?

Вера вдруг сникла, посерьезнела, сказала тихо:

— Так он и был из лучших людей в России... Честный...

Но Маргошу несло, не остановишь:

— А Петр Первый причем? Сумасшедший был! Сифилитик! Ладно, хоть император! Но Мишка твой вообще еврей! И чем он честный? Чем? Сколько ты из-за него говна скушала? Честный!

Марго теперь уже обращалась не к Верке, а к Эмке:

— Честный он! Слышать не могу! Сколько она абортов от него сделала, от честного? Сколько баб он успевал оприходовать, пока ты по абортариям корячилась? Да среди подруг ни одной не было, чтоб он не потыкал. Тьфу!

— Ну к тебе-то не приставал? — фыркнула Вера.

— Да почему ж не приставал? Ко всем приставал, а ко мне нет? Только ему у меня не обломилось! — гордо отрезала Марго.

— Ну и дура! Переспала бы с Мишкой, может, и с Веником получше бы пошло!

— Перестань. Мой Веник Говеный, но и твой Мишка тоже не далеко ушел. Старый бабник!

Шарик встал с трудом, подошел к Марго, вяло гавкнул. Верка захохотала:

— Девочки! Маргоша! Эммочка! При Шарике Мишку ругать нельзя. Загрызет!

Шарик понял, что его похвалили, подошел к хозяйке, раскрыл черную на малиновой подкладке пасть, ожидая награды. Вера кинула кусок французского сыра.

Марго, угасив ярость крови, выпила рюмку коньяку:

— Мне, Вер, обидно, он что хотел делал, изменял направо-налево, а ты его любила, все прощала. Я бы его убила! Если у меня муж, я его люблю, а он мне изменит, я его зарежу к чертям собачьим!

Неужели в Америке, в другом свете, в городе Нью-Йорке, в одна тысяча девятьсот девяностом году происходит глупейший этот разговор, бабий, кухонный, того и гляди до драки дойдет, — изумлялась Эмма, разглядывая старую свою подружку, которая почти не изменилась. Кем Марго была, тем и осталась — армянкой с азербайджанской фамилией, из-за которой армянская родня всю жизнь на нее косо смотрела. А отец, Гуссейнов Зарик, разбился в горах, когда Марго было всего шесть месяцев... Никуда не денешься, паспорт американский, а мозги все равно кавказские: всех накормит, все раздаст, а не поздравь ее с днем рождения, такой

скандал поднимет, что до следующего года не забудешь... За-ре-жу!

— Марго, ты ничего не понимаешь! Дело только в тебе самой! Ты просто не умеешь любить! А когда любишь, то все прощаешь... Все-все...

— Но не до такой же степени! — взвизгнула Марго, встряхнула симметричными кудрями. — Не до такой!

Вера налила водки в стакан для воды, не полный, половину. В задумчивости держала его, смотрела на портрет наискосок от нее, и вроде как на нее обращен взгляд молодого Мишки, с послевоенным чубом — таким она его не знала, позже познакомилась — от послевоенной, второй жены увела для своего, как казалось, единоличного употребления. И ошиблась, ой, как ошиблась! Он и к военной жене Зинке бегал, о чем она знала, и к послевоенной, Шурочке, и еще к одной... Она смотрела светлым взглядом на портрет, на Марго...

— Дурочка ты. Послушай. Я Мишку любила всеми своими силами, и телом, и душой. И он меня любил. Ты даже не понимаешь, как мы любили друг друга. Трезвыми любили и пьяными. И особенно — пьяными. Он был великий любовник. Он мне не изменял, он просто спал с другими бабами. И я его совершенно не ревновала. Ну, почти не ревновала, — поправилась она. — Только в молодые годы, пока не понимала... У него был талант любить. А когда этот цирроз на него накинулся, тут уж мы любили друг друга совсем без памяти, потому что времени почти не оставалось... Мы знали оба... Девчонка у него завелась в больнице, медсестра, влюбилась в него напоследок. А, да я все знаю, он и не скрывал. Переспал с ней. Потом говорит: нет, больше не хочу никого. Времени мало, выписывай меня, дома буду умирать. С тобой. И трахались — до слез. Он все говорил: какой я счастливый — с семнадцати лет на фронте, с сорок третьего года — и выжил. Провоевал всю войну — никого не убил. В ремчасти был, танки ремонтировал... Бабы всегда любили. Сел в сорок девятом, из института взяли — вышел живой. И опять бабы любили. И ты, радость моя... так говорил — радость моя! И ты, радость моя,

меня полюбила. Молодая, девчоночка совсем, вцепилась в старого козла, своего не упустила, умница... Дай, говорит, быстренько створочки потрогать... а коленочки какие, а плечики какие, не знаю, за что вперед хвататься... За два дня до смерти говорил... А мне-то уже за полтинник перевалило! Какие плечики, какие коленочки, ничего такого уж нет... Дура, дура ты, Марго, все ты проворонила, ничего не видела... Любить ты не умеешь, вот что, вот она, беда твоя. И Веник твой ни при чем! Ему не повезло, твоему Венику. Может, другая баба его полюбила бы и любить научила... Да что ты за баба, ботва одна...

Марго заплакала, сраженная пьяной правдой. Может... да? В ней дело было? Может, Веник и не пил бы, если б она его так любила, как Верка своего Мишку? Может, пил бы, но ее, Марго, страшно любил... И не было бы этого стыда и срама пьяных соитий, когда лежишь, исполненная ненависти, а на тебе девяносто килограмм дергаются, по сухому бьют, как на кол насаживают, и грудь в синяках, как после побоев, бурые следы потом год проходили. И вонь перегарная, и запах низа, от которого тошнота подкатывает, и качает, как в трюме, и только бы до сортира добежать, чтобы выблевать все в его сияющее белое нутро... Что? Мало? Еще тебе? Убери свой дрын ненасытный! Куда? Еще чего?

И Эмка тоже заплакала: что же она наделала? Гошенька! Я люблю тебя, как никого не любила! Как никто никого никогда... Нет, нет, не хочу никакой новой жизни. Пусть будет эта, с вечно пьяным Гошей, с ежедневным отчаянием, с тревогой, с ночными поездками туда-сюда, скорой помощью, со спасительной утренней четвертинкой, с горячим пирогом, в газеты укутанным. И с презрительным взглядом дочки: опять понеслась? И все — без надежды на какую-то нормальную жизнь, все — без отдачи, то есть без признания, без благодарности, безо всякого расчета, просто отдаешь — и все!

— Просто отдаешь — и все! И не думаешь, что тебе взамен этого дадут! — декламировала Вера, сияя пьяным светом и утробной бабьей мудростью. И разливала по стаканам, а не по стопочкам хрустальным. И прикуривала одну от другой, и заталкивала недокуренную сигарету в огромную пепельницу,

пригодную больше для общественной курилки, чем для домашних нужд одинокой вдовы. Погасила сигарету, встала во весь большой рост, покачнулась, схватилась за край стола, и стол покачнулся, но не упал. Удержалась. И пошла, скользя по полу, как по катку, хохоча, придерживаясь за стену, в уборную.

— Напилась Верка, — прокомментировала Марго, и немедленно из ванной раздался грохот и громкое восклицание: упало сразу несколько предметов, среди них один — крупный. Маргоша и Эмма вскочили — бежать на помощь, но как-то не побежалось. Они наткнулись друг на друга, сдержав неуместный бег, и неверно пошли в ванную комнату. Там, на полу, барахталась Верка, растирая знаменитую коленку и приговаривая:

— Вечно разбросают тут тряпок на полу, потом спотыкаешься... Маргоша, ну что ты, как корова, ей-богу, все флаконы мои перебила.

На полу и правда посверкивали мокрые стекляшки, и пахло духами, мощными, как противотанковый снаряд...

Верку подобрали с полу. Она немного буянила, но весело, и все требовала еще чуть-чуть добавить. Но бутылки все были пустыми — и обе водки, и коньяк, и ликер, и неизвестно откуда взявшаяся бутылка французского вина, которую выпили, не заметив ее выдающейся этикетки...

— Надо сделать обыск! У Мишки всегда было спрятано... В Москве, перед отъездом, гебешники делали обыск, так они бутылок спрятанных нашли больше, чем книг...

Вера открыла все ящики письменного стола:

— Правда, здесь я все обыскала уже не по разу... Но есть же где-нибудь! Мишенька! Ау! — обратилась она к портрету мужа, воздев длинные, слегка обвисшие в плечах руки.

Потом встала на колени, но не перед портретом, а перед книжным шкафом, отодвинула стекло и начала с нижней полки вытаскивать книги ползущими стопками. Оголила нижнюю полку — ничего там не было.

Эмма с Маргошей стояли, упершись друг в друга, как два склоненных друг к другу дерева, толстое и тонкое. Маргошу обуяла икота.

— Попить надо, — посоветовала Эмма.

— Да я ищу. Должно же быть где-то, — Вера лежала на полу, на спине, и сбрасывала книги ногой, уже со второй полки снизу. Одна книжка распалась надвое и звякнула. Книжкой она только прикидывалась, это была одна обложка, а в ней стояла бутылка, початая бутылка водки.

Вера схватила ее, прижала к груди:

— Мишенька! Дружок ты мой верный! От меня прятал! Да чего от меня прятать-то? Вот она я!

И они разлили эту последнюю водку, от Мишеньки привет, и больше пить уже не могли. Совершенно не могли. Потому что полны были алкоголем до самого края, до верхнего предела женской возможности. Верка, перед тем как отключиться, велела отвести ее в Мишкин кабинет и, пока ее вели туда, совершала свои последние пьяные признания, а может, и не признания, а только мечтания:

— А меня на кушеточку, к Мишеньке в кабинет. А я себе кавалера завела, пуэрториканского паренька, справный такой. Так я его непременно на эту кушеточку заваливаю. Здесь Мишкой пахнет. А Мишка смотрит, как он меня... тридцать пять лет ему, молодой... как он меня дерет... Мишка радуется... Радуйся, говорит, моя радость, радуйся! Вот как он говорит...

Маргоша потом долго вспоминала, говорила Верка про пуэрториканского любовника или по пьяному делу причудилось...

Верку взвалили на кушетку. Шарик, давно уже здесь храпевший, недовольно подвинулся, и Маргоша с Эммой отправились в спальню, где еще до начала праздника расстелена была для них супружеская постель, широкая, как Веркина русская душа, и такая же мягкая...

Марго, последняя порядочная женщина на континенте, которая еще носила кружевную комбинацию, целомудренно вытащив из-под нее лифчик, плюхнулась в ностальгическую перину, эмигрировавшую вместе с Веркой из московского пригорода, из Томилина, где и по сей день на таких же перинах спали Веркина мамаша и две старшие сестры. Эмма сняла с себя все, голая скользнула под простыню, и тотчас же все

закачалось и начало проваливаться то в одну сторону, то в другую...

— Ой, как плохо, — простонала она.

— А кому хорошо? — отозвалась Маргоша. — Главное, ты не засыпай, пока не пройдет. Бедный Веник, неужели ему каждый день вот так плохо было?

— Еще хуже, — прошептала Эмма. — Утром всегда еще хуже, чем вечером. Бедный Гоша...

На Маргошу напала вдруг такая неизъяснимая нежность, непонятно даже к кому, чуть ли не к Венику Говеному, и она шмыгнула носом, потому что слезы готовы были поползти, и обняла Эмму за худую спину. Она была тонка, как рыбка, и такая же гладкая, только не мокрая, а, наоборот, сухая, как печенье, и скользила под рукой. И Маргоша начала гладить ее, сначала по спинке, потом немного по плечам, и на нее наплыла такая горячая, такая сильная волна, и понесла ее в неизведанном направлении... Эмка только стонала, все «ой» да «ой», но лежала тихонько, совсем не двигаясь, а Маргоша, приподнявшись, гладила по незначительной груди и дивилась, почему так прелестно ее трогать, как будто все это подростковое тело только для глажки и сделано. Она приложилась губами к ее шее, и кожа ее пахла не взрывными Веркиными духами, от которых по всей квартире стоял смрад, как от горелого молока, а чем-то таким, от чего дух захватывает до самой сердцевины. Ну да, именно до сердцевины. И Маргоша чувствовала, как будто внутри живота у нее распускается какой-то цветок и стремится к Эмке, и она плавилась от наслаждения, и прикоснулась к Эмкиной груди сначала губами, а потом пальцами нежно, около кнопки соска...

А Эмка стонала, плыла неизвестно где, и желудок ее качался отдельно, и очень хотелось блевать, но для этого надо было остановиться, сделать какое-то усилие, но качка была такая сильная — не остановишь... А что чьи-то руки ее гладили, она не чувствовала, все ощущения сосредоточились в желудке и немного в горле...

А цветок Маргошин набухал и готов был вот-вот раскрыться, она прижалась животом к Эмкиному боку, а пальцы

ее наслаждались прикосновением к плотной Эмкиной груди... такая плотная железа... нижняя доля пальпируется... и тяж вверх к соску... и слева — второй... уплотнение, и еще одно... классическая картина.... канцер! Можно без биопсии — на стол. Маргошу подбросило.

— Эмка! — заорала она. — Эмка, вставай! Вставай немедленно!

Хмель слетел, как не бывало. Все слетело... Она стояла в желтой кружевной комбинации, с обвисшими и совершенно здоровыми грудями, маммографию два раза в год делала, как цивилизованная женщина, подхватила Эмку под мышки, устанавливала ее на тряпичные ноги, трясла и продолжала орать:

— Да стой ты, чертова кукла! Ровно стой! Руки разведи вот так! Да подмышки мне твои нужны, а не локти! Плечо держи!

И цепкими пальцами впивалась в сухую подмышечную впадину, влезала в самую глубину — лимфатическая железа слева была уплотнена, увеличена, но не очень сильно. Справа железа была спокойная. Нажала на левый сосок.

— Ой! — отозвалась Эмма.

— Больно?

— А ты думала... — буркнула Эмка и завалилась на кровать.

Пальцы у Маргоши стали влажными.

— Слушай, у тебя выделения из соска давно?

— Отстань, меня и так тошнит. Дай попить.

Маргоша поволокла ее в ванную. Эмму вырвало. Потом она пописала. Потом Марго запихала ее под холодный душ. Сегодня в клинике дежурил Мортон, самый лучший из врачей. Старик опытный и симпатяга. Повезло.

Марго вытащила Эмку из-под душа. Та смотрела совершенно осмысленно.

— Быстро собирайся, едем ко мне в клинику.

— Маргоша, ты с ума сошла, что ли? Никуда не поеду. У меня сегодня выходной.

— У меня тоже. Быстро собирайся. У тебя в молочной железе черт-те что. Срочно надо проверить.

Эмка сразу все поняла. Сдернула с вешалки полотенце, вытерлась насухо. Потыкала пальцем в левую грудь.

— Здесь?

Маргоша кивнула.

— Чайник поставь и не пори горячки. Как ты думаешь, если я в Москву позвоню, это очень дорого?

— Звони. Знаешь, как набирать?

Марго принесла трубку. Эмма набрала код, потом московский номер. Гоша долго не подходил.

— Который там сейчас час? — опомнилась Эмма.

— Здесь полшестого, плюс восемь. Полвторого, — вычислила Марго.

— Гоша! Гошенька! — заорала Эмка. — Это я! Эмма! Да, из Нью-Йорка! Я все отменяю! Я наш развод отменяю! Это глупость была. Прости меня! Я тебя люблю! Ты что, совсем пьяный? И я! И я тоже! Я скоро приеду! Ты только люби меня, Гоша! И не пей! Я хочу сказать — много не пей!

— Мне полчаса надо, чтоб собраться. Нет, сорок пять минут. Я такси на шесть пятнадцать заказываю, — и Марго взяла трубку из Эмминых рук.

— Слушай, а зачем такая спешка? Что, правда, так срочно?

— Срочнее некуда.

В дверях стоял Шарик, которому по старческому делу сильно приспичило. Стоял и ждал и улыбался, вывалив умильно язык. До прихода такси надо было этого старого дурака вывести...

Цю-юрихь

Три полных рабочих дня просидела Лидия на лавочке с раскрытым учебником немецкого языка. Оказалось, что все она рассчитала правильно и свой отпуск потратила не зря. К концу третьего дня из выставочного павильона вышел загорелый полненький мужчина, окруженный тонким сиянием, и сел рядом с ней. Сиял он, однако, не сам по себе, а переливчатым сероголубым пиджаком. Пахло от него бодрой сосной, туфли на нем были женского серого цвета в фасонистых дырочках. Всю эту картину, включая дырочки, Лидия ухватила первым же цепким взглядом, даже заметила рахитичный, выступающий немного вперед лоб и красную жилку в левом глазу. Она уткнулась в раскрытый учебник, придерживая его с поворотом, чтобы обложка была видна.

Мужчина, по-рыбьи раскрыв рот, немедленно сглотнул наживку:

— О, ди дойче шпрахе!

И заулыбался. Далее разговор потек ручейком тонким, но уверенным. Господин сообщил, что он швейцарец из Цюриха, представитель фирмы, производящей краски, имеет дом в пригороде и любит животных. Лидия, со своей стороны, рассказала о себе — этот рассказ она давно уже подготовила, выучила наизусть и отрепетировала: педагог, работает с детьми, занимается немецким языком на курсах, понедельник, среда, пятница, просто для удовольствия.

— В немецком языке мне очень нравится порядок, все на своих местах, особенно глаголы...

Швейцарец расплылся — о, он тоже изучал иностранные языки и тоже считает, что немецкий самый рациональный...

Сотрудники наружного наблюдения заняты были свыше всякой меры: выставка международная, со всего города съехалась фарца, грудастые ласточки, пионерки международного бизнеса, привезли свой свежий товар в шелковых розовых трусиках на грубых резинках. Лидия могла быть совершенно спокойна — никому бы в голову не пришло, что и она здесь на охоте.

Действительно, к налетевшим сюда девушкам она не имела никакого отношения. Возрасту ей было за тридцать, красоты за ней никакой не водилось, напротив даже, нижняя губа была вытянута вперед лопаточкой, нос несколько нависал, и, вращайся она в европейских монархических кругах, губа ее считалась бы габсбургской, но поскольку она была родом из деревни Салослово, то прозвище у нее с детства было Лидка-гусыня. Двумя заметными ее достоинствами, кроме немецкого языка, были густые, в светлый слоистый пучок уложенные волосы и тончайшая талия, еще и утянутая грубым лакированным ремнем до состояния полуперепиленности.

Разговор шел неторопливо и весь в нужном направлении, но в какой-то момент швейцарец взглянул на свои швейцарские часы, и Лидия испугалась, что он просто так встанет и уйдет, сказавши ей ауфвидерзеен. Но он видерзеена не сказал, а, напротив, предложил посмотреть на его стенд и выпить чашечку кофе.

Лидия скромно улыбнулась, сверкнув двумя золотыми зубами в глубине узкогубого рта, убрала учебник и на мгновение задумалась: в сумочке у нее лежали перчатки, белые, нейлоновые, с оборочкой, точь-в-точь как на блузке — надеть, что ли... Перчатки — это шикарно, но не слишком ли... Не решившись их натянуть, она все же вытащила их и сжала в горсти.

— Моя гостья, — кивнул швейцарец охраннику, и Лидия, поигрывая перчатками, прошла за ним следом.

Он ввел ее в закуток своего стенда. Сердце Лидии зашлось от восторга, так весело ей было смотреть на образцы малярных красок, которыми торговал полненький швейцарец.

— Как красиво! — воскликнула она, и в искренности ее нельзя было усомниться. Хотя среди многих ее достоинств, включающих даже и простодушие, искренности как раз и не было. Скорее, она была хитровата. Вот именно, простодушна и хитровата. Но если говорить о стратегии ее жизни, то именно в данном случае она собиралась хитрить, и охмурять, и даже обманывать. Ничего этого ей и не понадобилось — господин ей ужас как понравился.

— Не расслабляться, только не расслабляться, — скомандовала себе Лидия.

Он предложил ей сесть, сам присел, слегка сгорбившись, в роскошное кресло красной пластмассы и неопределенно улыбнулся. С чего это он пригласил в павильон эту незнакомую женщину, вроде не клиент, и собой не хороша...

— Вам нужен массаж. У вас остеохондроз! — воскликнула она решительно и, не давая опомниться, вцепилась ему в холку и забегала маленькими крепкими ручками по толстому загривку. Он от ужаса зашелся. Сидел, выпучив глаза и хватая воздух.

Лидии катастрофически не хватало немецких слов. Слова «расслабиться» она не знала, но понимала, что инициативу никак нельзя упускать и нельзя молчать, надо что-то говорить. И она говорила. Сначала она пересказала текст из учебника по истории Москвы, потом биографию Пушкина. Между делом она сняла с него переливчатый пиджак, похвалила материю. Он пытался протестовать, но под ее напором быстро увял и таки расслабился.

— Я имею диплом массажиста — массаж физкультурный, массаж лечебный, я даже изучала китайский массаж, — заявила она. И, видимо, не соврала: движения ее были уверенными и энергичными.

Ему и в Швейцарии приходилось иногда принимать сеансы массажа, дело это было недешевое. И насчет остеохондроза она была совершенно права — был у него остеохондроз.

Минут пятнадцать она гуляла по нему своими пальчиками, и очень приятно, только дверь была приоткрыта и он немного беспокоился, не увидит ли кто из посторонних. Но ник-

то не сунулся, и когда она закончила, приятно обхлопав его через рубашку, ему ничего не оставалось, как поблагодарить. Дама была в высшей степени странная — но милая, решил он.

Настало время кофе. Он покрутил разогревшейся шеей, решил, что кроме кофе угостит ее еще и шоколадом. Был у него запас и плиточного, и в конфетных изделиях — для угощения хороших клиентов.

— Главное — не терять инициативу, — сосредоточилась Лидия и, пока швейцарец готовил кофе, составляла в уме приглашение.

— Я буду рада пригласить вас ко мне на обед. Я имею диплом повара, — объявила Лидия. — Кухня европейская, кухня народов СССР, диетическое питание. Я имею разрешение работать поваром в ресторане.

Это было очень хорошее попадание. Швейцарец давно уже мечтал завести собственный ресторанчик, но обстоятельства жизни препятствовали.

— Так вы массажист или повар? —вполне живо поинтересовался швейцарец.

— И то, и другое. Хотя в настоящее время я преподаю историю нашего города, — сказала она со скромной гордостью. — Я педагог.

Все в точности соответствовало действительности. Лидия второй год вела краеведческий кружок при районном Доме пионеров. Зарплата была никудышная, но зато оставалось много времени для многочисленных ее занятий, а деньги она зарабатывала то шитьем, то вязаньем, то продажей кое-чего. Да и что деньги, много ли в них проку. Лидия с детства жила за интерес. И главный в жизни интерес был у нее ученье.

— О, я с удовольствием приду к вам на обед, — засиял швейцарец и вынул не ту коробочку с конфетами, которую сначала собирался поставить, а другую, побольше. Лидия показалась ему интересной.

Начала Лидия с занавесок. Как пришла, сразу сдернула все занавески — и в таз. Стирку Лидия любила больше всех других хозяйственных дел. Считала, что это занятие успокаи-

вающее, и, когда случалась неприятность или просто было плохое настроение, она бралась за постирушку. Но теперь как раз у нее настроение было отличное, боевое, как перед важным экзаменом. И что-то подсказывало ей, что, как и все другие экзамены, — а сдала она их сотни, — и этот, нешуточный, она сдаст. Только бы швейцарец пришел...

Она сразу же, еще до дома не доехав, поняла, что дала промашку, неправильно с ним уговорилась: надо было бы так, чтоб за ним заехать. А то мало ли что, забудет или дела, Большой театр или ресторан «Националь»... Какие у них, у иностранцев, еще заботы в Москве. Ну, Третьяковская галерея...

Пока стирала занавески, Лидия всю программу досконально обдумала. Конечно, без Эмилии Карловны не обойтись. У нее надо позаимствовать кое-что для приема. На закуски не напирать, икру, конечно, купить, ну, граммчиков двести осетрины горячего копчения, а в основном — настоящий русский стол... уха, пирожки... может, курник... бефстроганов тоже неплохо... но и не перемудрить. В общем, задача... И что надеть? Тоже момент очень существенный — не упустить бы самого важного...

Два дня Лидия рук не покладала. Все успела: и в «Прагу», и на Центральный рынок, и к Эмильке за серебром. Эмилька бровь подняла: мол, зачем это, не понимаю, но отказать не отказала — вынула из горки два серебряных прибора, две лопаточки, две вилочки, вазу для фруктов в два этажа, с пикой наверху. Лидия знала, как ее снаряжать правильно: виноград наверх кладешь, одну кисточку, и свешиваешь немного занавесочкой такой... Вниз же два персика, грушу и слив штук пять. И никаких яблок. Другое дело, была бы зима, тогда яблоки антоновские, и не на вазе, а моченые, в капустке с клюковкой... И икорницу эмалевую попросила — вот глаза-то выпучит!

А откуда все это Лидия знала, все эти большие тонкости про сервировку стола, про стирку, подсинивание и подкрахмаливание и про то, как правильно мужскую сорочку сложить, и как на зиму вещи сохранить от моли, и как таблетку ребенку раздавить, а потом на кисель, и многое другое, то это отчасти

от Эмильки, которая всему ее сама обучила, отчасти из курсов, а остальное из воздуха, само собой, потому что красоты у Лидии не было, зато ума палата. Это она про себя давно знала. Из всех людей, с кем она была знакома, одна только Эмилька была ее умней, а про других, бывало, покажется, вот, умнейшая женщина, а потом все же оборачивалось, что не умней ее, Лидии. Хотя про себя Лидия знала: кое-какие глупости по части мужиков она себе позволяла — и с Колькой, и с Геннадием. Но давно. Теперь на нее нашло озарение, что она всю жизнь не в ту сторону смотрела, куда надо бы. Но, как известно, лучше поздно, чем никогда.

Опаздывал Мартин уже на полчаса, и Лидия, в чистейшей своей квартире, в белейшей блузке, перед накрытым столом, все металась от двери к окну и себя ругала на чем свет стоит: как это она глупо договорилась, знать бы заранее, что так будет, лучше было бы заехать за ним в Сокольники, на самую выставку, и сюда приволочь...

Но сколько Лидия ни нависала над окном, гостя своего она пропустила, потому что он не с той стороны зашел, с переулка. Сбился от метро Бауманского не на ту сторону, дурачок, и по жаре сорок минут топал туда-сюда, пока две школьницы его на нужное место не вывели.

Он позвонил в дверь и был с цветами, розами. Штук не три, пять, семь, а двенадцать, — не по-нашему. Стоит в дверях весь мокрый, со лба течет, и рот открыт, дышит сильно... Сердце не очень-то, сразу с беспокойством подумала Лидия. Глаз у нее был наметанный, и медицинские курсы она тоже проходила, тогда на массаж без медучилища не брали, а ей массаж позарез как хотелось...

— Ихь варте инен зо ланг... — вот что сказала Лидия, а он — извиняться. Но глазами так и ходит, так и ходит...

Разрешите, говорит, снять пиджак...

Пиджак опять серый, но другой, без сияния. Снимает. Лидия его на руки принимает, а он гладкий, как шелк. Может, правда, шелк? Швейцария — самая богатая страна. Эмилия еще когда говорила, что там у них банков больше, чем у нас пивных... На голубой рубашке у Мартина — подмышки и спин-

ка синие, вспотел, бедный. Вот, ванной-то нет. Дом пролетарский, спасибо, хоть уборная своя, отдельная.

И тут на Лидию как вдохновение нашло. Присаживайтесь сюда, минуточку... Он сел в кресло, куда она ему указала, и смотрит на ее стол, как на музейную витрину, рот опять слегка открыт, видно, привычка у него такая.

А Лидия — шасть на кухню, и в таз воды до половины, и вносит небольшой такой тазик на вытянутых, и ставит на пол, прямо перед ним. А потом присела аккуратненько, разрешите, извините... и снимает с него серые ботиночки и носочки, тоже серые...

Швейцарец глаза выпучил и губами шлепает: вас? вас? А ни вас... У нас, говорит Лидия, так принято: в жар холодная ножная ванна исключительно полезна... И компресс прохладный на лоб... Я, говорит, как медработник это знаю... По-немецки, кой-как, но он все понял, головой своей лысой кивнул: я-а, я-а...

А ножки, ножки какие, какие пальчики. Маникюр, что ли, на ногах делает? Как вспомнила Колькины копыты, прель на ногтях, ничем не выведешь, — от сапог, он все говорил. От сапог вся вонища-то, мой, не мой — без разницы. Хоть кирза, хоть хром, который мужик в сапогах, само собой воняет...

Лидия, как пальчики его увидела, все сразу наперед поняла: сейчас жизнь решается.

Улыбается Лидия тонко. От улыбки нос совсем на губу налезает. Не красит. Да она умная и это знает — улыбается, головку опускает и чуть отворачивает. Мы, говорит, на Востоке живем, у нас в России так принято.

Он что-то в ответ, но сложновато говорит, вроде одобряет, а слова непонятны. Ничего, ничего, все слова выучу, подумаешь... Вон, словарь-то на полке, большое дело.

Ногу на полотенце, промокнула, носочек натянула, расправила, второй... Ботинок мягкий, гладкий, из чего они их делают, такую кожу да хоть на рожу... А лицо у него — нет лица: одно изумление и непонимание. Вот и хорошо — удивила.

Салфетка — в кольце серебряном, на вилке — монограмма немецкая. О-о... Готический шрифт... Ка Эр...

Да. Кристина Рунге, моя бабушка из Риги... Кристина Рунге — бабушка Эмилии Карловны. Значения не имеет. Швейцарец бровь поднял: очень интересная женщина, однако.

Приятного аппетита. Закуски, пожалуйста, — на чистом немецком языке. Все эти маленькие застольные словечки Лидия наизусть знает с первого года, как пришла к Эмильке в прислуги. Эмилька тогда пятерых деток держала, вроде частный детский сад. Этих первых она отлично помнит, еврейские детишки все, как на подбор: две сестры— Маша и Аня, Шурик, Гриша и Милочка. Их утром приводили с судочками, всех к девяти, а Милочку к половине десятого, прадед, старый, как мох на пеньке. Эмилька их гулять вела на скверик, а к половине двенадцатого обратно, Лидия их раздевала, ручки мыла, в комнату вела. До обеда полчаса, пока Лидия судочки грела, в немецкое лото играли и только по-немецки говорили. Их хабе нуммер айнундцванциг... И обедали по-немецки. Гебен зи мир битте... Данке ... энтшульдиген... дас ист гешмект...

Потом Лида посуду мыла, а у детей мертвый час: девочки на большую кровать, втроем, Шурика на кушетку, Гришу — на кресло-«дешез». Спят, не спят — значения не имеет. Главное — ни слова, мертвый час. Это дисциплина такая. Встали, умылись — чай. К чаю печенье, это Эмилька от себя давала. Лидия это печенье хоть с закрытыми глазами: два желтка стереть с полстакана сахара, сто грамм шоколадного масла добавить...

О, икра! Да, пожалуйста... Икра бывает астраханская и каспийская. Эта астраханская, я ее предпочитаю. Она не черная, а серая, и зерно помельче. Очень нежная. Пожалуйста, пожалуйста. Берите масло. Вологодское масло. Попробуйте — вкус ореха чувствуете? Самое лучшее масло в России. Я знаю, что швейцарские молочные продукты очень хорошие. Но это русское масло превосходное. Перфект. Зеер перфект. Калач — особый русский хлеб. Айн руссише бротхен. Маленькая рюмка водки. Маленькая. Будьте здоровы! Прозит!

Он берет всего помалу, на язык пробует, к десне прижимает, лицо осторожное — ну точно как Эмилька. Может, он тоже из латышей? Головой кивает, руку в сторону отвел.

Угорь. Первое слово в любом немецком словаре. Ааль. Обитает в Балтийском море. В Швейцарии ааль не водится, не правда ли?

Помидор, фаршированный овечьим сыром. Это болгарское блюдо. Я изучала на курсах кухни народов мира. Какое популярное швейцарское блюдо? Фондю? Лазанья?

Нет, это во французской Швейцарии. Мы живем в немецкой, в моем регионе любят картофельный пудинг. Это я должна посмотреть в словаре...

Исключительная женщина. Какие красивые волосы. Если распустить, это целое богатство, наверное, ниже пояса.

А как он ел! Медленно, аккуратно, салфеточка на коленях, ножом-вилкой не гремит. Как будто его сама Эмилька учила. Не для утоления голода, а просто для красоты, ну, как на пианино люди играют или танцуют. Наши так не едят, хоть убей их. Но Лидия как раз умеет, всему у Эмильки научилась.

Закусочные тарелки унесла на кухню. По дороге завернула к вешалке, понюхала его пиджак, вдохнула, — и аж низ загорелся.

Пока она на кухне уху из кастрюльки в супницу переливала, Мартин все решал задачу: ничего у него не сходилось — угощение невиданное, он икру и не пробовал никогда в жизни, и в голову не приходило, сервировка царская, музейная, можно сказать, а квартирка-то нищенская, убожество. Загадочная женщина... А ноги? Как она ему ноги помыла! От нее многого можно ожидать... Он восемь лет ходил к одной польке, пока на Элизе не женился, и двести франков ей давал, так она даже бутылки минеральной воды ни разу не купила, он все приносил сам — и воду, и кофе, и печенье... Не зря говорят: загадочная русская душа.

Он не такой молодой потом оказался, хотя свеженький, полненький, лет ему уже сорок восемь было. Но лицо очень гладкое, совершенно без морщин, загар ровный. Только темечко лысое. В остальном же очень, очень приятный мужчина. Там, в Швейцарии, как выяснилось впоследствии, все такие, приятные, чистенькие, порядочные, — это Лидия уже потом узнала. В тот момент она только одно понимала: здесь таких не

бывает, и хоть сто лет ищи, здесь ей такого не достанется. Может, у артисток или у певиц такие мужчины, но она лично здесь таких не наблюдала ни у Эмильки в доме, ни в поликлинике, ни в педучилище, ни в университете марксизма-ленинизма. Нигде.

Рыбный, рыбный стол. Разве швейцарца мясом удивишь? Уха стерляжья с расстегаем... Но и не слишком. Кабачок — легкое овощное блюдо. Соус бешамель.

Если иметь такого партнера, как эта Лидия, то ресторан можно открывать хоть завтра. Не в центре Цюриха, конечно, но в каком-нибудь приятном месте, вроде Цолликон или Кильхберг... Лидия — приятное имя... Изящное имя. И фигурка изящная. Талия... Все-таки есть прелесть в небольших женщинах. Элиза, с ее ростом, шириной, никогда не выглядит изящной. Он поморщился.

Лидия встрепенулась: вы не любите овощи? Очень люблю. Особенно картофель. Знаете, я рос в деревне, и была война. Не думайте, что, если Швейцария не воевала, мы жили очень хорошо. Мы плохо жили во время войны. Еда была картофель и молоко. Здоровая еда. Но крестьянская, простая. И мало. Вы потрясающе готовите. Вы не работали в ресторане? Могли бы быть шефом.

Нет, я готовлю только для друзей. Я очень люблю угощать друзей. Вот, получай, немчура. В России люди ходят в гости, очень часто, угощают друг друга, пекут пироги.

У вас много друзей? Не очень. Я люблю все самое лучшее, поэтому у меня не очень много друзей. О да, качество имеет большое значение. Это основа всего — качество. Фирма, которую я представляю, существует шестьдесят лет, потому что производит краски очень хорошего качества.

Фирма принадлежала Элизе, и здесь был корень всех зол. Если бы фирма была просто чужая, ничья, хозяйская... Или если бы фирма принадлежала ему, Мартину... Но он был в таких крепких объятиях своей лакокрасочной супруги, что иногда просыпался от ужасного сна, будто влип в краску и не может из нее вытащить ноги, старается, рвется, а потом замечает, что ноги-то не его, а мушиные...

Разрешите? Она прикоснулась прохладной рукой к его предплечью, когда забирала тарелку. Кофе? Чай?

У него была такая мысль еще перед отъездом, что в Москве он непременно возьмет русскую проститутку. Но, оказалось, что таких учреждений, как, скажем, в Амстердаме, где однажды он взял себе очень интересную китаянку, здесь совсем нет, а с улицы женщину брать было страшно. Хотя они во множестве ходили по выставке, да и возле гостиницы «Москва», где он остановился, их тоже было немало. Но все они были как-то слишком молоды и вызывали подозрение, что с ними можно вляпаться в какую-нибудь скандальную историю. А об этом его еще в Цюрихе предупреждали. Лидия же была явно порядочная женщина, с икрой и со столовым серебром. Но все-таки, когда она прикоснулась голой рукой к его голому предплечью, он догадался, что может быть... И от одной этой мысли он сразу же завелся. Спросил, где туалет. Лидия его проводила. Все очень чистенько, но ужасное убожество... Зато икра... Ему пришлось немного подождать, прежде чем он смог помочиться. В общем, женщина эта его заинтересовала. Несомненно.

Раковина была на кухне. Он вошел туда. Лидия стояла к нему спиной, склонилась длинной шеей над плитой, где у нее варился кофе. Два маленьких колечка волос завивались на шее. А ноги у нее были просто прелесть какие, с тонкой щиколоткой, с балетным подъемом. Каблучок высокий... Он подождал, пока она выключит газ и снимет кофе, и положил ей левую руку на талию, а правой приблизил к себе. Она опустила лицо ему на плечо, и он понял, что сейчас все получится, и даже отлично получится, потому что с Элизой у него тоже все получалось, но кое-как, а тут было такое вдохновение...

Он трудился над Лидией до позднего вечера, он выполнил свою месячную норму. Он никогда не ощущал себя гигантом, но в этот день в нем что-то открылось гигантское из-за этой женщины с тонкой талией, необыкновенной женщины, загадочной, с черной икрой и без ванной, даже без душа, с серебряными приборами и небритыми подмышками, и такой

при этом образованной: по всем стенам висели дипломы в рамочках, по меньшей мере восемь, и с бабушкой Ка Эр , да еще готическим шрифтом... А телефона обыкновенного нет...

Да, да, швейцарские женщины, конечно, просто коровы... польки алчные... китаянки — продажные... а эта русская Лидия — настоящее чудо, просто загадочная русская душа... Откуда он это взял, кто это говорил: может, их великий писатель Лео Толстой или школьный учитель из Нидердорфа...

А потом, поздней ночью, они опять ели черную икру с маслом и калачом и пили шампанское — вполне приличное шампанское... Если она учительница, откуда у нее шампанское?.. И завтра, уже сегодня уезжать, а он даже не может сделать ей хороший подарок... Она, судя по всему, из очень порядочной семьи, может быть, из аристократов. Такая интересная внешность, и во всем виден человек со вкусом. И как при этом готовит! В России было много аристократов, это не Швейцария, у них и графы, и князья, и бароны... А может, наоборот, она секретный сотрудник из КГБ? Выслеживает его по заданию? Даже в яйцах от такой мысли похолодело. Нет, не может быть...

Лидия бесстрашно поехала провожать его в Шереметьево. Там было торжественно и сильно пахло заграницей. Они, конечно, обменялись адресами, но это был дым, дым мечты, и не имело значения. А значение имело только то, что Лидия побыла счастлива, как никогда в жизни, но уже понимала, что последние секундочки ее счастья отшлепывают, и потом никогда в жизни не встретит она этого Мартина, такого необыкновенного, таких вообще мужчин нет, у него даже пот не пахнет, просто как у ангела...

В самолете Мартин мгновенно заснул и проспал до самого Цюриха. А Лидия как села в автобус до аэровокзала, так и проплакала до самого дома, и в метро, и пока по переулкам до подъезда шла.

Дома Лидия умылась, вообще-то она была не плаксивая, доела икру — немного еще оставалось, все помыла, почистила, собрала посуду Эмилькину и серебро, завернула каждое в отдельную газетку, переложила жгутами бумажными, чтобы не

переколотилось. Приготовила сумку — завтра перед занятиями Эмильке завезти...

Как Мартин уехал, сразу навалилось много работы: два массажа прибавилось, директорша Дома пионеров заказала платье из мохера связать, то она все лето сидела в кабинете по внешкольному воспитанию да зевала, а теперь ребятишки стали к концу каникул собираться, каждый день заглядывали. Но главное дело был теперь немецкий язык и открытки. Лидия так решила: на новые курсы — раз и открытки с русской картиной-репродукцией или с видом природы — два.

Посылала еженедельно: открытку в конверт, красивую марку налепит, а на открытке несколько предложений, типа «Здесь представлен один из самых красивых видов нашей северной природы. Желаю Вам счастья, здоровья и успехов в работе. Лидия» или «Картина знаменитого русского художника Сурикова «Утро стрелецкой казни». Посвящено историческому событию, когда молодой царь Петр Первый разгромил заговор сестры Софьи. Желаю Вам счастья, здоровья и успехов в работе. Лидия». С одной стороны, культурно, с другой — ненавязчиво. Но о себе напоминает.

Открытки шли не на домашний адрес, а на какой-то бокс. И, по странной прихоти почтовых служб, Лидины открытки доходили адресату через две недели, а она получила от него первое письмо почти через два месяца. Вроде и уверена была, что получит, но и за чудо считала. То есть так: уверена была, что произойдет чудо и получит она письмо от Мартика. Так она его с первого дня про себя называла.

Лидия запомнила в подробностях весь тот день, то утро, когда достала из ящика этот белый, как обморок, конверт, с гористой местностью на марке, и черным тонким почерком написанным адресом, ну совершенно как в кино. Она сняла с руки кожаную перчатку, и голой рукой взяла конверт, и, хотя времени было только, чтоб не опоздать на работу, поднялась домой, сняла пальто, ботики и села за стол — читать письмо. Но первое, что из конверта вынулось, была фотография: Мартин в белых трусах до колен и в белой майке стоит возле заго-

родочки, а в руках у него теннисная ракетка. Ну просто сердце останавливается...

А какое там было письмо! Какое письмо! Обращение ровно в середине «Meine liebe Lidia!», поля — как будто невидимой полоской отчерчены. И каждое предложение с новой строки. И, что странно, хотя написано все очень четко, ни одного слова не разобрать. Все буквы как-то не так у него прописаны.

В общем, она письмо завернула, в большой пакет положила и побежала на работу, потому что в тот день с утра была краеведческая экскурсия на фабрику «Красный Октябрь» с шестиклассниками.

Вечером Эмилия Карловна сначала долго письмо крутила, изучала со всех сторон и посмотрела на Лидию с новым интересом: девчонку она, можно сказать, своими руками сделала. Снимала дачу в Подмосковье, году в пятьдесят восьмом, — Иван Савельич еще жив был, точно, в пятьдесят восьмом, — и племянница хозяйки, сирота Лидка откуда-то из Белоруссии, прислуживала там по хозяйству. Девчонка тихая, забитая, совершенно без всяких способностей — сначала так показалось Эмилии Карловне. А в последний день, перед отъездом, все-таки решила взять ее с собой. Предложила хозяйке, как звали... не помню, нет... Настя ее звали, та с охотой девочку отпустила. Ей шестнадцати еще не было. Паспорт она уже в Москве получала, Иван Савельич, отставной полковник, сделал через свой отдел кадров. Прописал же он ее вроде как на заводское общежитие. Но жила она у них, при кухне.

Теперь Эмилия уважительно держала это письмо и смотрела на Лидию как бы новыми глазами: молодец, молодец, девочка! Из никудышных обстоятельств, совсем из ничего, построила ведь очень неплохо: образование, своя квартира, даже внешность свою невыгодную облагородила, имеет стиль, в конце концов. Если откровенно говорить, родная дочь Лора не достигла такого положения, в относительном исчислении... Эмилии Карловне хотелось рассказать Лидии, что она бывала в Цюрихе до войны, с бабушкой, и в Женеву ее возили, и в Париж, но привычка никогда никому ничего о себе не рассказывать была слишком сильна. С сорок пятого года, как повстречала Ивана Савельича,

так и поняла, что главное в теперешней жизни — молчать. Очень, очень присох к ней Иван, но ведь и ему, капитану НКВД, не рассказала Эмилия о себе ничегошеньки. Так, девочка из бедной латышской семьи, папа — квалифицированный рабочий был. О, у нас в Латвии всегда ценили профессионалов. Он был слесарь-инструментальщик, первый класс! Иван, сам из рабочих, это уважал... А что папу убили партизаны, когда он служил у немцев начальником латвийской зондеркоманды, осуществлял программу «юденфрай» с большим вдохновением, так этого ему не говорила...

И Лидка — тоже молчунья. Знала, да не говорила. Тоже свой секрет содержала в молчании. Отец ее был арестован после освобождения Белоруссии Красной Армией и расстрелян в сорок четвертом за какие-то грехи против советской власти. Лидия не то забыла, не то ничего и не знала. Одиннадцать детей после него осталось да выгоревшая изба. Из одиннадцати трое выжили. И видеть друг друга не хотели, разъехались, развеялись. Говорили, старший брат военным стал, а сестра где-то не то в Нальчике, не то в Пятигорске жила. Все — забыто навсегда. И у Эмилии, и у Лидии.

Но Эмилия — почти красавица была, рост, грудь за пазухой пузырем, надо лбом — валик из крашеных волос, и зад как груша... как две груши. Иван Савельич на квартире у нее стоял, пока ему государственную не предоставили. А на государственную он уже с Эмилией переехал. И Лору, Эмилькину дочь, принял, а потом и фамилию дал.

Все старое, бумажное: фотографии, справочки всякие, дипломы, письма — сгорело ясным пламенем в больших и малых пожарах, случайных и умышленных, только серебро и посуда хорошая остались от старых времен — против них Иван Савельич не возражал. Быстро пообвык, от алюминиевой миски к серебряной переход легок, обратно потрудней получается. Но ему не пришлось. Его до самой смерти Эмилька ублажала, не потому что сильно любила, а потому что была порядочная. И Лидию приучила. А вот с Лорой не совсем получилось...

Письмо было явно от порядочного человека, это несомненно. Он благодарил Лидию за исключительный прием, при-

знавался, что никогда еще не общался с такой культурной женщиной, намекал также на ее несравненные дамские достоинства, а потом сообщал, что не смог ей сразу открыть глаза на свое женатое состояние, потому что поначалу ему это казалось совершенно несущественным, а потом уж он не посмел ее огорчить. Он и предположить не мог, что после возвращения в Швейцарию он постоянно о ней будет думать, и она настолько занимает его мысли, что отношения его с женой совсем разладились. И теперь он думает о своем будущем, потому что надо принимать новые решения, и это очень трудно, так что голова его кругом идет...

После прочтения письма Эмилией Лидия тоже смогла разобрать написанное. Он и «р», и «н», и «к» писал странно, «и» походило на «т», но с привычки можно было и разобрать. После всего Лидия ударила козырем — показала фотографию. Эмилия долго ее разглядывала, а потом поставила диагноз:

— Лидия, имей в виду, это очень серьезно. Надо работать, но без большой надежды на успех. Оч-чень непростое дело...

«А Лора моя дура, дура, — раздраженно подумала Эмилия Карловна, — при всех ее данных этот жалкий еврей Женя...» И сказала: ответ напиши по-русски, я тебе переведу, чтоб прилично выглядело.

Лидия писала трое суток. Письмо поразило Эмилию: оно было мало сказать прилично, оно было изящно!

Но еще более письмо поразило жену Мартина, которая нашла в ящике мужнего стола, где искала копию затерявшейся квитанции, стопку из двенадцати художественных открыток и это самое изящное письмо, из которого следовало, что Мартин завел себе в России женщину, о чем Элиза по некоторым признакам и сама догадывалась. И тогда разразился семейный скандал — по факту происшедшего. Мартин, который, может, и перетерпел бы свое любовное приключение, и оно само собой обратилось бы в один из эпизодов его, в общем-то, скромной сексуальной биографии, и улеглась бы Лидия в ряд, где прежде была полька, потом разовая китаянка, а потом она, разовая русская, но Элиза разожгла семейный скандал и нехорошо упрекнула Мартина в его мужской и всяческой никчемности, в

то время как он теперь твердо знал, что способен на большие подвиги, если к нему дама относится с восхищением и в тазик с прохладной водой окунает натруженные ноги... И, замирая от неведомого, словно напрокат взятого мужества, он сказал Элизе с тихим достоинством, что, да, он полюбил русскую женщину и готов был подавить в себе это чувство, но ежели она, Элиза, желает теперь развода, то он, Мартин, тоже не возражает.

Высовывая из отвратительной крокодиловой сумочки край стопки открыток с разоблачительными русскими видами и конвертик с изящным Лидиным письмом, Элиза многозначительно подняла бровь и сказала что-то неопределенное про адвоката. Да Мартин и без адвоката прекрасно знал, что двенадцать лет работы на лакокрасочное дело будут у нее просто украдены, а что он поднял дело, расплатился с долгами, которые висели над фирмой после раздела Элизы с братом, — не зачтется ни в копейку, все труды его прахом пойдут. Может, только часть суммы за дом ему достанется, да и то неизвестно, как Элиза письмом распорядится... В тот же вечер Мартин написал Лидии внеплановое письмо, в котором сообщил, что приедет в Россию на Рождество, и второе письмо — адвокату, где просил назначить ему время встречи.

Бракоразводный процесс, совместно с имущественным разделом, занял больше года, но закончился непредвиденно выгодным для Мартина образом. Он не был совладельцем, но и жалования ему Элиза не положила, и теперь ее обязали выплатить Мартину компенсацию, и притом весьма значительную, за двенадцатилетние его труды.

За два с половиной года, предшествующие заключению нового брака, Мартин видел Лидию ровно шесть дней, в два приема. Убедился, что Лидия живой клад: массаж, забота, питание, секс — качество первый класс.

Они с Лидией совместно решили ограничить встречи во имя исполнения великого замысла. Мартин свирепо копил деньги: после развода Элиза неожиданно предложила ему остаться на работе наемным служащим. Мартин, хорошо подумав, согласился. Работал он теперь за очень приличную зарпла-

ту. Компенсация, да к этому еще прибавить столько же, — и после заключения нового брака можно открыть маленький ресторан...

Лидия, со своей стороны, целеустремленно готовилась к новой жизни: загадочно улыбаясь, подала заявление об уходе и круто поменяла культурную сферу на общепит — нанялась в ресторан при гостинице «Центральная» помощником повара. Там была русская кухня. Но, как Лидия вскоре обнаружила, примитивненькая... Да что иностранцы заказывают? Блины с икрой, борщ, водка — без больших премудростей. А может, и не надо премудростей? Кроме того, Лидия разглядела всякие тонкости по организации производства. Месяца через три она совершенно убедилась в том, что больше ей в «Центральной» делать нечего, все, что можно там узнать, она уже ухватила. Прорисовалась новая задача: заработать денег побольше и купить себе приданое, чтобы приехать в город Цюрих не бедной замухрышкой, а настоящей русской дамой.

Шубу надо было купить каракулевую, как у Эмильки, серую, кольцо с диамантом и серьги. Еще для будущего ресторана хотела Лидия закупить хохломской посуды, в золотых и красных цветах — поди плохо? Вопрос только, как вывозить... Видов северной природы она Мартину больше не посылала, отправила набор открыток с хохломскими утицами и ложками — он ее вкус одобрил.

Но сказка сказывается скоро, и настал день, когда Лидия собрала два чемодана со всем хорошим, чего в Швейцарии носить будет не стыдно (ошиблась — только то и пригодилось, что Мартин ей привозил, а свое все на тряпки, на тряпки потом пошло...), и купила билет на поезд. Из экономии. И отбыла Лидия с Белорусского вокзала в город с журливым и шелестящим именем «Цю-юрихь», где полны подземелья золота, где жил Ленин, сидел там на набережной реки Лиммат, в кафе Одеон, кушал штрудель и осыпал сладкие крошки на том Маркса... При слове «Цю-юрихь» во рту делалось сладко...

В купе Лидия сидела с прямой спиной, запрокинув голову назад, в сторону тяжелого пучка, механически подправляла пальцем кончик носа — обычно, когда она, откусывая кусок,

 широко рот раскрывала, на кончике носа губная помада отпечатывалась, и она время от времени это дело контролировала. За окном мелькала родная русская природа, и Лидия, за последние два с половиной года измечтавшаяся об этом часе, когда поезд тронется, вдруг расчувствовалась и вспомнила про белые березки — за окном пока простирался исключительно сорный кустарник и пригородные свалки, — и вроде как бы затосковала по Родине, хотя чего тосковать-то, вот она тут вся, миллион николаев в кирзе, миллион теток вроде тети Насти, ведь ни разу и не справилась, как там племянница в городе, жива ли, померла... Один родной человек, Эмилия Карловна. Она одна и понимала Лидию. Само собой. Зельбстфершендиг.

Две пожилые торговые польки, соседки по купе, что-то у нее спрашивали на средне-славянском языке, а у Лидии такая на душе была смута, что она сказала им, сама от себя не ожидая, очень уверенно: Ентшульдиген битте, ихь ферштее нихьт... И польки сразу же поняли, что ошиблись, приняли немку за русскую, хотя видно же, что немка, костюм джерси буржуазного качества и кольца на пальцах...

Ах, Мартик, Мартик! Вот уж кто был наградой в жизни, особенно после двух пересадок! Встретил на вокзале в Цюрихе, в темно-зеленом пальто волосатеньком, в такой же волосатенькой шляпке, поле коротенькое, сзади приподнято, и перышко пестренькое сбоку. Ну прелесть просто. И одеколоном пахнет, и сам чемоданы не хватает, как русский мужик, а носильщику машет, и Лидию целует, и под руку ведет... А кругом такая заграница, что даже в кино такого не показывают. Например, был фильм про Рим, Лидия его хорошо помнит, так там грязь, свалка, развалины, недалеко от нашего ушли, и едят еду бедную, как у нас, те же макароны, и еще в кино показывают. Понятно, почему они настоящую заграницу не показывают, не зря Лидия в университет марксизма-ленинизма два года ходила, где голову всем дурили...

Первый год в Цюрихе был самый счастливый. Капиталу пока немного не хватало на аренду подходящего помещения для ресторана, потому жили прижимисто, снимали студию, не квартиру, так, малехонькое жилье, а платили за него... Не ожи-

дала Лидия, что все так дорого в богатой Швейцарии, уж на что она была ловкая, хорошо умела приспособиться, но туговато приходилось. Мартин расходы все сам проверял, он в бухгалтерии понимал. Лидия сразу же хотела на работу устроиться, но он поначалу не разрешал, однако потом согласился. Дипломы все свои Лидия на немецкий язык перевела, и взяли ее в маникюрши. Мартин удивлялся даже, как у нее хорошо дело пошло. К концу года оформили аренду, чудесное место для ресторана, там раньше была кантина какая-то, это тоже было хорошо, ведь когда народ привыкает, что в этом месте кормят, то по старой памяти идут.

Мартин выписал свою кузину из деревни, простая такая женщина, практически она и была деревенская, хотя одета по-городскому. Но не особенно. Лидия уже начала понимать кое-что, даже, может, побольше, чем Эмилия Карловна, в каких магазинах покупают люди победнее, в каких — побогаче. И Мартин очень это понимал, потому что жена его Элиза была из богатых и его приучила. Теперь Лидия знала, что заграничное заграничному рознь. Было, конечно, кое-что непонятное в деталях, почему, например, английский магазин еще дороже швейцарского, по качеству — не различишь, хоть на зуб пробуй. Или французское — красота есть, но опасная, с качеством не очень. Про итальянское и говорить нечего.

Перед открытием ресторана Мартин объявление дал, разослал знакомым приглашения, по всему району листки развесил: ресторан «Русский дом» приглашает на русский ужин. Одного официанта русского наняли, чудной немного, перемещенный, не совсем русский, но слово «борщ» хорошо выговаривал. Второго, местного парня, на один раз взяли.

Первый вечер ресторанный прошел очень хорошо. Это был последний счастливый день в жизни Лидии. Наутро все кончилось. Мартин в шесть, как они обыкновенно поднимались, не проснулся. Спал и спал. Лидия сначала не хотела его будить — устал, пусть выспится. В десять стала его будить, а он не просыпается. Лежит на боку, и одна рука неловко так расположилась. Лидия тронула — а она холодная. Дышать-то он дышит, но в себя не приходит, и тяжелый очень. Вызвали

врача и увезли сразу в больницу. Инсульт. Все. Она сразу же посчитала: длилась ее счастливая жизнь один год двадцать один день. От приезда до удара. А дальше — страшный сон.

Одно только хорошо — все больницы у них, как у нас Кремлевка. Сестры все сами делают: и пеленки меняют, и кормят. Даже ночное дежурство у них бесплатное. Когда Иван Савельич в больнице лежал — у него было раковое заболевание, — так они втроем с Эмилькой и Лорой с ног сбивались. И Лидия понимала, как ей повезло с этой Швейцарией. Сначала через уколы растворы питательные вливали, потом стали сестрички кормить. Три месяца он ни туда ни сюда, непонятно даже, узнает Лидию или нет. Другой раз вроде узнает, а другой — нет... Ходить не может. Но в кресло его пересадили. Лидия по утрам его навещает, двумя автобусами, три с половиной часа занимает. А ресторан-то на ходу. И закупить, и приготовить — когда? Записалась в автошколу. Машина есть, а прав у Лидии нет. Дура, дурища, — ругала себя Лидия, — столько всего лишнего изучила, а водить не научилась. Занятия на курсах три месяца идут, да по четыре часа три раза в неделю. Каторга, а не жизнь. Спала по хорошим дням часов по пять, по плохим и трех не набиралось. Мартина жалко, да только жалеть некогда. Он как ребенок маленький, пух на затылочке слежался, уж Лидия, как забрала домой, вылизала его, массаж стала делать ежедневно, по часу. Врачи говорили, что не восстановится, но ножка левая, пораженная, потихоньку стала укрепляться. Еще месяца три прошло, и он уже стоял на ногах, за спинку кресла держался и стоял.

А ресторанное дело шло хорошо, Лидия его не бросала. Пришлось, конечно, сделать упрощения, вроде наших комплексных обедов. Но жизнь в Швейцарии оказалась ох трудна. За все — плати. Электричество, вода, бензин, мусороуборка, а налоги вообще отдельная песня. Пришлось опять на курсы идти, задаром никто ни слова тебе не скажет. Народ швейцарский сначала Лидии очень понравился за вежливость и за чистоту. Но — себе на уме. Раньше, на Родине, Лидия сама себе казалась очень умной. А здесь все оказались такие же умные, наперед все просчитывают.

Русский ресторан швейцарцам пришелся по вкусу именно потому, что они быстро сообразили, что за те деньги, которые в нем оставляют, питание получают очень качественное. И если б Лидия была не одна, она бы уже через год расширила помещение, там веранду можно было летнюю освоить. Да и, с другой стороны, она бы не побоялась и побольше помещение арендовать. Если бы Мартин был человек, а не инвалид окончательный.

Но ни горевать, ни размышлять времени не было, потому что дел невпроворот: утром умыть Мартика, потом массажик, потом на горшок, потом покормить его. Раз в два дня за овощами к фрау Темке на ферму, раз в два дня к мясникам. Рыбу привозили домой, а за бакалеей она ездила к оптовикам, но это раз в две недели. Готовила она одна. Конечно, все было продумано, холодильник пришлось промышленный купить, многое замораживала, хотя никому бы не призналась. У них вообще-то не принято было продукты морозить. Фарши для блинчиков — раз в неделю готовила, и в заморозку. Ну, рыбу, конечно, нет, вкус сильно теряет. Если честно признаться, швейцарцы в кулинарии не очень и понимали. Ценили, что порции были большие.

Лидия весь год тряслась от страха, что не сведет концы с концами, но в конце года оказалось, что свелись концы хорошо, и еще привесок образовался. Его Лидия поместила в банк на свое имя. Вот тут-то она и поняла смысл швейцарской жизни. Если бы Мартик был здоров, она б, может, этого и не поняла в дыму брачного счастья. Но поскольку оно кончилось, то Лидии открылось, что счастье выражается здесь цифрами. Больше цифра — больше счастье. Не одними голыми цифрами, а с большими тонкостями: должны еще быть люди, которые бы оценивали твой успех, догадывались бы о твоем уме и таланте по неприметным признакам. Забор два раза в год красила... Новые цветы на террасе посадила... Занавески английские повесила... Кто понимает... Туфли Балли, пальто Лоден. Эмилии Карловны нет, поглядела бы.

Деревенскую сестру Мартика Лидия прогнала, только под ногами путается, а в жизни, хоть швейцарка коренная, ноль

понятия. Вместо нее наняла других помощников, югославку толковую, тоже за швейцарцем замужем. Еще одну помощницу наняла: хромую, очень некрасивую женщину, но быструю и дельную. Ей Лидия и у плиты кое-чего несложное доверяла. Тоже потом оказалось, что она не настоящая швейцарка, а из евреев. Еще один официант был итальянцем. Но это дело известное, что итальянцы все — прирожденные официанты: приветливые, улыбаются и шутят. Но вороваты. Впрочем, у Лидии не украдешь, хорошо следила. Репутация — нешуточное дело, ее и за деньги не купишь. Она как зернышко — посадил в горшок, поливай, удобряй, оно растет. Год, другой, третий... Год, другой, третий...

Мартик похудел, обветшал, стал старичком. Зато Лидия, в России еле-еле сходившая за дурнушку, здесь считалась интересной дамой, ее даже за француженку иногда принимали. Она заново научила мужа ходить, он теперь ковылял с палочкой по дому, гулял в их садике. Лидия купила ему породистую собачку, серого карликового пуделя, назвала его Милок. Содержание Милка обходилось в копеечку — то прививки, то ветеринар. Но оказалось, что и здесь Лидия не прогадала. Швейцарцы животных любили, приходили ужинать семейные пары, детишки с Милком играли и потом просили родителей снова с русской собачкой поиграть. Хорошая клиентура. А Мартика дети звали «собачкин дедушка».

Когда жизнь с русским рестораном и мужем-инвалидом совершенно наладилась и вошла в колею, Лидия, по старой памяти, снова пошла на курсы. Два года занималась французским, освоила, разумеется. Подумывала об английском... Хотела бы заниматься горнолыжным спортом, но оставлять на несколько дней ресторан, Мартика и Милка было немыслимо. Хотя теперь она уже не стояла у плиты, а были у нее два повара, которых она сама всему обучила. Два раза в неделю ходила в бассейн, иногда в женский клуб, где были встречи с другими деловыми женщинами. Сходила она к деловым женщинам раз, другой и поняла, что лично ей не хватает в жизни признания. Все эти женщины тоже ходили в обуви от Балли, носили норковые шубы и часы Ориент, и Лидии было даже обидно, что

для них это обыденная жизнь, и не могла же она им объяснить, что все они глупые домашние куры, а она, Лидия, птица высокого полета, потому что они-то родились в Швейцарии, в куске сливочного масла, а она, Лидия, в избе с земляным полом и соломенной крышей, до пятнадцати лет ходила либо в валенках, либо босиком, а штаны первые завела уже в Москве, когда, по большому везению, попала в прислуги к хорошей барыне, а до того ходила без порток, как все белорусские крестьянки... Возникла какая-то досада. И старая, придавленная и недодуманная мечта, как зародыш болезни, стала развиваться, и оформляться, и приобретать определенные черты, и Лидия в деловой книжечке в последнем, для души предназначенном разделе, куда деловые женщины вносили даты встреч с любовниками, гинекологами или врачами-косметологами, завела списочек, в который вносила, что именно и в каком количестве надо ей купить для поездки в Москву. Там жил единственный в мире человек, который мог оценить ее, Лидии, великий взлет...

Как и все свои предприятия, Лидия сначала все основательно обдумывала. Связей с Москвой у нее никаких не сохранилось: Эмилия Карловна при прощании сказала ей, что желает всех благ, но просит писем не писать и по телефону не звонить. К этому времени уже начались первые неприятности у Лоры, потому что ее муж Женя что-то подписывал, болтал направо-налево и навлекал на семью неминуемые неприятности. Лора же смотрела ему в рот, своей головы не имела, а к материнским советам не прислушивалась. Эмилия Карловна советскую власть ненавидела, но чувства свои упрятала на дно декретом отмененной души, зато страстно презирала дурака Женьку, который болтал как глупый попугай... Приятельницы Лидии из Дома пионеров и из других мест, где приходилось ей учиться и работать, не стоили даже расходов на почтовые марки. Только одна была доверенная подружка, соседка Варя, с которой первое время Лидия поддерживала какую-то хилую связь, но после несчастья с Мартиком перестала ей писать. Чего писать-то?

Теперь Лидия написала Варе, попросила ее позвонить Эмильке и узнать, как та поживает. Варя просьбу выполнила, Эмильке позвонила и сообщила Лидии, что те живут по-прежнему, все на старом месте...

Лидия купила хорошую дорожную сумку — до тех пор она никуда не путешествовала и сумок не заводила. И начала по списку покупать Эмильке подарки. Решила, что оденет ее с ног до головы. Во все самое лучшее. Полный комплект, как новорожденным... Свободное время Лидия проводила теперь в магазинах. После Рождества, когда начались большие распродажи, она завершила свою закупочную кампанию, которая заняла у нее почти полгода. Сумка приняла в свои клетчатые недра первосортного товара на три тысячи швейцарских франков без самого малого. Белье, чулки-колготки. Босоножки, туфли, сапоги. Костюм джерси-шерсть и костюм шелковый, жакет, шляпа, шарф. Сумка, перчатки. Все — в гамме. Потому что у Лидии — вкус. Эмилька научила.

А еще в дамской сумочке лежали золотые часы марки Ориент в футляре, который сам по себе представлял произведение швейцарского искусства.

Затем Лидия купила себе трехдневный индивидуальный тур в столицу нашей Родины Москву с пребыванием в гостинице «Москва».

Прошло больше десяти лет с тех пор, как Лидия в первый раз провожала Мартина в Цюрих, после памятного и судьбоносного обеда с мытьем ног и черной икрой. Шереметьево не изменилось. Лидка-гусыня прекрасным лебедем не стала, но и от нее прежней тоже ничего не осталось. Она была гражданка Швейцарии, фрау Гропиус в скромном с виду пальто из плащевой материи с нежной подкладкой из меха кенгуру. Носильщик нес за ней ее небольшой чемодан и дорожную сумку, а встречала ее переводчица из Интуриста, мелкий лейтенант из КГБ, с казенной улыбкой и листом бумаги с ее, Лидиной, фамилией. Такси довезло их до Манежной площади. Лидию по дороге тошнило — от волнения. Переводчица говорила с ней на дурном немецком языке, Лидия своего русского не открывала. Зачем? Поужинала в ресторане на

втором этаже. Салат столичный и студень. Попробовала и отложила вилку. Тошнило.

Следующий день ее возили по городу, показали Бородинскую панораму и Университет на Ленинских горах. Обедала в ресторане «Центральный». Русская кухня. Метрдотель был все тот же. Не узнал, конечно. Вечером — Большой театр. «Лебединое озеро». Сидела в третьем ряду, в фиолетовом шелковом костюме, с бриллиантовой брошкой в виде стрелы. Рядом сидели американцы. Одна из американок была в бигуди и в нейлоновом колпаке поверх накруток. Они собирались после театра в ресторан. Видимо, кудри ей были нужны к ужину. Балет был шикарный. В Цюрихе они с Мартиком по театрам не расхаживали. Вот в Москве в свое время она часто билеты доставала — и на Таганку, и на Бронную...

На другой день, в воскресенье, она сказала переводчице, что у нее болит голова и она программу сегодняшнюю отменяет. Та предложила прислать врача, но Лидия отказалась. Хотя голова действительно болела и снова тошнило. В два часа дня, взяв сумку, она вышла из гостиницы. Ехать в такси было пять минут — жила Эмилька на Маяковке. Вышла у серого кирпичного дома на Второй Тверской Ямской. Углом, странно поставленный дом, для главного ведомства страны после войны построенный. Иван Савельич незадолго до выхода на пенсию получил здесь двухкомнатную квартиру. Поднялась на четвертый этаж. Вспомнила, как тридцать, что ли, лет назад в первый раз в эти хоромы входила. Газ. Электричество. Колонка с горячей водой. Ванная и уборная — все в первый раз тогда увидела.

Звонок все тот же, белая кнопочка на черном деревянном кружке. Нажала. И звонит тем же голосом. Открыли, не спросив. Лора. Вы к кому? К вам. К Эмилии Карловне. Я — Лидия. Лора, не узнаешь?

— Лида! Лидочка! Тебя просто Бог послал! — обрадовалась Лора.

В те годы каждый иностранец был большой ценностью: через него можно было и письмо переправить, и документы. Казенная почта вся просвечивалась. Но Лидия отметила с раздра-

 жением: ишь, как из Цюриха с сумкой, так Лидочка. А в прежние годы рожу корчила. Вот потому в сумке ничего и не было для Лоры предназначенного.

Далее Лидия вдохнула родной запах старой квартиры и сняла ботиночки. Можно с ума сойти: в калошнице стояла обувь, которую Лидия знала наизусть. Коричневые домашние туфли «для гостей» и две пары детских — следы профессиональной деятельности.

— Детки все еще ходят? — спросила Лидия с улыбкой.

Лора махнула рукой:

— Да какие детки...

И Лидия вошла в большую комнату, где когда-то собирался частный детский сад, и стоял длинный стол, и шесть стульев, и пианино, на котором Эмилия Карловна небойко играла польку и вальс, а дети танцевали, и маленький столик у большого дивана, покрытого ковром ручного тканья... А в эркере, спиной к двери, стояло инвалидное кресло на колесах, нескладное, больничное, крашеное белым по железу, и над спинкой возвышалась пегая пышная голова а ля Помпадур. Лора вошла в эркер, развернула кресло и вывезла на свет божий Эмилию Карловну.

Она была так похожа на Мартина, как будто была ему сестрой, матерью или бабушкой. Чудесная белоснежно-дряблая кожа, маленький подбородок, из-под которого, как жабо, вылезал второй, жидкий и почти прозрачный, бледно-голубые глаза в круговых складках нежной кожи, и извиняющаяся улыбка, съехавшая на один бок... Только у Мартина нос был короткий, с выпуклыми ноздрями, а у Эмилии Карловны длинный, в конце заостренный и с горбинкой...

— Мама, посмотри, кто пришел! Лидия пришла! Помнишь Лидию?

В правой руке у Эмилии Карловны была зажата колода карт, и она одной рукой их не то перебирала, не то просто щупала. Забыла, совсем забыла Лидия, что больше всего на свете старая ее хозяйка любила раскладывать пасьянсы. Да карты же надо было купить! Как это я забыла, мелькнуло сначала у Лидии...

— Эмилия Карловна, это я, Лидия. Узнаете?

Эмилия Карловна улыбалась Мартиковой деликатной улыбкой, и круглая бусина слюны собиралась в углу рта.

— Давно? — спросила Лидия.

— Почти год, — тихо ответила Лора. — Кошмар. Мы документы на выезд подали на всех, а как ее везти, непонятно. Я как тебя увидела, так сразу и подумала — вот кто помочь-то сможет. Мы ведь через Вену летим, от вас недалеко. И там неизвестно сколько ждать. Если бы ты нас встретила... Или хотя бы письмо через тебя послать в Сохнут, чтобы они нас встречали с коляской... Я уверена, что разрешение вот-вот придет. Есть такие приметы... Понимаешь, мой муж, Женя, он в Америку ни в какую, ему только Израиль подавай... Я бы лучше в Америку...

Лидия молчала, вживаясь в ситуацию. А Лора трещала не замолкая и все время крутила пальцы, слегка их поламывая.

— Мам, мам, — время от времени вспоминала Лора о цели Лидиного визита, тормошила Эмилию Карловну за плечо, — посмотри, кто пришел, мам... Лидия пришла. Узнаешь Лидию? Понимаешь, мы бы давно подали, но мама в Израиль ехать отказывалась, очень, очень против была... А Женя — только в Израиль. Многие наши друзья Америку даже предпочитают. А мама, ты, может, не знаешь, при всех ее достоинствах немного антисемитка. И в Израиль — уперлась — нет и нет. А уж когда она заболела, мы подали. Ей теперь не все равно? Правда? А ты когда уезжаешь, Лид?

И Лора пошла ставить чайник, а Лидия села рядом с Эмилькой и взяла ее за руку:

— Эмилия Карловна, как я рада вас видеть... Вы все красавица... Чувствуете-то ничего? А у Мартика моего тоже ведь инсульт, семь лет уже. Но он сейчас получше, ходит. Раньше тоже все в кресле сидел. А теперь ходит, и собачку я ему купила...

Эмилия Карловна как будто слушала и как будто понимала. Потом пришла Лора с чайным подносом. Сахарница, молочник, чашки розовые — все было родное. И печенье было то самое: два желтка стереть с полстакана сахара, сто граммов шоколадно-

го масла... Научилась Лора. Раньше не умела. Эмилия зашевелила пальцами и открыла рот. Раздалось что-то вроде «уать».

— Сейчас, мамочка, — и Лора сунула в подвижную, правую руку половинку печенья.

Эмилия запихнула его в рот и счастливо зажевала.

— Вот такие дела, понимаешь, весь бы день ела и ела. Злится, если не даю. А потом с желудком проблемы. За год без клизмы ни разу...

Лидия раскрыла сумочку и вынула из нее плитку шоколада, предназначенную горничной. И, подумав, достала только что начатый небольшой флакон духов — Шанель номер пять. Свой собственный...

— Это, Лора, тебе сувениры.

Эмилия Карловна ела печенье одно за другим, напрочь забыв о деликатной науке поглощения пищи, которую преподавала годами своим воспитанникам. Она засовывала печенье глубоко в рот, проталкивая его обломанными ногтями, и крошки падали на грязный воротничок, на протершуюся грудь старой кофты, и у Лидии ломило затылок и тошнило ее по-настоящему. Она не знала еще, что это был первый признак надвигающейся гипертонии.

— Я пойду, Лора. Завтра утром позвоню, перед отъездом я вас еще увижу.

— Да посиди, скоро Женя придет, — искренне просила Лора, но Лидия страстно хотела поскорее унести отсюда ноги, быстро переночевать и уехать навсегда-навсегда.

Обула ботиночки, надела плащевое пальто на австралийском, спрятанном от посторонних взглядов звере, и с усилием подняла клетчатую сумку:

— Мне еще надо в одно место заехать, вот отвезти просили друзья...

Квитанции все были одна к одной, на всякий случай, по привычке делового человека в верхнем ящике письменного стола дома сложены, в отдельном конверте.

Сдать обратно можно. Всегда есть смысл в дорогих магазинах покупать — и сдать, и обменять можно, тем более, когда тебя уже знают.

Такси она просила переводчицу заказать на более ранний час, чем следовало бы. Переводчица просто лишилась дара речи, когда Лидия сказала шоферу на чистом русском языке:

— По дороге в Шереметьево мне надо заехать на Спартаковскую улицу, я покажу вам, где поворачивать.

Заехали на Спартаковскую. Дом стоял как стоял, четырехэтажный король-корабль среди одноэтажных дровяных бараков. Трущоба трущобой. Она улыбнулась, представив себе, что испытал Мартин, когда первый раз вошел в ее убогую квартиренку. Сначала она думала подняться на третий этаж, позвонить в свою дверь, попросить, чтобы ей показали, как сейчас выглядит ее прежнее жилье. А потом подумала: зачем?

И велела ехать в Шереметьево. Чемодан и клетчатую сумку сдала в багаж. Об обещанном Лоре звонке и не вспомнила.

Всю дорогу в самолете она умирала от нетерпения: скорей бы попасть домой, поцеловать Мартика в опустившийся уголок рта. Он был получше, гораздо получше, чем Эмилька. Он все же ходил, улыбался более внятно и говорил некоторое количество слов вполне осмысленно. Да и вообще — как там три дня без нее дела двигались...

Голова все болела и тошнота не проходила. Она прошептала почти про себя, но все-таки немного вслух: Цю-юрихь... Цю-юрихь... И задремала с мыслью: а все же я самая умная...

Орловы-Соколовы

С первого взгляда они как-то не читались, оба малорослые, не особенной внешности, занятые друг другом до полной замкнутости. Зато со второго взгляда открывалось, что они-то и есть самые главные. После второго взгляда даже было невозможно вернуться к первому и вспомнить, какое же они тогда производили впечатление. К тому же никто на факультете не помнил того времени, когда они еще не были вместе. Познакомились они еще на вступительных экзаменах, хотя сдавали в разных потоках. Зато, когда сдали экзамены, еще до окончательного объявления о зачислении, пока все абитуриенты считали баллы и полубаллы, они уехали вдвоем к нему на дачу и вернулись ровно двадцать первого июля, прямо к этой чертовой доске, возле которой трепетали все, кроме троих. Третьим лицом была незначительная зубрила Тоня Колосова, племянница декана, о чем узнали впоследствии. Излишне говорить, что остальные двое были они, Андрей Орлов и Таня Соколова.

Их имена шли им удивительно, да и между собой они так быстро слепились, что очень скоро их стали звать Орловы-Соколовы.

За те пять дней, что они провели на даче, вылезая из постели, только чтобы сходить в поселковый магазинчик за вином и незамысловатой едой, они выяснили, что по пальцам можно пересчитать то, в чем они были несхожи: Таня слушала классику, Андрей любил джаз, он любил Маяковского, а она его терпеть не могла. И последнее, пожалуй,

совсем смехотворное: он был сластена, а для нее лучшим лакомством был соленый огурец.

Во всех прочих пунктах обнаружилось полное совпадение: оба полукровки, евреи по материнской линии, обе матери — смешная деталь — врачи. Правда, Танина мать, Галина Ефимовна, растила ее в одиночку и жили они довольно бедно, в то время как семья Андрея была вполне процветающая, но это компенсировалось тем, что на месте отсутствующего отца наличествовал отчим, отношения с которым были натянутыми. Поэтому семейное благосостояние и весьма обильные по тем временам материальные блага, через мать на Андрея изливавшиеся, унижали Андреево мужское, рано проснувшееся достоинство. С пятнадцати лет мальчик из профессорской семьи подфарцовывал на «плешке» и зарабатывал криминальные карманные деньги на женских часах типа «крабы» и американских джинсах, только-только начавших свое триумфальное шествие от Бреста до Владивостока.

В этой точке Андреевой исповеди Таня зашлась от смеха:

— Труд и капитал!

Ее бизнес лежал в смежной области, — в то самое время, пока он сбывал джинсы, она производила самостроковые рубашки типа «button down», пришивала к ним «лейбела», и, теоретически рассуждая, те самые молодые люди, которые уже доросли до джинсового уровня, должны были с неизбежностью столкнуться с проблемой «правильной» рубашки с пуговками о четырех — а не на двух! — дырочках на воротнике и петелькой на спинке.

Шила их Таня в три размера, без примерки. Если не отрываясь работала с утра до вечера — обычно это происходило по воскресеньям, — то успевала «состроkать» четыре штуки. Четырежды пять — двадцать. С пятнадцати лет денег у матери не брала, перешла на самообслуживание.

А спорт? Да, спорт, конечно. Оба занимались. Андрей боксом, Таня гимнастикой. И оба бросили в одно и то же время, когда надо было решаться на профессиональную карьеру. Андрей успел получить первый разряд, стал кандидатом в мастера, вошел в сборную Москвы для юниоров, в мушином

весе. Таня бросила чуть раньше, на подходе к первому разряду. Ей хватило.

В начале четвертого дня — или ночи — их совместной жизни они признались друг другу, что всегда предпочитали рослых партнеров: рост у обоих был никудышный, безнадежно левофланговый.

— Значит, я не в твоем вкусе? — хмыкнула Таня.

— Нет, не в моем. Мне всегда ужасные дрыны нравились...

— Да и мне тоже. И ты не в моем вкусе, — хохотала Таня.

В этой точке обнаружилась их прямолинейная простота, с перебором даже. Можно было подумать, что оба они прошли огонь, и воду, и медные трубы. На самом деле кое-что было, но в ограниченном количестве, скорее даже обозначено... Однако все-таки опыта человеческого у них было достаточно, чтобы оценить те высокой пробы совпадения, какие бывают лишь у близнецов: все вдохи, выдохи, взлеты и падения, движения сквозь сон и минута пробуждения... Просыпались ночью и шли к холодильнику, — даже голод нападал в одно и то же время. И они вцепились друг в друга, слились воедино, как две капли ртути, и даже лучше, — потому что полное соединение убило бы ту прекрасную разность потенциалов, которая и давала эти звонкие разряды, яркие вспышки, смертельную минуту остановки мира и блаженной пустоты...

Счастливчики, которым принадлежало все: два маленьких спортивных тела, заряженные силой и молниеносными реакциями, вострые и мускулистые мозги и самосознание победителя, еще не получившего ни единой царапины. И как глубоко это сидело в них — ведь оба ушли из спорта, именно подойдя к границам своих возможностей, за один шаг до неизбежного поражения. Теперь оба готовились сражаться на новом поле научной карьеры, в лучшем учебном заведении, на одном из самых сложных факультетов. Любое море было им по колено, и, казалось, само море заранее согласилось покорно плескаться у колен и выбрасывать к их ногам всяческие жемчужины...

Первый курс был тяжелым и громоздким — несколько общих дисциплин, огромное количество лекционных часов, лабораторные. Все экзамены за первый семестр они сдали на «отлично», подтвердили свой высокий класс и получили повышенную стипендию.

К этому времени на курсе уже не было людей, которые относились бы к ним равнодушно: одних они раздражали, других привлекали, у всех вызывали интерес. Они даже и одеты были как-то особенно, не как все.

В каникулы Таня сделала первый аборт, грамотный, медицинский, с редким по тем временам обезболиванием. В сущности, это была их первая общая неприятность, и вышли они из нее без видимых потерь, еще более сплоченными. Мысль о ребенке даже не приходила в их высокоорганизованные головы, это был абсурд, а вернее, болезнь, от которой надо поскорее избавиться. Мать Андрея, Алла Семеновна, женщина хорошая и без затей, принявшая деятельное участие в медицинском мероприятии, испытывала большее нравственное беспокойство, чем молодая парочка. Со своим вторым мужем детей они не нажили, и уж кто-кто, а Алла Семеновна знала, как удивительно сильна и капризно хрупка вся эта женская машинерия с микроскопическими просветами в тончайших трубочках, с розовым ворсистым эпителием, то жадно принимающим, то решительно отвергающим ту единственную клетку, из которой образовался и ее Андрей, и она сама, и тот ребенок, который будет когда-нибудь ее внуком.

Таня ей нравилась, хотя и пугала силой характера и независимостью. И еще тем, с каким доброжелательным равнодушием относилась к самой Алле Семеновне и ее знаменитому мужу, почти академику, Борису Ивановичу — как будто ей совершенно все равно было, как они к ней относятся.

— Они ведь, в сущности, очень между собой похожи, — делилась Алла Семеновна с мужем. — Они пара, Борис, пара.

Борис, поднимая скопческое белесое лицо от газеты, соглашался, слегка деформируя высказанную женой мысль:

— Ну да, два сапога — пара.

Он не сумел полюбить Аллиного ребенка, да особенно и не

старался. Крестьянскому сыну, восьмому в бедняцкой семье, претило это еврейское задыхание над детьми...

Что же касается Галины Ефимовны, от которой тоже ничего не было скрыто, она перед дочерью благоговела, никогда не пыталась ею руководить и только диву давалась, откуда у дочери такой сильный характер и яркие дарования.

Все-таки от Соколова, считала она, хотя в самом Соколове, давно ее бросившем, никаких таких достоинств она не замечала. Так или иначе, Галина Ефимовна месяца два тихонько плакала, поглядывала исподтишка собачьими глазами на дочь и все не могла понять, как это Таня в свои неполные девятнадцать лет ничего не боится, ничего не стыдится, и, когда Галина Ефимовна намекнула дочери, что, может, надо бы с Андреем отношения оформить, та холодно пожала плечами:

— А это еще зачем?

Каникулы, само собой разумеется, были испорчены. Вместо того чтобы поехать, как прежде задумывали, кататься на горных лыжах, просидели неделю на даче, с большой осторожностью раскрывая объятья. Произошедшая неприятность не имела для них никакого морального знака, но внесла известные неудобства, которых хотелось бы в дальнейшем избегать.

Тем временем снова началось ученье, и притом нелегкое. Первый семестр они занимались вместе, либо в библиотеке, либо у Андрея дома. Оказалось, что, хотя пятерки у них были одинаково круглые, голова у Андрея все-таки была побогаче — задачи он решал свободнее, интереснее, с большей внутренней подвижностью. Он не раз уязвлял Таню своим превосходством, и особенно остро именно тем, что удивлялся ее медлительности и косности. Привело это к легкой обиде с последующим примирением, но заниматься Таня стала отдельно, в своей коммуналке, с мамой под боком, при легком бурчании музыкальной программы.

Весеннюю сессию оба опять сдали на «отлично», и теперь их знали не одни только первокурсники — отметили и преподаватели: восходящие звездочки. Одного только не хватало им для блестящего будущего: оба пренебрегали общественной деятельностью, причем пренебрегали не тихонько, в пассивной,

так сказать, форме, а каким-то заметным и обидным для остальных образом. В этом пункте у них тоже не было ни малейших разногласий: государство было препоганейшим, общество разложившимся, но в этом обществе им предстояло жить, а жить они хотели на всю катушку, то есть в меру своих незаурядных способностей.

Вопрос состоял в том, до какой степени им предстоит прогибаться под системой и где они сами проведут грань, дальше которой отступать не будут. Оба они состояли, между прочим, членами Союза коммунистической молодежи, совершенно произвольно полагая, что это и есть та последняя граница, дальше которой идти нельзя. Словом, все это были проблемы шестидесятников, возникшие не сами по себе, а просочившиеся к ним от людей типа Бориса Ивановича, бывшего фронтовика, человека честного, но осторожного, увлеченного в те годы атомной энергетикой, обещавшей мощь и процветание, а вовсе не бедственный позор. Наука представлялась таким людям наиболее свободной областью жизни, в чем еще всем предстояло глубоко разочароваться. Солженицына уже читали по враждебному радио, самиздат ходил по рукам, и Таня с Андреем легко и победоносно входили в ту двойную жизнь, которой жили кандидаты и доктора разнообразных наук.

Отработав производственную практику, две звездочки укатили путешествовать в Прибалтику и полтора месяца плавали в холодном море, засыпали на белом дистиллированном песке под благородными соснами, пили отвратительный рижский бальзам и танцевали на опасных танцплощадках Юрмалы. Потом их принял Вильнюс, и Литва показалась им привлекательней Латвии, может быть, потому, что здесь они познакомились с интересной московской компанией, лет на пять их постарше, и из этого пляжного преферансного общения потом развились долгие дружеские отношения. До самого окончания института все Новые года и дни рождения уже проходили в этом новом кругу — молодого врача, начинающего писателя, физика из физтеха, уже ставшего тем самым, чем хотел стать со временем Андрей, молодой актрисы с восходящей, но так и не взошедшей окончательно славой, умницы философа,

оказавшегося впоследствии стукачом, и супружеской пары, оставшейся в памяти как идеальная семья.

Осенью Таня сделала еще один аборт, все очень быстро и складно. Алла Семеновна на этот раз их пожурила, но все устроила. Таня была в их доме свой человек, и даже Борис Иванович, кроме дорогой своей Аллы и обеда ни на что не обращавший внимания, проникся к Тане симпатией: девка с головой. Из Америки, куда он поехал на какую-то конференцию, привез всем подарки. Тане — белые джинсы. Они были в самый раз, что удивительно. Довольная Танька крутилась перед зеркалом, Андрей, хмыкнув, пошутил:

— Черт возьми, теперь придется жениться...

Таня перестала крутить задницей, повернула свою маленькую голову на длинной, сужающейся кверху шее и сказала даже несколько надменно:

— Не придется...

Шел уже третий год их общей жизни, о женитьбе разговор не возникал за ненадобностью: всеми преимуществами брака они в полной мере наслаждались, а недостатки, связанные с взаимной ответственностью и обязательствами, их не касались.

К этому времени Андрей уже уверенно шел впереди Тани, она за ним, в кильватере, на минимальном расстоянии и почти с этим примирилась. Оценки уже не имели такого значения, что на младших курсах. Теперь все распределились по кафедрам, по лабораториям, и уже появились первые публикации у самых активных. А кто выбрал себе более прямую карьерную тропу, те уже заседали в парткомах, месткомах и профкомах, протоколили, голосовали и распределяли путевки, или осетрину, или билеты на кремлевскую елку.

Тане Соколовой и Андрею Орлову ничего из того, что там распределялось, и задаром было не нужно. Все, что им было нужно, они уже имели. И даже научные статьи по одной на каждого, но в соавторстве, вполне, разумеется, честном, с заведующим лабораторией. Их совместность, несмотря на независимые научные статьи, все укреплялась, потому что оба они, против ожидания, выбрали тихую кафедру, а никакую не модную теорфизику или ядерную. Кристаллография вольно распо-

лагалась на стыке физики, химии и даже математики. Таня возилась со спектрофотометрами, Андрей считал в Вычислительном центре по ночам на огромной вычислительной машине, которая в ту пору занимала целый этаж.

После четвертого курса было куплено четыре путевки в Болгарию на Золотые пески, и обе пары, молодые и старые, отбыли на отдых.

Отгуляв и отзагорав свое в Болгарии, в соседнем с родителями номере гостиницы, где с них не спросили никаких бумаг, кроме загранпаспортов без отметки о регистрации брака, они вернулись в Москву. Сделав очередной, ставший традиционным, осенний аборт, приступили к учебе. Галина Ефимовна на этот раз осмелилась высказаться в том смысле, что Андрей порядочная скотина. Таня этой темы не поддержала, но фыркнула:

— Сама разберусь, ладно?

Подошел последний год, замаячила аспирантура, и надо было набрать положенное количество очков, чтобы получить рекомендацию от той самой общественности, которую Орловы-Соколовы последовательно игнорировали. Танины псевдокожаные юбочки, сапоги до колен и прочую фурнитуру тоже нельзя было сбрасывать со счетов — это все тоже учитывалось некоторым отрицательным образом.

Толя Порошко, комсорг курса, третий угол треугольника, во всеуслышанье заявил, что готов все что угодно подписать, если в их рекомендациях будут написаны черным по белому слова: «В общественной жизни факультета никакого участия не принимает».

Толя был хохол из Западной Украины, после армии, злой красавец и дурак, к тому же с таким утонченным чутьем на кровь, что ни одному отделу кадров не снилось. Орловых-Соколовых он с первого взгляда расчислил. На своей формулировке он почти настоял, что автоматически означало, что ни в какую аспирантуру их не примут.

Однако Орловы-Соколовы подтвердили свое происхождение, проявив сатанинскую хитрость: выяснилось, что Андрей, получивший в свое время квалификацию судьи по боксу,

 оказывал судейские услуги на кафедре физвоспитания, а Таня, еще того хитрей, уже два года как вела гимнастический кружок в подшефной университету школе. Все с расчетом, конечно. Но спортивная кафедра написала им роскошные бумаги на бланке, свидетельствующие об их активном участии в общественной жизни. И Порошко утерся, а заодно и утвердился во всесильности жидомасонского заговора.

С кристаллами, со своей стороны, все обстояло как нельзя лучше. Занимались они входящей в моду симметрией, а там, в кристаллах, с симметрией происходили всякие восхитительные вещи. Андрей строил какие-то модели, их отражал, переворачивал, и в перелицованном виде, когда правое должно было стать левым, происходила всегда какая-то маленькая заминочка, тоненькое расхождение, которое разглядел когда-то заведующий кафедрой, и теперь это до безумия волновало Орловых-Соколовых, и они сидели до поздней ночи и работали не из корысти, а из азарта и страсти.

Оба аспирантских места, отпущенные на кафедру, вполне заслуженно были предназначены им. Все это знали. Однако в конце мая, уже после защиты дипломов, одно из мест у кафедры забрали. Заведующий, человек порядочный и умный, вызвал Орловых-Соколовых. Он ценил ребят и понимал, какое это для них испытание. Он уже приготовил хорошее стажерское место в одном из академических институтов по той же тематике и, в сущности, под своим же крылом. И теперь он решил, что даст им выбрать, хотя сам бы предпочел оставить в аспирантуре Андрея.

Они выслушали, переглянулись и поблагодарили. Попросили дать день на решение. Молча дошли до метро. Оба понимали, что аспирантура будет Андрею, но каждый оставлял ход другому. Возле метро Андрей сдался:

— Выбирать будешь ты.

С виду это выглядело благородно.

— Я уже выбрала, — улыбнулась Таня.

— Вот и хорошо. Остальное будет мое.

Они друг друга стоили. Никто и бровью не повел.

На «Парке культуры» она боднула его стриженой головой в ухо, их тайным жестом, встала:

— Я домой...

— Мы же собирались... — Они действительно собирались вечером в гости.

— Я прямо туда приеду, попозже, — и вышла на своих высоченных каблуках.

Длинные носки ее туфель, Андрей знал, набивались треугольными ватными затычками. Обувь всегда была ей велика, трудно было купить этот редкостно маленький номер.

Куцая стопа, глубокий шрам под коленом, узкая волосяная дорожка на плоском животе, большие соски, занимающие половину маленькой груди, руки и ноги коротковаты, пальчики тоже. Изумительно красивая шея. Чудесный овал лица...

Она ушла, унесла все с собой, а он поехал домой в дурном настроении, раздраженный, обиженный. Должна же она понимать, что он... Это было то самое, о чем они никогда не говорили.

Вечером они встретились у друзей. Было скучно. На Андрея напал приступ злого остроумия, и он несколько раз присадил хозяйку дома, отчего нисколько не стало веселее. Ушли поздно, недовольные. Андрей взял такси, поехали к нему. Квартира у Орловых была хоть и большая, но неудобная. Родители занимали две большие смежные комнаты, у Андрея была девятиметровка. Борис Иванович страдал бессонницей, а водопроводные трубы, подверженные эффекту Помпиду, начинали страдальчески реветь, если открыть кран. Помыться, таким образом, после того как родители укладывались, было бы бесчеловечным.

В темноте, лежа вдвоем на узеньком диванчике, не оставлявшем места для обид, он заговорил с ней, как только почувствовал, что ему ни в чем не отказано:

— Ты дура, Танька. Я же мужик. Ты на меня ставь. Не пузырься. Я люблю тебя. У нас же все, все общее...

Она ничего не отвечала — общность их была наиполнейшая. Когда же она исчерпалась, Таня сказала грустным и пустым голосом:

— Кажется, я опять влипла.

Он зажег свет, закурил. Она укрылась от света в подушку.

— Ну вот мы и приехали. Я так считаю. Рожай. Девочку, ладно?

— Ага. Тебе аспирантура, а мне девочка с пеленками...

Она никогда не плакала. Но если бы заплакала, то именно сейчас. И он это понимал.

Таня оформилась на работу в академический институт, сделала аборт и собралась на юг. Андрей остался сдавать приемные экзамены в аспирантуру. Перед отъездом они подали заявление в загс. Андрей считал это необходимым. Настроение все равно было паршивое. Каждый из них делал не совсем то, чего хотел, и раздражался в душе на другого.

Андрей провожал ее на вокзал. Ехала она не одна. Часть их компании уже была в Коктебеле, теперь ехали остальные, весело, с комфортом, взяв с немыслимой в те времена переплатой два отдельных купе.

Они поцеловались на перроне, и она поднялась на ступеньки вагона. Изогнувшись, она помахала ему рукой. Так она и запомнилась ему в эту последнюю минуту их совместной жизни: в красной мужской рубашке с не застегнутыми на запястьях пуговицами, с распущенным, бессмысленно длинным шарфом на тонкой шее... Это был ее собственный шик, она начинала носить что-то особенное, свое, — и все за ней повторяли.

Поезд уже тронулся, и он крикнул ей вслед:

— Смотри ты там в Витеньку не влюбись!

Это была постоянная шутка их компании. Начинающий писатель Витенька входил в моду, и девушки вились вокруг него густым роем.

— Если влюблюсь, немедленно сообщу! Телеграфом! — крикнула Таня, уже двигаясь в сторону юга.

К Орлову Андрею Соколова Таня больше не вернулась. Она позвонила ему десять дней спустя, ночью, разбудила Бориса Ивановича, который наутро Андрею высказал все, что он о нем думал. Но это значения уже не имело.

Таня сказала Андрею, что к нему не вернется, и вообще, неизвестно, вернется ли в Москву. И что сейчас она едет в совсем другой город. И вообще — привет!

Прекрасно понимая, что именно и почему это произошло, Андрей сказал сонным голосом:

— Спасибо, что позвонила, Тань.

Она немного помолчала в трубку и сдалась:

— Как экзамены?

— Нормально.

И опять она помолчала, потому что все-таки не ожидала от него такого хладнокровия:

— Ну, пока.

— Пока.

Трубку первым повесил он.

Алла Семеновна прибежала к Галине Ефимовне. Они были уже слегка знакомы, но не испытывали друг к другу большой симпатии. Галине Ефимовне, вообще говоря, не нравился Андрей, а Алла Семеновна, заранее готовая к родственной дружбе, не увидев со стороны будущей тещи большого энтузиазма, надула губы. Борис Иванович к этому времени как раз выяснил в Академии насчет кооператива, и получалось довольно складно — квартиру можно было оформить на Таньку, раз она теперь тоже сотрудник Академии... И вдруг этот телефонный звонок, когда все уже решено и даже заявление подано... Андрей лежит целыми днями на диване и курит. Ну что же он, виноват, что место оказалось только одно?..

— Да Танька, с ее-то способностями, еще раньше Андрюшки защитится... — лопотала Алла Семеновна.

Галина Ефимовна только хлопала глазами: она не знала ни о телефонном звонке, ни об изменившихся Таниных планах. Она так искренне и глубоко огорчилась, что добрая Алла Семеновна с ней мгновенно внутренне примирилась. Да и что им было делить? Им предстояло вместе внуков растить, ну уж совсем было... Уговорились, что Галина Ефимовна даст знать Алле Семеновне, когда Таня объявится.

...Объявилась Таня через несколько дней, по телефону. Объявила матери, что все отлично, что звонит не из Крыма, а из Астрахани. Слышно было плохо, Таня обещала написать длинное и сногсшибательное письмо. Галина Ефимовна попыталась прокричать что-то про Андрея, но тут прервалась связь.

«Вот именно, вот именно, прервалась связь», — думала Галина Ефимовна, и ей было страшно за Таню: как резко она движется, как неосторожно живет... Почему Астрахань? Зачем Астрахань?

Под Астраханью, в рыбачьем поселке, затерявшемся в плавнях, жили родственники писателя Витеньки. Отец его, заместитель директора чудесного заповедника Аскания-Нова, был из местных, выдвиженец, умер несколько лет тому назад, но осталась куча простоволосой родни. Свои первые рассказы и повесть Витенька и выудил в тех краях, в Ахтубе.

Поселок был браконьерским раем, царством рыбы и икры, мелкой воды и глухого тростника. Каждый пацан гонял на моторке, как на велосипеде, и Таня со своим писателем, рванув мотор, улетали ранним утром к дальней песчаной отмели, выше по течению, и она только диву давалась, как в глухом тростнике, в неопределенных рукавах без опознавательных знаков он находил дорогу и вывозил ее каждый раз к длинному, в форме ложки с тонким черенком острову с круглым песчаным пляжем, черпающим волжскую воду.

Горячий желтый песок, несчитанные тысячи мальков на отмелях и новая любовь с этим огромным, под метр девяносто, человеком. Все устройство его было другое — и хорошо, и отлично, хотя не совсем впопад, не совсем в ногу, но это мелочи, потом отладится... Он все дивился ее малости, ставил на ладонь ее короткую ступню, и она терялась в его руке. Он был, несмотря на свои тридцать, довольно заезженный мужик, часто менявший женщин от небезосновательной неуверенности, а с этой малявкой он был гигант, и приключение их было острым: она как-никак бросила жениха. А оттого что Витенька прекрасно знал Андрея, симпатизировал ему как младшему товарищу, всегда проигрывал ему в преферанс и не раз в его доме напивался, все делалось еще острее.

И волосы еще не успели как следует отрасти на Танькином бритом лобке, как почувствовала она: снова забеременела.

«И вот теперь-то я рожу», — торжество радостной мести наполняло ее.

Почти месяц они с писателем провалялись на песке. Запах

рыбы стал Тане невыносим, а картошка в этих местах была куда ценнее осетрины.

Он клал руку на ее втянутый живот — и куда же это все поместится? Ребенок-то будет большой! — беспокоился он.

То, что происходило внутри ее живота, его дико интересовало, и он уже любил то, что там, в животе, жило, и тревожился, и засыпал, укладывая всю Таньку себе на плечо и ладонью запечатывая щекотно покалывающий мускулистый вход и выход.

Они расписались в поселковом загсе в пять минут. Подружка двоюродной сестры заведовала этим скромным учреждением. Никакого заявления они не подавали, просто зашли с паспортами, заплатили рупь двадцать и получили брачное свидетельство и лиловую печать. День, конечно, был тот самый, на который было назначено ее бракосочетание с Андреем.

Мысль об Андрее Таня гнала прочь. При этом все время возникало: «О, не забыть сказать!»

Загоревшая, сбросившая обожженную кожу и снова загоревшая, Таня вернулась в Москву только к середине августа. Без всякого предупреждения она прямо с вокзала привела Виктора домой и объявила Галине Ефимовне:

— Мамочка, мой муж. Виктор.

Галина Ефимовна оторопела: «Ну Таня! Что хочет, то и делает!»

Он не был особенно хорош собой, этот муж: простонародное лицо, надвое надо лбом распадающиеся слабые волосы, грубые надбровья. Ростом был велик, что на маленьких женщин производит большое впечатление. Речь же его была неожиданно интеллигентная, держался он хорошо.

Галина Ефимовна с чайником отправилась на кухню и долго не возвращалась. Когда Таня пришла за ней и за чайником, мать горько плакала на скамеечке возле ванной: Андрюшку жалко!

Газ под чайником забыла зажечь.

Началась сложная и нешуточная жизнь. Таня вышла на свою первую работу. В тот же день приехал в институт Андрей. Встретил. Он не знал, что Таня вышла замуж. Таня с Виктором общим друзьям ничего не сказали: брак пока был тайным.

— Пойдем куда-нибудь посидим, — предложил Андрей.

— А вот лавочка, — и Таня села на ближайшую лавочку.

Он сказал, чтобы она кончала валять дурака. Она сказала, что вышла замуж.

— За Витьку? — догадался он, потому что оба они одинаково понимали в законах симметрии.

— Да.

— Ну хорошо, тогда поедем к нему и заберем твои вещи, чтобы не оставалось никаких двусмысленностей, — предложил он так уверенно, что Таня на миг допустила, что именно это и сделает сейчас.

— Я беременна, Андрей.

— Это неважно. Сделаешь еще один аборт. Последний раз, — пожал плечами Андрей.

Это было уже на пределе.

— Нет, — мягко сказала Таня. — Больше не могу.

Он вытащил сигарету и закурил.

— И все это из-за говенной аспирантуры? — спросил он как ударил.

Но Таня слишком много и сама об этом думала. И более того, она уже знала, что скоро уйдет из этого института, что кристаллы ей были интересны, только пока рядом был Андрей, а теперь все это треснуло и обвалилось, и ей совершенно безразлично, по какой это причине в одной друзе кристаллы рождаются правовращающими, а в другой лево... Она еще не знала, что из двух мальчиков, которых она родит, один будет левшой... Странно, странно, восхитительно...

Там был какой-то сбой и случайность: если бы Андрей сказал ей: «Аспирантура твоя, а я иду в стажеры» — что, кристаллы остались бы живы?

Был в судьбе какой-то сбой, непорядок, но все уже произошло. И что теперь говорить!

И она встала, поставила палец ему на макушку и повела вниз, через лоб, к подбородку. Поставила там точку:

— Нет, Андрей, нет. Амур пердю...

В следующий раз они встретились через одиннадцать лет, на крымском берегу, в том же месте, куда приезжали в юности.

Это были остатки их прежней компании, хотя физик уехал в Америку, идеальной супружеской пары уже не было, так как он погиб в автомобильной катастрофе, а у нее была другая, еще более идеальная семья. Зато были другие, вполне симпатичные люди. Через общих знакомых они знали заранее, что увидят друг друга в этот сезон.

Андрей был с женой и пятилетней дочкой, Таня — с двумя десятилетними близнецами, тощими очкариками, уже ее переросшими. Муж ее остался в Москве писать роман из жизни рыб. Про всех остальных животных он уже написал — такой у него был способ борьбы с действительностью, впрочем, весьма далекий от «Скотской фермы».

Таня меньше изменилась, чем Андрей. Он растолстел, что при его росте было непозволительно, стал доктором наук. Таня больше не носила бикини, а, напротив, носила закрытые купальники, потому что ее когда-то очаровательный живот был располосован грубыми советскими швами, оставшимися после кесарева сечения. В остальном она была все та же: ходила по пляжу на руках, носила экстравагантные наряды и в туфли по-прежнему набивала комочки ваты.

Все были с детьми. Ходили в ближние и дальние бухты, учили детей плавать и играть в преферанс. Общались Андрей с Таней исключительно на людях, при большом стечении народа и не сказали друг другу ни одного человеческого слова. Таня время от времени ловила на себе тревожный взгляд Ольги, Андреевой жены, но это ее только забавляло. Ольга была высокая, с заметной фигурой, почти красавица, из породы милых дур. Он на нее время от времени цыкал, а она хлопала тяжелыми от туши ресницами и надувала губы. Девочка у них была прехорошенькая...

За несколько дней до отъезда все решили пойти с ночевкой в Чаечью бухту. Дети обожали такого рода развлечения. Таня заранее объявила, что не пойдет, но сыновья ее так просились, что идеальная семья взяла их с собой, на свою ответственность. Их сын, сверстник Таниных, очень убивался, что лучшие друзья не пойдут. Таня, уставшая от людей, решила провести сутки в одиночестве, отдохнуть от беспрерывного трепа. Сговора

никакого у них с Андреем не было, и она даже не знала, что он тоже остался, не пошел со всеми.

Отправив ранним утром детей, Таня весь день провалялась с Томасом Манном в душной комнате, засыпая, просыпаясь и снова засыпая. Только под вечер встала, вымылась под душем нагревшейся за день водой, побрила подмышки, сделала маску из переросшего хозяйского огурца, сварила себе кофе и села за садовым столом с чашкой. Тут и пришел Андрей:

— Танька, что делаешь?

— Утренний кофе пью. Налить чашечку? — непринужденно ему ответила и поняла, что весь месяц ждала этой минуты.

— Я кофе не пью. У меня от него в ушах шевелится, — была у них такая фразочка раньше. — Давай примем местных напитков...

И они пошли к бочке. Таня, болтая расстегнутыми рукавами белой мужской рубашки, была легкой и веселой. Они выпили алиготе, потом портвейна, потом липкого кокура, все оттягивая минуту, которая уже стояла за спиной.

Все снимали комнаты у хозяев, один Андрей жил по-генеральски, в маленьком отдельном домике на территории военного санатория, у главврача, уступившего ему служебное помещение за большие деньги.

Они шли по набережной на расстоянии тонкого волоса друг от друга, разговаривая приблизительно о погоде, и тоненькая корочка над бездной еще держала их тела, но сильно прогибалась. Они уже обошли все бочки и шли к санаторию, а вовсе не к Таниному жилью. Вошли в служебный вход, по шуршащему гравию прямо к маленькому домику в розовых кустах. Дверь не заперта, свет не зажигается.

— Только умоляю: ни одного слова...

«О-о, как я забыла... за передними зубами металлическая скобка, зубы-то выбиты... нет, не забыла, язык сюда, под скобку...»

Бедный мой любимый дом, брошенный, отданный в чужие руки... крыльцо... и ступени, и двери... Стены твои, твой очаг... Что ты наделала... что ты наделал... Вместо теперешних

трех мог быть один совсем другой. Или не один... что мы наделали...

Это не какие-то две глупые клетки рвутся навстречу друг другу для бездумного продолжения рода, это каждая клетка, каждый волосок, все существо жаждет войти друг в друга и замереть, соединившись. Это единая плоть вопит о себе, горько плачет...

Горько и бессловесно плакала плоть до утра. Потом опомнилась. У них еще был целый день до вечера. Они поели и легли под мятую простыню. Таня провела пальцем от макушки до подбородка.

Андрей очень явственно видел, как это происходит: все возвращаются из бухты, собирают вещи, едут в Москву. Он отвозит своих домой, а сам съезжает на дачу с Танькой и ее мальчишками... Зимой холодно. Машина увязает в сугробах. Деревянной лопатой прочищает дорожку к воротам... Отвозит мальчиков в школу... Ольга с дочкой... совершенно непонятно, как... Тащит Верку в детский сад...

...Витька, конечно, съедет. И даже рад будет. Уйдет к какой-нибудь Регине. Трудно представить себе Андрея в нашем доме... Свой красный махровый халат он, наверное, уже износил... По утрам кофе не пьет, чай... Кристаллы, да еще и кристаллы... Вот это, может, самое главное, с ними-то как быть...

И Танька этого хочет больше всего на свете, он это точно знал. Потому и молчал. И она молчала. И опять не выдержала она:

— Ну что?

Это можно было понять как угодно, например, пора сматываться...

Плоть уже закончила свои последние стоны. Какая у Ольги дивная фигура, грудь, талия, ноги... Нет, это не работает... Провел пальцем по Таниному лицу:

— Амур пердю, вставай...

Она легко вскочила, засмеялась, закрутила головой. Прежние короткие волосы шли ей больше.

— Нет, не обманешь. Не пердю.

— А хули толку, Таня?

Она надела белую рубашку, вскочила на высоченные каблуки и ушла.

Ольга наутро мела дом. Выбила веником откуда-то из угла ватный треугольничек:

— Что за гадость...

Андрей взглянул мельком: о, дура недогадливая... да и откуда ей знать, когда у нее тридцать девятый...

— Что-то отдых мне надоел... Может, отвалим пораньше, а? Скажем, завтра?

Ольга была сговорчива:

— Как хочешь, Андрюша...

Зверь

В один год ушли от Нины мать и муж, не для кого стало готовить, не для кого жить. Теперь она, как Ева из изгнания, смотрела в сторону своего прошлого, и все ей там, в прошлом, казалось прекрасным, а все обиды и унижения выбелились до полного растворения. Она даже ухитрилась забыть о том боевом перекрестье, на котором она стояла все одиннадцать лет своего брака, в огне взаимной ненависти двух любимых ею людей.

Теперь, по истечении времени, все это вспоминалось скорее как драма сложных характеров, а не как бытовое позорное цепляние, неприличные взаимные уколы, раздражение, доходящее до точки кипения, и яростные скандалы, случающиеся всякий раз, когда Нине удавалось свести их за белой скатертью в безумной надежде соединить несоединимое. Никогда, никогда не жила Нина в раю, разве что в ранней молодости, когда она еще училась в консерватории, не знала Сережи и не случилось с ней ее первого несчастья. Но теперь все умерли, жизнь как будто свернулась кольцом и прошлое, освещенное кинематографическим светом счастья, прожорливо заглотило и пустынное настоящее, и лишенное какого бы то ни было смысла будущее.

Всеми мыслями и чувствами она была привязана теперь исключительно к покойникам, которые смотрели на нее со всех стен. Мама с арфой, мама в шляпке, мама с обезьянкой на ру-

ках. Сережа — мальчик с деревянной лошадкой, Сережа — школьник с прозрачным чубчиком, Сережа — яхтсмен с каменными плечами, предпоследний Сережа с осевшими на шею щеками, матерый, опасный, и последний — худое лицо, вмятые виски, в глазах не то сомнение, не то догадка. Или созревшая мысль, так никогда и не высказанная. И бабушка Мзия, умершая до Нининого рождения, с лицом старинным и суровым, в круглой девичьей шапочке под темным покрывалом, знаменитая исполнительница забытых теперь песен...

Почти два года прошло, как умерла мама, одиннадцать месяцев после смерти Сережи, а легче нисколько не делалось, становилось только хуже. Замучили сны. Не кошмары, а какие-то серые, на коричневом фоне вялые и блеклые картинки, такие трухлявые, что и сном не назовешь. Нина говорила себе в этом слабом сне: проснись, проснись, — но тусклая паутина теней не отпускала ее, а когда Нина наконец выбиралась оттуда, то выносила на белый день неописуемую тоску, злую, как зубная боль.

Нина наподобие кастрюли-скороварки проваривала в себе эти ночные переживания и, вконец измучившись, пожаловалась своим подругам. Подруг у нее было две: старшая, Сусанна Борисовна, — дама высокообразованная и мистически одаренная, даже состоявшая в антропософском обществе; и младшая, Томочка, — женщина простоватая, пугливая и такая богобоязненная, что за годы их дружбы Нина даже прониклась неприязнью к тому богу, который столь многого от нее требовал и ничегошеньки не давал взамен. И даже то немногое, что от рождения было Томочке дано, — бледноватая миловидность, — и то у нее было отобрано: мать ошпарила ее в детстве, и правая щека ее сильно пострадала от ожога.

Обе подруги много помогали Нине в ее тяжелые времена, но друг дружку недолюбливали, ревновали. Смиренная Томочка, говоря о Сусанне, наливалась анемичной злостью — на более яркие чувства у нее не хватало темперамента, розовела и говорила шипучим голосом: «Она еще себя покажет, попомнишь мои слова, я прямо нутром чувствую ее бесовские дела...»

Сусанна Борисовна относилась к Томочке как будто снисходительно, только время от времени легонько высказывалась о Томочкином невежестве, о ее диких языческих заблуждениях и примитивности. К слову сказать, покойный Нинин муж обеих терпеть не мог — Тому считал убогонькой, а Сусанну Борисовну иначе как «мадам Грицацуева» за глаза не называл.

Примитивная Томочка, узнав от Нины о ее ночных страданиях, объявила, что будет о ней усиленно молиться, а ей, Нине, надо непременно причаститься, потому что все эти испытания насылаются на нее исключительно для богообращения...

Сусанна Борисовна, в некотором роде врач, — у нее был косметологический кабинет — выписала Нине транквилизатор и снотворное, а тяжелые сны объяснила неполным разрушением астральных тел ее дорогих покойников, неблагоприятными обстоятельствами их посмертного пути, рекомендовала Нине стать на путь самосовершенствования и оставила с этой целью редкую по своему занудству книгу про духовные иерархии и их отражения на физическом плане.

То ли лекарства помогли, то ли Томочкины молитвы, но первое время спать она стала получше, серо-коричневые тени больше не мельтешили, но, странное дело, снился премерзкий запах. Она просыпалась от нестерпимой вони, наводящей ужас своей нездешней силой, потом засыпала снова. Появилось ощущение, что в доме кто-то есть: тень, призрак, недобрый дух... И эта вонь, ни на что не похожая. Вероятно, вроде тех химических веществ, от которых люди сходят с ума.

Через несколько дней приснившаяся вонь как будто материализовалась. Придя однажды с работы, Нина почувствовала резкий кошачий запах, отвратительный, но не выходящий за рамки пристойного реализма. Своим длинным и чутким носом Нина скоро нашла эпицентр вони: это были домашние тапочки Сережи, которые все это время стояли возле двери в калошнице. Нина тщательно, с порошком, отмыла тапочки, но, вероятно, несколько особо въедливых молекул осталось, так что ей пришлось еще побрызгать в квартире дезодорантом. Но кошачий запах все равно пробивался сквозь лаванду и жас-

мин. Она позвонила Сусанне Борисовне и пожаловалась. Та помолчала, помолчала, а потом сказала неожиданно:

— Знаете, Ниночка, а вам необходимо бросить курить.

— Это почему же? — изумилась Нина.

— На вас идет мистическое нападение, Нина, а курение притупляет мистическое чутье, — пояснила Сусанна Борисовна. — В вашей квартире неблагоприятно...

Неблагоприятно — это самое малое, что можно было сказать об этой квартире. Проклятое место, трижды проклятое место, — душа ее с самого начала к ней не лежала. Сереже приспичило сразу же после смерти мамы объединить их небольшую уютную квартиру на Беговой и мамину однокомнатную в эти хоромы, и отговорить его Нине не удалось. Он и слушать не хотел ни о последнем этаже, ни о протечках на потолке. В тот год дела его шли так хорошо, что плевал он на эту дырявую крышу и готов был над своей головой и крышу переложить. Такой уж был человек.

За полгода он сделал все точно так, как задумал: повалил стены, поднял в половине квартиры пол сантиметров на тридцать, превратив небольшую кухню и одну из комнат в трапезную, — и все жилище их представляло собой двухсветный зал, сквозняковый, холодный, а внутренняя дверь вела в большой совмещенный санузел — единственное любимое место Нины во всей квартире. Теперь она поставила туда маленький столик и по утрам пила кофе на табуретке между ванной и унитазом...

Эта проклятая квартира и съела Сережины силы, угробила его. Особенно ненавидела Нина камин. С технической стороны он не удался: дымоход был сделан кандидатом физ.-мат. наук, а не печником, — дым мгновенно наполнял всю квартиру и потом долго плавал едкими клоками. Сергей так и не успел его переделать, потому что к концу ремонта уже начались анализы, диагнозы, консультации и больницы...

Всего полгода он проболел скоротечным раком и умер, оставив врачей в медицинском недоумении: он был съеден метастазами, а первичного источника они так и не нашли. Но для Нины это уже значения не имело. Она осталась совсем одна, а

по своей физиологической природе одиночества выносить не умела, испытывала состояние обезумевшей мухи, у которой оторвали крылья: крутилась, кружила на месте, а мир проваливался под ногами или падал куда-то вбок... И теперь это наваждение...

Предсказанное Сусанной Борисовной мистическое нападение явило себя самым низменным образом в один из следующих дней. Придя с работы, Нина обнаружила в самой середине тахты, на бежевом вязаном покрывале, отвратительную кучу самого что ни на есть материального свойства. Вонь в квартире стояла столь скверная, что казалось, будто даже воздух в доме приобрел тот самый коричнево-серый оттенок нечеловеческой тоски, который был знаком ей по сновидениям. Нина положила голову на руки, уронила свои грустные кавказские волосы и заплакала. Плакала она недолго, потому что пришла подруга Томочка. Томочка охнула, засуетилась, убрала кучу и объяснила ее происхождение:

— Форточки открытыми не оставляй, это к тебе с крыши какой-нибудь бездомный кот повадился.

— Какой еще кот? — возразила Нина.

— Какой, какой... Большой кот, очень большой кот нагадил, — уверенно разъяснила Томочка.

Она знала, что говорила, — всю жизнь была кошатница.

Нина постирала покрышку, вымыла полы, дышать стало полегче, но до конца запах не выветрился, и они пошли ночевать к Томочке. Форточки перед уходом плотно закрыли.

На следующий день, когда Нина пришла после работы домой, куча лежала на прежнем месте, прямо на одеяле. Форточки по-прежнему были закрыты.

Действительно, мистика. Права была Сусанна Борисовна. Никакой кот в закрытую форточку не влезет.

Она снова принялась за стирку и мытье, вылила флакон дезодоранта и, трясясь от нервного озноба, легла в осквернённую постель. К запаху она притерпелась, заснуть ей теперь мешали какие-то неясные, из неопределенного источника исходящие звуки...

«Именно так и сходят с ума», — догадалась Нина.

Утром, уходя на работу, Нина накрепко заперла форточки и балконную дверь.

Однако возвращаться домой одна она не решилась, заехала за Томочкой, и в девятом часу пришли вдвоем. Нина открыла сложный замок двойной двери, вошла. Следом за ней Томочка. Он их ждал, как будто решил, что пришла пора представиться. Сидел в кресле, огромный, самоуверенный, щекастой мордой к двери. Нина тихо ойкнула. Томочка даже как будто восхитилась:

— Ну и котяра!

— Что делать будем? — шепотом спросила Нина.

— Как что? Кормить, конечно.

— Ты с ума сошла? Он же никогда отсюда не уйдет! Вон, опять нагадил. — Новая куча лежала посередине прихожей.

Это был, конечно, характер. И точный глаз. Он всегда безошибочно выбирал середину.

— Сначала надо дать поесть, а там видно будет, — решила Томочка.

Он был не пушистый, а, напротив, совершенно гладкошерстный и как будто асфальтовый. Сидел неподвижно, опустив слегка голову, смотрел на них стоячим звериным взглядом и, судя по всему, виноватым себя не чувствовал.

— Каков наглец, — возмутилась Нина, но вынула из холодильника кастрюльку старого супа, который она, повинуясь многолетней привычке, все варила, бросила туда две котлетки и шлепнула на плиту.

Потом Томочка поставила миску с подогретым супом возле двери, прямо на половик, и позвала его «ксс-ксс». Человеческий язык был ему знаком. Он тяжело спрыгнул с кресла и медленно пошел к миске. Вид у него был внушительный. Если бы он был человеком, можно было бы сказать, что он идет как старый штангист или борец, ссутулившийся от тяжести мускулов, спортивной усталости и славы. Перед миской он остановился, понюхал, присел и, прижав к голове одно ухо — второе, драное, висело лопухом, — начал быстро жрать. Томочка же просительным голосом увещевала его:

— Ты поешь, котик, поешь и уходи. Уходи, нечего тут тебе делать. Поешь и уходи себе, пожалуйста.

Он оглянулся, развернувшись широкой грудью, и посмотрел на Томочку очень сознательным взглядом, потом снова уткнулся в миску. Съев все, дочиста облизал миску. Тут Томочка открыла перед ним входную дверь и твердо сказала:

— А теперь уходи.

Он все отлично понял, обманно шагнул в сторону двери, потом резко развернулся возле калошницы и, сделав молниеносный полукруг по квартире, шмыгнул под книжный шкаф.

— Не хочет уходить, — тоскливо сказала Нина. — Напрасно мы его накормили.

— Ксс-ксс, — страстно шипела Тома, но кот не реагировал.

Нина вынесла из ванной швабру и зло сунула под шкаф. Кот вылетел оттуда, метнулся по квартире раз-другой, а потом исчез под диванчиком, придвинутым спинкой к кухонному подиуму. Нина пошарила под диванчиком. Потом отодвинула его. Кота там не было. Он исчез. Подруги переглянулись.

Они постояли в молчании, переживая происшествие. Потом Томочка нагнулась и недоверчиво провела рукой по панели. Слегка нажала. Доска отошла. Это был лаз в плоский подпол, образовавшийся под кухней.

— Так вот где он у тебя живет, — обрадовалась простодушная Томочка, — а ты говоришь — мистика...

— Ужас какой... теперь его оттуда не выкурить...

— Надо немедленно забить доску, — с глупой решительностью вскочила Тома.

— Ты что, — собралась с умом Нина, — а если он там сдохнет? Представляешь, что будет? Дохлый кот в доме...

О, был бы жив Сережа, ничего бы этого не было... Всей этой глупости...

— Валерьянку надо купить, вот что! Мы выманим его валерьянкой и тогда забьем, — воскликнула Тома. — Только валерьянки нужно побольше.

Валерьянки купили много, налили полное блюдечко и затаились. Томочка оказалась настоящим знатоком кошачьей

души, через пять минут он вылез из-под отстающей панели, резво подбежал к блюдечку и вылакал его в один присест. А потом он пошел от блюдечка прочь, к своей дыре, раскачиваясь, как матрос на палубе. Потоптался, явно потеряв направление, нескладно развернулся и пошел к тахте, на которой затаились подруги. В Нине проснулись зачатки юмора:

— Сейчас закурить попросит...

Отсмеявшись, Томочка скомандовала:

— Все. Берем его и выносим. И немедленно забиваем дыру.

Она снова зашипела свое «ксс», протянула к коту руки, но он метнулся в сторону. Нина подхватила его, он вывернулся и грузно шлепнулся об пол. Пьян-то он был пьян, но в руки не давался. Кот, судя по всему, пытался пробиться к дыре. Нина, как Александр Матросов, кинулась на амбразуру, прижала отошедшую доску своими голубоватыми пальцами.

— Тома, коробку в ванной возьми! — крикнула она, но кот как будто понял их замысел и решил отступать к балкону. С каждой минутой он делался все пьяней. — Дверь! Дверь балконную закрой! Он упадет оттуда!

Тома опередила кота, закрыла перед его носом балконную дверь, и не без труда они запихали его в картонную коробку из-под соковыжималки. Он орал низким голосом что-то ругательное и, может быть, даже матерное... Они выволокли коробку на двор, положили ее возле мусорного контейнера и открыли крышку. Он продолжал орать благим матом, но не вылезал. Женщины поспешили домой забивать дыру. И устроили себе маленький праздник по поводу освобождения от врага — выпили хорошего грузинского вина. Но ликовали они, как потом выяснилось, преждевременно.

Особая сила этого приходящего кота состояла в том, как легко он превращался из хамской скотины, позволяющей себе то, чего ни одна, даже слабоумная, кошка не позволяет в доме, в бесплотный призрак, как беспрепятственно он шмыгал между Нининым сном и ее обыденной жизнью, оставляя и там и тут смрад, страх и особого рода кошачесть, которая как будто отрывалась от него самого и растекалась, оседая на вещах и

проникая в Нину через воздух, через поверхность ее тела так глубоко, что она изводила флаконами шампуни и мыла, чтобы отмыть эту всепроникающую гадость. Сам он больше не появлялся, зато теперь снился почти каждую ночь, искусно меняя свой облик, но Нина научилась распознавать его в темном облаке, наползающем из угла, в ландшафте, имеющем к нему несомненное отношение, и даже в господине, которого она различала в толпе, как в прежние времена тайного агента.

Сусанна Борисовна, информированная о всех этих перипетиях, собиралась в Германию на коллоквиум или симпозиум и обещала Нине, что непременно обсудит эту ситуацию с самым компетентным специалистом во всей Европе.

Однажды ночью кот снова явился во плоти. Каким образом он проник в квартиру, осталось неизвестным. Лаз был забит, балкон и форточки закрыты, камин был вне подозрений, поскольку его прямой дымоход выходил непосредственно на крышу, и ни один кот, если он не насекомое, не смог бы преодолеть три с лишком метра абсолютно вертикальной трубы. Тем более, что к устью камина был придвинут экран. Вероятно, чтобы обнаружить тот потайной ход, которым воспользовался кот, надо было бы разобрать весь этот старый дом. Кот влез на высоко подвешенную полку, накренил ее и сбросил таким образом всю тонкостенную черную керамику, чудо грузинского прикладного искусства, собранную Ниной еще в студенческие годы. Справившись с ужасом конца света, пережитым ею еще во сне, на фоне звенящего тусклым черным звоном обвала, Нина зажгла лампу и увидела, что пол завален черепками, а кот, не успевший раствориться одному ему известным способом, забился в угол и скалился оттуда наподобие цепной собаки. Это было столь мягкое продолжение ее кошмара, что она не сразу поняла, где находится — в новом сне или в собственном доме...

Нина собирала черепки и, не поворачивая головы, слабо причитала:

— Ну что ты за скотина такая... откуда такие бандиты берутся... зачем ты ко мне приходишь, что тебе надо, скажи...

Потом она вынула из холодильника полкурицы и вынесла на лестничную клетку:

— Иди ешь, и чтоб я тебя больше не видела!

Еды он, собственно, не требовал. Но и не отказался. Лениво пошел за курицей. Нина закрыла за ним дверь. Она отлично понимала, что так просто он ее не оставит.

Через четыре дня он появился снова. Сидел в кресле как ни в чем не бывало, вроде бы на своем месте, а на середине бежевого покрывала, вымытого, выветренного на балконном воздухе, лежал убедительный знак его, кота, господства и над этой квартирой, и над самой Ниной.

Тем временем вернулась из Германии Сусанна Борисовна, позвала Нину в гости. Была Сусанна Борисовна на этот раз какая-то утихшая, благостная, в доме у нее пахло благовониями и богатством, горели свечи. На ужин она подала сущую ерунду, Нина бы постеснялась к такому столу звать человека. Зато сама Сусанна Борисовна была как вдовая королева: в лиловой одежде наподобие мантии, голова повязана фиолетовым шарфом в виде тюрбана, грим темный и такой уродливый, что заподозрить ее в кокетстве было никак невозможно. Поели синего салата из красной капусты, потом выпили бордового чая из шиповника, все в гамме, а потом Сусанна Борисовна объяснила Нине такую вещь, которая никому другому и в голову не пришла бы. Она подчеркнула, что это не только ее личное мнение, но и особое видение ее учителя. Получалось, что перед человеком ставятся определенные задачи, которые необходимо решать, и высшие силы, ангелы и прочие, а одновременно и здешние учителя, эти задачи решать помогают. Однако если человек противится, то задачи эти трансформируются во что-то кошмарное вроде болезни или, например, кота. И Нинин же кот есть на физическом плане проявление духовного неблагополучия, но возможно даже, что не в самой Нине дело, а, наоборот, в отношениях тех родственников, которые уже ушли...

— Это очень серьезно, Нина, требуется большая работа, я готова и сама вам помочь по мере возможностей, и познакомить вас с продвинутыми людьми, — заключила Сусанна Борисовна.

От этого разговора и от всей этой лиловости Нина почув-

ствовала себя еще хуже и даже подумала, не сходить ли ей действительно с Томочкой в церковь, все-таки была она человек православный, крещена во младенчестве в старинном тбилисском храме святой Нины, и даже крестные родители имеются...

Опять Нина ночь не спала, и таблетки не помогали.

На следующий день Миркас, начальник Нины и друг покойного Сережи, велел зайти к нему после обеда. Он взял ее к себе в контору после смерти Сергея, платил хорошие деньги, хотя, когда брал, понятия не имел, как точна и аккуратна Нина в любой работе, а в делопроизводстве вообще царь и бог.

Он вызвал ее — и она забеспокоилась, не допустила ли какой оплошности. На прошлой неделе проходил очень сложный контракт, и она вполне могла что-то напутать. Но когда она вошла к нему в кабинет, он ее сразу ошарашил:

— Слушай, Нина, ты не больна? У тебя вид ну никакой...

Прежде они были на «ты», но теперь Нина старалась при разговоре строить фразу грамматически неопределенно, чтобы никак не обозначать их новые служебные отношения. Слишком давно они были знакомы, чтобы переходить обратно на «вы».

— Все ничего. Бессонница у меня.

Он осмотрел ее товароведческим взглядом: она была не в его вкусе, но, бесспорно, очень стильная. Худая, с ранней откровенной сединой, всегда в черном... Конечно, длинный подбородок, впалые щеки, круги под глазами — но ведь есть, есть в ней что-то...

— Любовника заведи, — хмуро посоветовал он.

— Это служебное распоряжение или дружеская рекомендация? — Взгляд опустила, а подбородок вверх тянет.

Дура, гордячка.

— Бессонница — тоже болезнь. Может, тебе отдохнуть надо? В Тунис, на Канары, куда там девушки отдыхать едут? Фирма оплачивает... Возьми неделю, десять дней. На тебя смотреть невозможно. — Он говорил не то раздраженно, не то брезгливо, а Нина все выше задирала подбородок.

Потом он скривился, сморщился и сказал хорошим человеческим голосом:

— Ну че, че у тебя случилось?.. Какие проблемы?

И тут гордая Нина закапала глазами:

— Ой, Толечка, не поверишь... Кот замучил...

Сбивчиво и путано Нина рассказала всю историю. По мере того как он слушал, сочувствие его, видимо, улетучивалось, и к концу рассказа он обычным своим начальничьим голосом отрубил:

— Значит, так. Как только появится, сразу звони мне на пейджер. Я с ним разберусь.

Слухи про Миркаса ходили такие, что разборки он производить умеет.

Возможно, до кота эти слухи тоже докатились, потому что он на глаза несколько дней не показывался, хотя своим вниманием Нинину квартиру не оставлял. Как-то, уйдя на работу, Нина не затворила дверцу шкафа, и подлец, конечно, воспользовался ее оплошкой, нагадил в шкафу. Бедной Нине пришлось волочь весь свой немалый гардероб в чистку, но и после ей все чудился кошачий запах, и это было ужасно.

Но все-таки настал день, когда кот как ни в чем не бывало встретил ее в кресле. Она сразу же позвонила Миркасу. Миркас приехал ровно через двадцать минут, и все это время глубоко подавленная Нина просидела в ванной на табуретке.

Ни слова не говоря, Миркас направился к креслу. Но эти ребята оказались равными противниками: Миркас схватил кота за шкирку, а тот вцепился ему в руку. Раздался утробный рык, и совершенно непонятно было, кто его издал.

— О Господи! — ахнула Нина, увидев располосованную руку.

— Балкон! — рявкнул Миркас, и Нина, забежав вперед, открыла балконную дверь.

«И что толку? — успела подумать Нина, не поняв намерений Миркаса. — Все равно опять придет».

Окровавленный Миркас держал кота за шкирку, а кот драл его всеми четырьмя. Нина в ужасе прижалась к двери — крови она не выносила. Прохрипев тихое зловещее ругательство, Миркас размахнулся и швырнул кота через балюстраду балкона. Нина отчетливо уловила мгновение, когда кот после брос-

ка взлетел немного вверх, расправляя на ходу передние лапы и пригнув голову, потом как будто замер в позе космонавта в открытом космосе — и исчез из виду. И сразу же внизу раздался звук, как будто выплеснули таз воды. В темноте двора ничего видно не было.

Пока травмированная Нина промывала Миркасу рваные раны, тот только покачивал головой:

— Ну, зверюга... Таких отстреливать надо...

Вид у Миркаса был такой, будто он только что старушку топором зарубил.

Нина проспала всю ночь как убитая. Выспалась впервые за долгое время. Однако уже перед самым выходом из дому вдруг ужаснулась: а если мертвый кот лежит под ее балконом, как же она мимо пройдет?.. Хотя про кошек известно, что они умеют на лету равновесие держать, крутят хвостом как пропеллером и на все четыре лапы приземляются...

Но возле дома никакого мертвого кота не было, и вообще никого не было. Нина вышла из своего Чистого переулка и пошла в сторону Зубовской площади...

Кот, на время или навсегда, исчез. Настроение же у Нины делалось все хуже. Вероятно, Миркас его все-таки убил, и хотя кот был, конечно, большой подлец, но смерти ему Нина не желала. Хотела только, чтобы он исчез. Но теперь, после всего этого кошмара, казалось, наступило облегчение, а Нина, приходя с работы, как будто немного ждала, что эта поганая скотина сидит в ее кресле...

Тем временем приближалась годовщина Сережиной смерти. Принять надо было человек тридцать, и не как-нибудь, а по-хорошему. Миркас тоже про годовщину помнил. Всю неделю он ходил злой как черт, рука у него нарывала, кололи антибиотики, однако, проходя мимо Нининого стола, положил перед ней конверт:

— В ресторан зовешь или дома устраиваешь?

Гордость Нинина страдала ужасно — при Сереже ее так не унизили бы... Но опомнилась от приступа несуразной гордости, отвела свои бесподобные волосы с лица:

— Спасибо, Толя.

И купила еще поросенка, и угрей, и полкило икры...

Рано утром Томочка отправилась в церковь, заказала панихиду. Нина в церковь не пошла — Сережа всего этого при жизни терпеть не мог. Она поехала на кладбище. Повезла цветы. Памятник уже стоял, еще ранней весной Нина все устроила: большой черно-серый камень, грубый и простой...

Вечером все получилось как нельзя лучше — столы богатые и красивые, как Сергей любил. Пришли все, кого Нина хотела видеть: Сережины друзья, и его двоюродный брат с семьей, и одинокая золовка, которая Нину недолюбливала, и Миркас пришел со своей старой женой, неизбалованной Викой, а вовсе не с теми новенькими, которых у него столько развелось в последнее время, и Нина была этому рада. Пришел даже адвокат Михаил Абрамович, который защищал Сережу в давние времена, когда случились с ним большие неприятности. Адвокат с тех пор стал очень знаменитым, по телевизору постоянно выступал, а про годовщину не забыл... Все говорили про Сережу хорошие слова, отчасти даже и правдивые: о силе его характера, о смелости и мужестве, о таланте. Правда, сестра его Валентина ухитрилась как-то вставить, что Нина детей ему не родила. Но Нина и бровью не повела — это место в своей жизни она давно уже оплакала. И ему простила, что заставил ее, дуру, без памяти влюбленную... Вот мама никогда не простила. Да и что теперь об этом вспоминать, в тридцать-то девять лет...

Гости ушли поздно, унося в животах неслыханное Нинино угощение и оставив после себя не до конца утративший парадную красоту стол и запах дорогих сигарет. Нина отправила Томочку домой: она захмелела, как школьница, и все норовила высказать что-то свое особое, про Бога, отчего всем становилось неловко. Оставшись одна, Нина все убрала не торопясь, привычным образом разговаривая про себя с Сережей... Но он, привычным же образом, как и при жизни бывало, ничего не отвечал.

Легла она около четырех в чистую холодную постель, в клетчатое сине-зеленое белье, купленное в Берлине, куда они

ездили с Сережей три года тому назад, в последнюю их совместную поездку. И хотя на этот раз она не приняла никаких таблеток, сразу же, как только согрелась, уснула и спала глубоко, гуляя глазными яблоками под темными веками, а под утро, когда начали оживать и тихонько шуметь от первого ветра ветви большой липы, прикасающиеся к перилам балкона, ей приснился сон, самый удивительный сон в ее жизни.

Она стояла на верхнем этаже по-дачному большого дома, который был еще не достроен, потому что сверху были видны помещения нижнего этажа, какие-то балки, лестницы, и все это в несколько уровней, не совсем точно обозначенных, и вдруг она услышала пение. Женский голос пел старинную грузинскую песню. Бабушка, догадалась Нина и сразу же увидела ее. Она сидела на маленькой табуретке, с которой свисала коричневая кисть положенной на нее подушки. Черная шапочка была надвинута на лоб, а темная ткань падала вдоль светлого лица. Она пела, но рот ее был сомкнут, губы неподвижны, и Нина опять очень легко догадалась, что это иное пение, не голосовыми связками образуемое, а другим органом, к горлу не имеющим отношения, но без которого вообще никакое пение невозможно. И как только она догадалась, из какой точки солнечного сплетения исходит пение, она услышала, что песня разделилась на два голоса: низкий, бабушкин альт, и второй, сопрано, ее потерянное сопрано, ее невозвратимое счастье, но даже еще лучше, чище и шелковистей, чем было у нее, когда еще она училась в консерватории. И звук возвращенного и обновленного голоса имел какую-то иную природу, потому что он притягивал к себе, как магнит притягивает железо, и светлый недостроенный дом стал вдруг заполняться людьми, среди которых не было незнакомых, хотя по имени Нина знала не всех. Это были они, серо-коричневые тени, но от звуков этого неведомого пения они осветлели и проявились, как на фотобумаге, и вот среди них она различила сначала маму, а потом и Сережу.

Нина спустилась к ним по лестнице в тот момент, когда они узнали друг друга в толпе и обнялись, как будто один ждал другого на перроне и поезд наконец пришел. Мама, худая, очень

молодая, еще укрытая Сережиным широким объятием, вдруг увидела ее, засмеялась и закричала: «Нинико!»

Но звук маминого голоса был не сам по себе, он тоже был частью этой грузинской песни, хотя песня уже перестала быть грузинской, и слова ее, при полной их понятности, были на другом языке.

Сережа обхватил Нину за плечо, и запах его кожи, его волос обжег ее, и она видела, что и его ноздри напряглись и он опустил голову к ее волосам.

Кто-то легко пнул ее под колено, и она, оглянувшись, увидела огромного кота, который терся о ее ноги, требуя ласки. Это был он, треклятый кот, который попортил ей столько крови. Сергей нагнулся и погладил его по асфальтовой спине. Мама жестом родственной приязни поправила на Сереже загнувшийся борт пиджака... Но этого было мало: откуда-то сбоку, взявшись под руку, шли ей навстречу две ее подруги — Томочка и Сусанна Борисовна. И у них были такие прекрасные лица, что Нина, смеясь, поняла: прежде-то они обе были ужасные идиотки, но это было только временно...

Пиковая Дама

Наташе

Разница в возрасте Мур и Анны Федоровны составляла стремительно уменьшающуюся величину. Неизвестно почему — то ли колесики в мировом часовом механизме поистерлись, то ли зубчики съелись, — только время стало катиться ускоренно, то и дело впадая в мерцательную аритмию, и так получилось, что по ходу движения этого ущербного времени, тридцать лет — если поместить их между шестьюдесятью и девяноста — уже почти ничего не значили. Анна Федоровна только замечала, что быстрые дела делаются все медленнее, но зато и на сон стало уходить меньше времени.

Проснулась она рано, если не сказать среди ночи, — четырех еще не было — от дурного сна. Взрослый мужчина, уменьшенный до размера большой куклы, лежал в ящике письменного стола и жаловался: «Мамочка, как же мне здесь плохо...»

Это был ее сын, и сердце ее сжалось от горя: ничем она ему помочь не могла...

Сына же на самом деле никакого не было, была дочь, и проснулась она в ужасе оттого, что сон был сильнее яви, и в первую минуту после пробуждения она была уверена, что сын-то у нее есть, но она про него совершенно забыла. Потом она зажгла свет, при свете наваждение рассеялось, и она вспомнила, что с вечера ей пришлось долго лазать по ящикам письменного стола в поисках некоторой потерянной бумаги, и от этих поисков и завязался дурацкий сон.

 Анна Федоровна полежала немного и решила вставать, тем более что бумажку ту она вчера так и не нашла.

Теперь бумага отыскалась сразу же. Это был отзыв на диссертацию, который она давала лет десять тому назад, и теперь он вдруг понадобился.

Весь дом спал, и это было блаженство, не то дарёное, не то краденое. Никто ничего от нее не требовал, нежданно-негаданно образовались свои личные два часа, и она теперь прикидывала, на что их потратит: книжку ли почитает, которую подарил ей давний пациент, знаменитый философ или филолог, то ли письмо напишет в Израиль задушевной подруге.

Она прибрала воробьиного цвета волосы и накинула старую кофточку поверх халата. Домашняя одежда ей всегда была не к лицу, в халате она выглядела дачной хозяйкой из пригорода. Считалось, что ей шли костюмы, которые она носила со студенческих лет. Теперь, в сером ли, в синем, она выглядела профессором, что полностью соответствовало действительности.

Анна Федоровна сварила себе кофе, раскрыла литературоведческую книжку своего знаменитого пациента, приготовила лист бумаги для письма и поставила рядом с собой синюю вазочку с конфетами, которых себе обыкновенно не позволяла. Она вдохнула с удовольствием запах кофе, но глотнуть не успела: на кухню, поскрипывая колесиками своей ходильной машины, с прямой, как линейка, спиной, явилась Мур.

Анна Федоровна нервно проверила пуговицы на кофточке — правильно ли застегнуты. Предугадать, что именно она сделала не так, она все равно никогда не умела. Если кофточка была правильно застегнута, значит, чулки она надела кошмарные или причесалась не так. А что не так, если она всю жизнь проносила одну и ту же косу, свернутую колбаской на шее. Впрочем, утреннее замечание могло касаться чего угодно: занавески, например, грязные или сорт кофе отвратительный, пахнет вареной капустой... Удивительна была лишь свежесть, с которой Анна Федоровна реагировала — извинялась, оправдывалась. Иногда даже пыталась опровергнуть замечание, но всегда потом себя ругала. К хорошему это не приводило, Мур только поднимала еще выше свои от приро-

ды высоко нарисованные брови, так что они прятались под розово-русой челкой, медленно двигала длинными веками и неодобрительно смотрела на Анну Федоровну глазами цвета пустого зеркала.

На этот раз, выкатившись на середину кухни, Мур молчала. Черное кимоно висело пустыми складками, как будто никакого тела под ним не было. Только желтоватые костяные кисти в неснимающихся перстнях да длинная шея с маленькой головой торчали, как у марионетки.

Всю жизнь, сколько себя помнит, Анна Федоровна заранее готовилась к общению с матерью. В детстве она замирала перед ее дверью, как пловец перед прыжком в воду. Ставши взрослой, она, как боксер перед встречей с сильнейшим противником, настраивалась не на победу, а на достойное поражение. В это предутреннее время мать захватила ее врасплох, и, не подготовив себя заранее, она впервые увидела ее отстраненно, как будто чужими глазами: перед ней стоял ангел, без пола, и без возраста, и почти без плоти. Живая одним духом. Но каков был этот дух, Анна Федоровна знала преотлично. Зажимая в руке новенькую книжку, дух произнес:

— Какая глупость понаписана в этих воспоминаниях! Кто мне их подсунул... В шестнадцатом году мы еще жили с отцом в Париже. Я была девчонка. Диадему Каспари мне подарил в двадцать втором, я тогда была за ним замужем, а проиграла я ее в двадцать четвертом в Тифлисе. И никакого Каспари уже тогда не было, я была уже с Михаилом. Он был великий музыкант, — она хихикнула тонко и многозначительно, и Анна Федоровна поежилась, потому что дальше шла обыкновенная площадная лексика, и матери доставляло удовольствие именно это поеживание. — А вот вые...ть он никого толком не мог, — Мур нежно засмеялась, — с херакой у него обстояло из рук вон плохо. Там, в Тифлисе, я проиграла эту диадему в карты, а портрет, который Бакст писал, там диадема совершенно другая, какая-то ерунда, театральный реквизит...

Это была лучшая страница ее воспоминаний — ее знаменитые любовники. Имя им было легион. Немало бумаги было измарано в честь ее бледных локонов и неизреченных тайн души

лучшими перьями, а по ее портретам, хранящимся в музеях и частных собраниях, можно было бы изучать художественные течения начала века.

Тайна в ней, должно быть, действительно была, не одни только любовники млели над ней. Анна Федоровна, единственная дочь Мур, дитя ее редкой добродетельной причуды, всю жизнь билась над этой загадкой. Отчего ей была дана власть над отцом, младшими сестрами, мужчинами и женщинами и даже над теми неопределенными существами, находящимися в узком и мучительном зазоре между полами? Кроме обыкновенных мужчин с самыми простодушными намерениями в нее постоянно влюблялись феминизированные гомосексуалисты и сбившиеся со скучной женской дороги решительные лесбиянки. Ответа на этот вопрос Анна Федоровна найти не могла, но, подчиняясь неведомой силе, неслась выполнять очередную материнскую прихоть. А Мур, как беременной женщине, постоянно хотелось чего-то неизвестного, неопределенного — словом, поди туда, незнамо куда, и принеси то, незнамо что.

Люди, оказывавшие хоть какое-то сопротивление ее нечеловеческому обаянию, просто исчезали из виду: давно всеми забытый муж Анны Федоровны, муж внучки Кати и вся родня последнего мужа Мур... Их как бы и не было.

— У тебя кофе, — положив лживый томик перед Анной Федоровной, повела тонким носом Мур.

Пахло приятно, но ей всегда хотелось чего-то другого:

— Я бы выпила чашечку шоколада.

— Какао? — Анна Федоровна с готовностью встала из-за стола, не успев даже посожалеть о неудавшемся мелком празднике.

— Почему какао? Это гадость какая-то, ваше какао. Неужели нельзя просто чашечку шоколада?

— Кажется, шоколада нет.

Не было в доме шоколада. То есть был, конечно, — горы шоколадных конфет в огромных коробках, преподнесенных пациентами. Но ни порошка, ни плиточного шоколада не было.

— Пошли Катю или Леночку. Как это, чтобы в доме не было шоколаду?! — возмутилась Мур.

— Сейчас четыре часа утра, — попыталась защититься Анна Федоровна. Но тут же всплеснула руками: — Есть же, Господи, есть!

Она вытащила из буфета непочатую коробку, торопливо вспорола хрусткий целлофан, высыпала горсть конфет и столовым ножом стала отделять толстенькие подошвы конфет от никчемной начинки. Мур, пришедшая было в боевое настроение, при виде такой находчивости сразу же угасла:

— Так принеси ко мне в комнату...

Осторожно обернув руку толстой держалкой, Анна Федоровна грела молоко в маленьком ковшике. Руки она берегла, как певица горло. Было что беречь: неширокая кисть с толстыми длинными пальцами, с овально подстриженными ногтями в йодистой окантовке. Каждый день запускала она вооруженные манипулятором руки в самое сердце глаза, осторожно обходила волокна натягивающихся мышц, мелкие сосуды, циннову связку, опасный шлеммов канал, пробиралась через многие оболочки к десятислойной сетчатке и этими грубоватыми пальцами латала, штопала, подклеивала тончайшее из мировых чудес...

Золоченой маминой ложечкой она снимала тонкую молочную пенку с густого шоколада, когда раздался звон колокольчика: Мур подзывала к себе. Поставив розовую чашку на поднос, Анна Федоровна вошла к матери. Та уже сидела перед ломберным столиком в позе любительницы абсента. Бронзовый колокольчик, уткнувшись лепестковым лицом в линялое сукно, стоял перед ней.

— Дай мне, пожалуйста, просто молока, безо всякого твоего шоколада.

«Раз, два, три, четыре... десять», — отсчитала привычно Анна Федоровна.

— Знаешь, Мур, последнее молоко ушло в этот шоколад...

— Пусть Катя или Леночка сбегают.

«Раз, два, три, четыре... десять».

— Сейчас половина пятого утра. Магазин еще закрыт.

Мур удовлетворенно вздохнула. Узкие брови дрогнули. Анна Федоровна приготовилась ловить чашку. Подсохшая губа

с глубокой выемкой, излучающая множество мелких морщинок, растянулась в насмешливой улыбке:

— А стакан простой воды я могу получить в этом доме?

— Конечно, конечно, — заторопилась Анна Федоровна.

Утренний скандал, кажется, не состоялся. Или отложился.

«Стареет, бедняжка», — отметила про себя Анна Федоровна.

Была среда. Поликлинический прием с двенадцати. Кате сегодня можно дать выспаться. Внуки по средам на самообслуживании: семнадцатилетняя Леночка перед институтом отводит маленького Гришу в гимназию. Заберет его Катя, но вернуться домой надо не позже половины шестого: с шести Катя работает, преподает английский в вечерней школе. Обед есть. До ухода надо молока купить. Звон колокольчика.

«Раз, два, три, четыре... десять».

— Да, Мур.

Тонкая рука держит металлические очочки на весу изящно, как лорнетку:

— Я вспомнила, тут по телевизору, фирма Ореаль. Очень красивая девушка рекомендовала крем для сухой кожи. Ореаль. Кажется, это старая фирма. Да, да, Лилечка заказывала эти духи в Париже. Она хотела литровую бутыль, но ее бедный любовник прислал маленький флакончик, большой он не осилил. Но скандал был большой. А мне Маецкий привез литровую... Ах, что я говорю, то были Лориган Коти, а никакой не Ореаль...

Это было новое бедствие — Мур оказалась исключительно податлива на рекламу. Ей нужно было все: новый крем, новую зубную щетку или новую суперкастрюлю.

— Присядь, присядь, — благодушно указала Мур на круглый табурет от пианино.

Анна Федоровна присела. Она знала все круги, восьмерки и петли, наподобие тех, что в Гришиной железной дороге, по которым скользят паровозики старых мыслей, делая остановки и перекидки в заранее известных местах ее великой биографии. Теперь она включалась на духах. Далее шла подружка и соперница Лилечка. Маецкий, которого она у Лилечки увела.

Известный режиссер. Съемка в кино, которая ее прославила. Развод. Парашютный спорт — никто и вообразить не мог, что она на это способна. Далее авиатор, испытатель, красавец. Разбился через полгода, оставив лучшие воспоминания. Потом архитектор, очень знаменитый, ездили в Берлин, произвела фурор. Нет, ни в ЧК, ни в НКВД, глупости, нигде никогда не служила, спала — да. И с удовольствием! Там были, были мужчины. А вы с Катькой чулки меховые... жопы шершавые...

Сорок лет тому назад Анне Федоровне хотелось ее ударить стулом. Тридцать — вцепиться в волосы. А теперь она с душевной тошнотой и брезгливостью пропускала мимо ушей хвастливые монологи и с грустью думала о том, что утро, столь много обещавшее, у нее пропало.

Зазвонил телефон. Вероятно, из отделения. Что-то стряслось, иначе бы не позвонили так рано. Она поспешно сняла трубку:

— Да, да! Я! Не понимаю... Из Йоханнесбурга?

Как не узнала сразу этот голос, довольно высокий, но вовсе не бабий, со скользящим «р» и с длинными паузами между словами, как бывает у излечившихся заик. Подбирает слова. Тридцать лет...

Сначала все нахлынуло к голове, и стало жарко, а через секунду прошиб пот, и дикая слабость...

— Да, да, узнала.

Нелепый вопрос «как поживаешь?» через столько лет.

— Да, можно. Да, не возражаю. До свиданья.

Положила трубку. Даже от руки кровь отхлынула, ослабли и промялись подушечки пальцев, как после большой стирки.

— Кто звонил?

— Марек.

Надо было встать и уйти, но сил не было.

— Кто?

— Муж мой.

— Скажи пожалуйста, он еще жив! Сколько же ему лет?

— Он на пять лет меня моложе, — сухо ответила Анна Федоровна.

— Так что ему от нас надо?

— Ничего. Хочет повидать меня и Катю.

— Ничтожество, полное ничтожество. Не понимаю, как ты могла с ним...

— У него клиника в Йоханнесбурге, — попыталась перевести стрелку Анна Федоровна, и ей это удалось.

Мур оживилась:

— Хирург? Забавно! Хирургом был твой отец. Я попала в автомобильную катастрофу на Кавказе. Если бы не он, я бы потеряла ногу. Он сделал блестящую операцию. — Мур хихикнула: — Я его соблазнила, будучи в гипсе...

Самое удивительное, что подробности были неисчерпаемы, — про то, что Мур вышла замуж на пари и выиграла бриллиантовую брошь у знаменитой подруги, Анна Федоровна давно знала, про гипс услышала впервые и прониклась вдруг недобрым чувством к давно умершему отцу, которого в детстве горячо любила. Он был на двадцать лет старше матери, последний, если не считать самой Анны Федоровны, представитель медицинской немецкой семьи, преданный своей профессии до степени, не совместимой с жизнью. Но хранил его случай. Когда-то в молодости, будучи врачом в уездном городе, он сделал трепанацию черепа молодому рабочему, погибавшему от гнойного воспаления среднего уха. При новой власти рабочий вознесся до самых неправдоподобных высот, но доктор Шторх, совершенно о нем забывший, не выветрился из памяти благодарного пациента, и тот дал ему своего рода охранную грамоту. Во всяком случае, служба его военным врачом в царской и впоследствии в Добровольческой армии не помешала ему умереть в своей постели честной и тяжелой смертью от рака.

— Скажи, пожалуйста, а этот Йоханнесбург в Германии?

Кому-то могло показаться, что мысли у старушки скачут, как голодные блохи, но Анна Федоровна знала об удивительной материнской особенности: она всегда думала о нескольких вещах одновременно, как будто плела пряжу из нескольких нитей.

— Нет. Это в Африке. Южно-Африканская Республика.

— Скажи пожалуйста, англо-бурская война, помню, помню... забавно. Так не забудь купить мне крем, — и провела

слабыми пальцами по расплывающейся, как старый абрикос, коже.

В прежние времена Мур интересовалась событиями и людьми как декорацией собственной жизни и статистами ее пьесы, но с годами все второстепенное линяло и в центре пустой сцены оставалась она одна и ее разнообразные желания.

— А что на завтрак? — Левая бровь слегка поднялась.

Завтрак, обед и ужин не относились к второстепенному. Еду следовало подавать в строго определенном часу. Полный прибор с подставкой для ножа, салфетка в кольце. Но все чаще она брала в руки вилку и тут же роняла ее рядом с тарелкой.

— Не хочется, — с раздражением и обидой выговаривала она. — Может, тертое яблоко я съем или мороженое...

Всю жизнь ей нравилось хотеть и получать желаемое, истинная беда ее была в том, что хотение кончилось, и смерть только тем и была страшна, что она означала собой конец желаний.

Накануне приезда Марека Катя допоздна убирала квартиру. Квартира была обветшалой, ремонта не делали так давно, что уборка мало что меняла: потолки с пожелтевшими углами и осыпавшейся лепниной, старинная мебель, требующая реставрации, пыльные книги в рассохшихся шкафах. Интеллигентская смесь роскоши и нищенства. Поздним вечером Катя и Анна Федоровна, обе в старых теплых халатах, похожие на поношенные плюшевые игрушки, сели на гобеленовый диванчик, такой же потертый, как и они сами.

Анна Федоровна привалилась к подлокотнику, Катя, поджав под себя тонкие ноги, забилась матери под руку, как цыпленок под крыло рыхлой курицы. В Кате, хоть ей было под сорок, действительно было что-то цыплячье: круглые глаза на белесой перистой головке, тонкая шея, длинный нос клювиком. Птичье очарование, птичья бестелесность. Мать и дочь любили друг друга безгранично, но сама любовь препятствовала их близости: более всего они боялись причинить друг другу огорчение. Но поскольку жизнь состояла главным об-

разом из разного рода огорчений, то постоянное умолчание заменяло им и тихую жалобу, и сладкие взаимные утешения, и совместные вслух размышления, и потому чаще всего они говорили о Гришином насморке, Леночкиных экзаменах или о снотворном для Мур. Когда же случалось в их жизни что-то значительное, они только прижимались теснее и еще дольше, чем обычно, молча сидели на кухне перед пустыми чашками.

— Перед отъездом он подарил мне микроскоп, маленький, медный, чудо какой хорошенький, — улыбнулась Катя, — а я его сразу же отнесла к Тане Завидоновой, помнишь, во втором классе со мной училась?

— Ты мне никогда про микроскоп не рассказывала, — Анна Федоровна, не поднимая глаз, поплотнее укуталась в халат.

— Мне казалось, ты расстроишься, если я его домой принесу... А Завидонова мне его так и не вернула. Может, ее отец пропил... Знаешь, я ведь его ужасно любила... А почему вы все-таки развелись?

Вопрос был трудный, и ответов на него было слишком много — как по ступеням в подпол спускаться: чем глубже, тем темней.

— Мы поженились и сняли комнату в Останкине, у просвирни. Плита у нее всегда была занята, но весь дом был в просфорах. Там ты и родилась. Твоя первая еда была эти просфоры. Мы прожили там четыре года. Мур с сестрами жила. Эва в городе, Беата на даче. Тетя Эва всю жизнь ее обслуживала, блузки крахмалила. Старая дева, тайная католичка, строга была необыкновенно, никому ничего не спускала, а Мур боготворила. Умерла внезапно, ей и шестидесяти не было. И мать меня сразу затребовала. Чужой прислуги не терпела.

— А почему ты ей не сказала «нет»? — резко вскинулась Катя.

— Да ей было под семьдесят, и диагноз этот поставили... Не могла же я бросить умирающего человека.

— Но ведь она же не умерла...

— Марек тогда сказал, что она бессмертна, как марксистско-ленинская теория.

Катя хмыкнула:

— Остроумно.

— О да. Но, как видишь, он ошибся. Мама, слава Богу, даже марксизм пережила. А опухоль инкапсулировалась. Съела часть легкого и замерла. Я ухаживала за ней, тетя Беата за тобой. Она детей не выносила, тебя сразу в Пахру перевезли, только к школе забрали.

— А почему отец сюда с тобой не переехал?

— Об этом и речи не было. Она его ненавидела. Он так в Останкине и жил до самого отъезда.

— А разве тогда выпускали?

— Особый случай. Через Польшу. Мать его, коммунистка, бежала из Польши с ним и его старшим братом в Россию, отец остался в Польше и погиб. Семья была большая, многие спаслись, кто-то уехал в Голландию, кто-то в Америку. Я уже не помню, Марек рассказывал. У тебя целая куча родни по всему миру. Да и сам он, видишь, в ЮАР, — вздохнула Анна Федоровна.

— А что Мур? — продолжала запоздалое расследование Катя.

Анна Федоровна тихо засмеялась:

— Она вызвала на завтра маникюршу и велела погладить полосатую блузку.

— Да нет, я имею в виду тогда...

— Мур запретила мне переписываться. Однажды приехал какой-то израильтянин польского происхождения, привез мне несколько сот долларов и для тебя игрушки, одежки, она узнала и такой скандал мне закатила, что я не знала, куда деваться. Не знаю, чего я больше испугалась. В те времена за доллары просто-напросто сажали. Я этому поляку все вернула и просила Мареку передать, чтоб он нас поберег и ничего бы нам не слал.

— Какая все это глупость... — прошептала Катя снисходительно и погладила мать по виску.

— Да нет, это жизнь, — вздохнула Анна Федоровна.

Но осадок после разговора остался неприятный: Катя, кажется, дала ей понять, что она неправильно живет...

Прежде такого она не замечала.

* * *

После многодневных морозов немного отпустило — начался снегопад, и Замоскворечье на глазах заносило снегом. Из нечеловечески высокого подъезда сталинского дома на мрачном гранитном цоколе вышел пожилой человек в толстенной дубленке и в треухе из двух лисиц сразу. Навстречу ему по широкой лестнице поднимался какой-то сумасшедший в бежевом пиджаке, красном шарфе, перекинутом через плечо, без шапки, в седых заснеженных кудрях.

Дверь еще не захлопнулась, и седой ловко обогнул крепко укутанного человека и юркнул в подъезд.

Вошедший позвонил в нужную дверь и услышал, как затопали чьи-то шаги прочь от двери, потом ясный женский голос закричал: «Гришка, отдай пластилин!» Затем он услышал легкий звон стекла, раздраженный возглас: «Да откройте же дверь!» — и наконец дверь открылась.

За дверью стояла крупная пожилая женщина, в глубине лица которой проклевывалось знакомое зернышко. Возможно, зернышком этим была небольшая лиловатая фасолинка на щеке, которая в давние годы выглядела милой и легкой родинкой. Женщина держала в одной руке отбитое горлышко стеклянной банки и смотрела на него с испугом.

В конце коридора, там, где он заворачивал к маленькой комнатке, стояла лужа, а в ней с тряпкой в руках — незнакомая девушка, приходящаяся вошедшему даже не дочкой, а внучкой. Была она очень высокой, нескладной, с узкими плечами и круглыми глазами. Из дальней комнаты снова раздался крик: «Гришка, отдай пластилин!»

Гость вкатил за собой чемоданчик на колесах и остановился. Анна Федоровна, отсасывая кровь из порезанного пальца, сказала ему буднично:

— Здравствуй, Марек!

Он обхватил ее за плечи:

— Анеля, можно с ума сойти! Весь мир изменился, все другое, только этот дом все тот же.

Из дальней комнаты вышла Катя с упирающимся Гришей.

— Катушка! — ахнул вошедший.

Это было давно забытое детское имя Кати, данное ей в те далекие времена, когда она была толстеньким младенцем.

Катя, глядя в его моложавое загорелое лицо, гораздо более красивое, чем казалось ей по памяти, вспомнила, как сильно его любила, как стеснялась этой любви и скрывала ее от матери, боясь причинить ей боль. А теперь вдруг оказалось, что в глубине сердца эта любовь не забылась, и Катя смутилась и покраснела:

— Вот мои дети, Гриша и Леночка.

И тут он заметил, что у Кати немолодое морщинистое личико и ручки, сложенные лодочкой под подбородком, тоже уже немолодые. И он не успел еще разглядеть своих новообретенных внуков, как медленно открылась дверь в глубине квартиры и в дверном проеме, тонко позвякивая металлическими планками ходунков, появилась Мур.

— Пиковая Дама, — прошептал гость в величайшем изумлении. — Можно сойти с ума!

Он почему-то весело засмеялся, кинулся целовать ей руку, а она, подав великосветским движением сушеную кисть, стояла перед ним, хрупкая и величественная, как будто именно к ней и приехал этот нарядный господин, заграничная штучка. Своей наманикюренной ручкой отвела великосветская старушка всеобщую неловкость, и всем членам семьи стало совершенно ясно, как надо себя вести в этой нештатной ситуации.

— Ты чудесно выглядишь, Марек, — любезно заметила она. — Годы идут тебе на пользу.

Марек, не выпуская ее спасительной ручки, застрекотал по-польски.

...Так случилось, что это был язык их детства, урожденной панны Чарнецкой, родившейся в одном из полуготических узких домов Старого Мяста, и внука аптекаря с Крохмальной, всему миру известной по разным причинам еврейской улицы Варшавы.

Катя переглянулась с матерью: и здесь Мур завладела вниманием прежде дочери, прежде внуков.

— Ты можешь зайти ко мне в комнату, — милостиво пригласила она Марека, как будто забыв, как сильно он не нравился ей тридцать лет тому назад. Но тут произошло нечто неожиданное.

— Благодарю вас, мадам. У меня всего полтора часа времени сегодня, и я хочу провести его с детьми. Я зайду к вам завтра, а сейчас, разрешите, я провожу вас в вашу комнату.

Она не успела возразить, как он решительно и весело развернул ее карету вместе с ней и ввез в будуар.

— У вас по-прежнему элегантно. Разрешите посадить вас в кресло? — предложил он тоном, в котором не было и намека на какую-то иную возможность.

Анна Федоровна, Катя и Леночка стояли в дверях наподобие живой картины, ожидая визга, вопля, битых чашек. Но ничего этого не последовало: Мур кротко опустилась в кресло. Он нагнулся, потрогал ее узкую стопу, всунутую в сухой туфелек из старой синей кожи, и сказал довольно строгим голосом:

— Ну нет, такую обувь вам совершенно нельзя носить. Я пришлю вам туфли, в которых вам будет отлично. Специальная фирма. Только пусть девочки снимут мерку.

Он оставил ее одну, прикрыл за собой дверь, и Анна Федоровна спросила его в совершеннейшем изумлении:

— Как ты можешь с ней так разговаривать?

Он небрежно махнул рукой:

— Опыт. У меня в клинике восемьдесят процентов пациентов старше восьмидесяти, все богатые и капризные. Пять лет учился с ними ладить. А матушка твоя — настоящая Пиковая Дама. Пушкин с нее писал. Ладно. Пойдем-ка, Гриша, посмотрим, что там в чемодане лежит.

И Гриша, немедленно забыв про пластилин, которым он только что так ловко залепил сток в раковине, потянул за собой ладный чемоданчик многообещающего вида.

Анна Федоровна стояла возле накрытого стола. Все происходящее как будто не имело к ней никакого отношения. Даже

верная Катя не сводила глаз с загорелого лица Марека, и улыбка Катина показалась Анне Федоровне расслабленной и глуповатой.

«Как хорошо, — думала она, — что не покрасила волосы из того темного флакончика, который купила позавчера, он бы вообразил, что я для него моложусь. Но все-таки нехорошо, что я так распустилась, вот он уедет, и я покрашу».

Он оглянулся в ее сторону, сделал знакомый жест кистью руки, как будто играл в пинг-понг, — и Анна Федоровна вспомнила, как он ловко играл в пинг-понг, входивший в моду во времена их жениховства.

Легко и свободно он разговаривал с детьми. Катю он держал за плечо, не отпуская, и она млела под рукой, как корова.

«Именно как корова», — подумала Анна Федоровна.

Подарки были отличные — радиотелефон, фотоаппарат, какие-то технические штучки. Он вынул из внутреннего кармана своего ворсистого пиджака альбомчик с фотографиями, показал свой дом в Йоханнесбурге, клинику и еще один красивый двухэтажный дом на берегу моря, который он называл дачей.

Потом он посмотрел на часы, потрепал Гришу по затылку и спросил, когда он может прийти завтра. Он провел у них в доме действительно всего полтора часа.

— Мне бы хотелось пораньше. Можно? — он обратился к Анне Федоровне, и ей показалось, что он немного ее боится.

— Ты без пальто? — восхитился Гриша.

— Вообще-то куртка у меня в гостинице есть, да зачем она? Меня машина внизу ждет.

Дети смотрели на него с таким восхищением, что Анна Федоровна немного расстроилась и тут же сама устыдилась: все, в конце концов, так понятно, он всегда был обаятельным, а к старости стал еще и красивым... Но в душе у нее ныло от смутной горечи и недоумения.

* * *

Как это часто бывает, семейная традиция безотцовщины в каждом следующем поколении усиливалась. Собственно гово-

ря, последним мужчиной — отцом в их семье — был старый Чарнецкий, потомок лютого польского воеводы, нежнейший родитель трех красавиц: Марии, Эвелины и Беаты.

Сама Анна Федоровна осталась сначала без матери, когда Мур бросила доктора Шторха по мгновенному вдохновению, выйдя однажды из дому и как бы забыв вернуться. Через несколько дней она прислала за вещами первой необходимости, среди которых не значилась полуторагодовалая дочка. Новое замужество Мур было еще неокончательным, но уже в правильном направлении. Чутье подсказало ей, что время декадентских поэтов и неуправляемых героев закончилось. Первая проба Мур в области новой литературы была не самая удачная, зато последующие в конце концов увенчались успехом: образовался у нее настоящий советский классик, гений лицемерия в аскетической оболочке и с самыми нуворишскими страстями в душе. Показывая коллекцию фарфора, свежекупленного Борисова-Мусатова или эскиз Врубеля, он обаятельно разводил руками и говорил:

— Это все Муркины причуды. Взял бабу-то из благородных, теперь отдуваться приходится...

Последний брак был отличный, и маленькая Анна пребывала с родным отцом — до поры до времени о ней не вспоминали. Мур снова вошла в большую литературу, у нее был роман с главным драматургом, с очень заметным режиссером и несколько легких связей на хорошо оборудованном для этого фоне первоклассных южных санаториев. Построился, наконец, солидный дом в Замоскворечье, где квартиры выдавали не из плебейского счета на метродуши, а в соответствии с истинным масштабом писательской души. Но и здесь были какие-то бюрократические ограничения, пришлось прописать к себе обеих сестер, и решено было забрать девочку. К тому же Мур обнаружила, что принадлежащий ей классик неплатоническим оком взирает на пышных подавальщиц и молоденьких горничных, и решила, что пришла пора укрепить семью, дав возможность классику проявить себя в качестве родителя уже подросшей девочки.

Мур забрала у престарелого хирурга семилетнюю дочку.

Обожавшая отца девочка была перевезена из сладостно-ленивой Одессы в чопорную, только что полученную московскую квартиру и постепенно забывала отца, общаться с которым ей было теперь запрещено. По настоянию Мур девочке поменяли птичью немецкую фамилию на всесоюзно известную, велели звать толстого лысака «папой» и оставили на попечении второй тетки, пребывающей круглогодично на писательской даче. Через несколько лет наступили военные времена, эвакуация в Куйбышев, от которого остался во всю жизнь незабытый ужас холода, возвращение в Москву в жарком правительственном вагоне и счастливая встреча с Москвой, именно в эти первые после возвращения месяцы ставшей для нее родным городом. Своего отца она так никогда больше и не видела и только смутно догадывалась о своем глубиннейшем с ним сходстве.

Дочь Анны Федоровны Катя сохранила о своем отце еще более смутные воспоминания. Это были обрывчатые, но крупным планом заснятые картинки: вот она, больная, с завязанными ушами, а отец приносит ей прямо в постель щенка... вот она стоит на крыльце и наблюдает, как он выуживает из колодца с помощью длинной палки с крюком на конце утопленное ведро... вот они выходят из деревянного домика с горько-дымным запахом, идут по заснеженной дороге в огромный царский дворец, где большие окна от пола до потолка, изразцовые печи, картины на стенах и пахнет летом и лесом...

Приезды отца в Пахру, где Катя, как в свое время и ее мать, жила до школы, почему-то почти не запомнились. Сохранилось лишь одно яркое воспоминание: она, Катя, в пятнистой кошачьей шубе и меховой шапке идет по узкой тропинке к остановке автобуса, держась одной рукой за тетю Беату, другой — за отца. Автобус уже стоит на остановке, и она страшно боится, что он опоздает, не успеет в него влезть, и, вырвав свою руку, она кричит ему:

— Беги, беги скорей!

В том же году он и выполнил Катину рекомендацию.

Удивительно даже, на какую глубину была похоронена детская любовь: многие годы Катя совсем не вспоминала ни о

нем, ни о честной немецкой вещице, пригодной для изучения клеток кожицы лука и лапок блохи...

Катина ранняя дочка Леночка и вовсе не помнила своего отца. Катя развелась с мужем через год после рождения Леночки. Алиментов она никогда от него не получала и только слышала от общих знакомых, что он жив.

Семья, до рождения Гриши, состояла из четырех женщин, но полное отсутствие мужчин никого, кроме Мур, не беспокоило. Мур, привычно рассматривавшая свою дочь Анну как существо бесполое, бесцветное и годное только на торопливое ведение домашнего хозяйства, недоумевала, отчего ее внучка Катя так скучно живет. Удивительный для Мур факт: откуда дети берутся при такой полнейшей женской бездарности? Ну прямо как животные: е...ся исключительно для размножения...

Мур была относительно Кати глубоко неправа. У нее была на редкость удачная несчастная любовь, ради которой она и оставила своего первого невнятного мужа, и с предметом своей великой любви она изрядно мытарилась, родила от него Гришку и уже тринадцатый год бегала к своему совестливому любовнику на редкие свидания и откладывала с года на год момент настоящего, неодностороннего знакомства сына с тайным отцом. Семья — это святое, утверждал он, и Катя не могла с ним не соглашаться.

Безотцовщина, таким образом, стала в их семье явлением глубоко наследственным, в трех поколениях прочно утвердившимся. В голову ни Анне Федоровне, ни Кате, ни даже входящей в возраст Леночке не пришло бы в этот дом, целиком и полностью принадлежащий Мур, привести даже самого скромного, самого незначительного мужчину. Такого права Мур, полная великолепного пренебрежения к своим женским потомкам, за ними не оставляла. Анна Федоровна и Катя вполне смирились и с духом безотцовщины, и с женским одиночеством, а Леночка, девочка инфантильная как раз в той области, где с великой полнотой проявилась одаренность ее прабабушки, вообще об этом не задумывалась.

Тем острее почувствовала Анна Федоровна, как весь дом

сошел с ума после первого же прихода Марека. Не только восьмилетний Гришка, но и дылда Леночка, в ту зиму почти уже дотянувшаяся до метра восьмидесяти, и сама Катя выбегали на звонок Марека с такой восторженной прытью, как будто за дверью стоял по меньшей мере Дед Мороз. Марек и держал эту безвкусную красно-белую ноту: над африканским загаром дымились ярко-белые кудрявые волосы, а вместо пошлого красного халата с белым ватным воротником был закинут вокруг шеи шерстяной шарф глубокого кровяного цвета и того высочайшего качества, которое материальные ценности почти превращают в духовные. Как и полагалось Деду Морозу, он был весел, румян и невероятно щедр на всякие угощения и подарки, а еще больше на обещания. Даже Мур проявляла к нему неумеренный интерес.

Давно не испытанное чувство личного унижения мучило Анну Федоровну. Марек, три дня тому назад вообще не знавший о существовании Гриши и Леночки, сегодня играл в их жизни такую роль: Леночка только о том и говорит, куда ей выехать на учебу, в Англию или в Америку, а Гриша бредит каким-то греческим островом, где у Марека дача, — двухэтажная вилла, прислонившаяся спиной к розоватой скале и глядящая в маленькую бухту с белой яхтой, пришпиленной посредине залива, как костяная брошка на синем шелке... Гриша распотрошил альбомчик с Марековыми фотографиями, и цветные оттиски чужой нереальной жизни валялись по всей квартире, даже у Мур. Но, самое обидное, Катя ходила с дураковатой улыбочкой и даже немного подмурлыкивала, в точности как ее бабушка... Ко всему прочему совестливая Анна Федоровна мучилась еще и тем, что носит в себе такие низменные чувства и не может с ними справиться.

На работе у Анны Федоровны тоже было неприятное происшествие. Один из самых тяжелых пациентов последнего времени, поступивший не планово, а по травме, молодой милиционер, был прооперирован на редкость удачно, и с определенностью можно было сказать, что по крайней мере один глаз спасен. И на днях он перетащил в холле телевизор из одного угла в другой, и вся ювелирная работа пошла насмарку, воз-

никли новые разрывы на сетчатке, и теперь было совершенно неясно, сможет ли она снова спасти глаз этому дураку...

В Москву Марек приехал по делам. Все дело его сводилось к одной-единственной встрече с медицинскими чиновниками, и назначена она была именно на первый вечер его пребывания. Речь шла о каком-то специальном оборудовании для послеоперационного ухода за больными, к производству которого он имел отношение. Как сам он сказал позднее, переговоры эти были для него предлогом, чтобы повидать дочь. Ту первую попытку наладить связь с бывшим семейством он не возобновлял все эти годы: он имел слишком большой опыт общения с советской властью и в ее русском, и в польском варианте.

От этой поездки он ожидал чего угодно, но никак не рассчитывал встретить таких простодушных и трогательных детей, собственно, его семью, которая прекрасно без него обходилась и знать про него ничего не знала.

Даже старая грымза вызвала в нем тень нежности и интереса. В этот день он провел с ней несколько часов: так случилось, что Гриша пошел скакать на очередную елку к однокласснику, а Леночка отправилась заваливать очередной зачет.

Марек, хитрая бестия, задал Мур очень удачный вопрос — о сталинской премии, некогда полученной классиком. И Мур пустилась в приятные воспоминания. Последний успех мужа совпал с новым взлетом Мур — целой обоймой ярких успехов на смежной ниве: бурный роман с тайным генералом, держащим весь литературный процесс в своем волосатом кулаке, шашни с мужниным секретарем, с мужем любимой подруги, каким-то биологическим академиком, и еще, и еще, и свидетельницей всему — насупленная дочь Анна с пуританской тоской в душе и с глубоким отчаянием, испытываемым из-за невозможности любить и неспособности не любить эту тонкую, нечеловечески красивую, всегда театрально разодетую женщину, которая приходится родной матерью.

Рассказывала Мур разбросанно, избирательно, сыпала именами и деталями, но картина перед Мареком рисова-

лась с полной отчетливостью. К тому же многое он знал от Анны...

Пережив воспеваемого вождя совсем ненадолго, в очередной и последний раз продемонстрировав завистливым коллегам гениальную предусмотрительность, своевременно умер классик. Его положили под тяжелым серым камнем на Новодевичьем кладбище, и жизнь Мур на некоторое время поскучнела. Денег, впрочем, было немерено, и они все притекали рекой — авторские, постановочные, потиражные. Другая бы жила себе спокойно, но Мур что-то заволновалась, романы наскучили, опреснели, желания потеряли прежнюю упругость, между пятьюдесятью и шестьюдесятью оказались скучные годы. Потом она объясняла это климаксом. Но климакс благополучно завершился. Мур сделала две небольшие, по тем временам редкостные операции, подруга Верочка, знаменитая киноартистка, дала своего доктора, — и пошло некоторое освежение. Разумеется, роман. Ослепительный, невиданный, с молодым актером. Сорок лет разницы. Все рекорды побиты, все простыни смяты, подруги в богадельнях и больницах, некоторые дотягивают последние годы ссылки, а она, живая, острогрудая, с маленькой попкой и отремонтированной шеей принимает красивого цыганистого мальчика, юная жена которого беснуется в парадном. Москва гудит, жизнь идет...

И здесь произошел сбой. Неправдоподобно быстро спился мальчик-актер, посыпались одна за другой подруги, дочь Анна ушла из дома, вышла замуж за тощенького студента, еврея, — как этого Мур с детства не любила. То есть пусть, конечно, живут, не в газовые же камеры, но ведь и не замуж...

«Интересно, очень интересно, за кого она меня принимает?» — думал Марек, но никаких вопросов не задавал. Внимательно слушал.

...Бывшие любовники все поумирали один за другим, и генералы, и штатские. И досаднее всего — сестра Эва, на десять лет моложе, верная, преданная... Пришлось Анну вернуть в дом, вскоре и Катю поселили. Не успела оглянуться, полон дом детей, ничтожная жизнь, без веселья, без интересов...

Зайдя в комнату к матери, чтобы убрать чайные чашки,

Анна Федоровна отметила про себя, что у Мур такой же счастливый вид, что и у детей, и, сверх того, она находится в состоянии полной боевой готовности: голос на октаву ниже, чем обычно, мурлыкающий, глаза как будто на два размера шире, спина прямей, если это только возможно. Тигрица на охоте — так называла Анна Федоровна мать в такие минуты.

Марек же сидел с туманной улыбкой.

Шел последний вечер семейного экстаза, в котором Анна Федоровна старалась принимать наименьшее участие. Гриша висел на Мареке и время от времени отлипал, но только для того, чтобы, разбежавшись, повыше на него вскочить и поплотнее к нему прижаться. Леночка полным ходом шла к провалу сессии, но занятия в эти решающие дни она забросила, тенью ходила за новеньким дедом. Поскольку заманчивая Англия отбила аппетит к отечественной науке, она не испытывала ни малейшего беспокойства по поводу завтрашнего экзамена. На Катю Анна Федоровна старалась не смотреть: выражение лица было невыносимым.

В двенадцатом часу Марек, простившись со всеми, зашел к Мур. Придерживая ступнями теплую грелку, она смотрела телевизор и ела шоколад. Это был один из основополагающих принципов: одно удовольствие не должно мешать другому. Что же касается грелки, против которой последние тридцать лет возражала Анна Федоровна, Мур с юных лет привыкла укладываться в подогретую постель даже в тех случаях, когда теплый пузырь был не единственным ее ночным спутником.

Почтительно склонившемуся перед ней Мареку она снисходительно протянула узкий листок, исписанный до половины шаткими буквами:

— Это тебе, дружочек. Там мне кое-что нужно.

Марек не глядя сунул листок в карман:

— С большим удовольствием...

Он знал, как обращаться со старухами. Он вышел, Анна Федоровна замешкалась, поправляя торчком стоявшие за спиной Мур подушки.

Мур, облизнув замазанный шоколадом палец, загадочно улыбнулась и спросила вызывающе:

— Ну, теперь ты видишь?

— Что? — удивилась Анна Федоровна. — Что я вижу?

— Как ко мне относятся мои любовники! — ухмыльнулась Мур.

«Первые признаки помрачения», — решила Анна Федоровна.

Дети хотели проводить его до гостиницы. Остановился он неподалеку, в бывшем «Балчуге», который преобразился за последние годы во что-то совершенно великолепное, вроде того хрустального моста, который перекидывается по волшебному слову за одну ночь с одного берега на другой.

— Нет, будем считать, что уже попрощались, — объявил он неожиданно твердо, и Гриша, привыкший канючить по любому поводу и отканючивать свое, сразу покорился.

Марек намотал на шею нестерпимо красный шарф и перецеловал в последний раз детей так естественно, как будто не пять дней тому назад с ними познакомился. Потом он снял с вешалки оплешивевшую на груди шубу Анны Федоровны и сказал своим безапелляционным тоном:

— Пройдемся напоследок.

Анна Федоровна почему-то покорилась, хотя за минуту до того и не думала выходить с ним на улицу. Слова ни говоря, она впялилась в шубу, накинула оренбургский дареный платок — брала она подарки, если ей их приносили: коробки конфет, книги, конверты с деньгами. Брала и сдержанно благодарила. Но цен за свои операции никогда не назначала, то есть вела она себя в этом отношении точно так, как ее покойный отец. О чем и не догадывалась.

На улице он взял ее под руку. Из Лаврушинского переулка они вышли на Ордынку. Было чисто, бело и безлюдно. Редкие прохожие оглядывались на сухощавого иностранца, в одном светлом пиджаке не спеша прогуливающего упакованную в толстую шубу немолодую гражданку, которая никем не могла ему приходиться: для домработницы слишком интеллигентна, для жены стара и дурно одета.

— Какой прекрасный город. Он почему-то остался у меня в памяти сумрачным и грязным...

— Он разный бывает, — вежливо отозвалась Анна Федоровна.

«Зачем ты приехал, — подумала она, — все переворошил, всех встревожил?» Но этого не сказала.

— Пойдем куда-нибудь посидим, — предложил он.

— Куда? Ночью? — удивилась она.

— Полно всяких ночных заведений. Здесь неподалеку чудесный ресторанчик есть, мы вчера с детьми там обедали...

— Тебе завтра вставать чуть свет, — уклонилась Анна Федоровна.

Марек улетал ранним рейсом, сама она вставала в половине седьмого. Ссылка на завтрашний день успокоила ее. Он уедет, все войдет в колею, кончится это домашнее возбуждение.

— Я хочу пригласить детей на лето в Грецию. Ты не возражаешь?

— Не возражаю...

— Ты ангел, Анеля... И самая большая моя потеря...

Анна Федоровна промолчала. Зачем она только вышла с ним! Из многолетней привычки к домашнему подчинению... Надо было отказаться...

Он почувствовал ее внутреннее раздражение, схватился тонкой перчаткой за ее пухлые варежки:

— Анна, ты думаешь, я ничего не вижу и не понимаю? Опыт эмиграции очень тяжелый, очень. А у меня их было три. С польского на русский, с русского на иврит, последние пятнадцать лет английские... И каждый раз проживаешь все заново, от азбуки... Много всего было. И воевал, и голодал, даже и в тюрьме посидел...

Каким он был милым мальчиком, студентом-третьекурсником, нисколько не похожим на крепких самцов, исполняющих бодрый обряд собачьей свадьбы возле ее матери. Она, по аспирантским обязанностям, вела тогда студенческий кружок, и роман их завязался между колбочками и палочками. Долго и тщательно она скрывала ото всех их отношения. Стыдно было, что он такой юный. Но именно его юность, отсутствие в нем

агрессивного мяса бессознательным образом ее и привлекали. У него была белая безволосая грудь и слева, возле соска, располагалось созвездие родинок — ковшик Большой Медведицы. Он так и остался единственным мужчиной в ее жизни, но она никогда не пожалела ни о том, что был он единственным, ни о том, что именно он... Но всегда знала, что брак для нее случайность. Лет в шестнадцать она решила, что никогда не выйдет замуж: не было для нее ничего противнее, чем мурлыкающий голос, возбужденный смех и протяжные стоны из материнской спальни... вечный гон, течка, течка... На мгновенье она провалилась в сильнейшее детское ощущение несмываемой грязи секса, когда неловко было смотреть на любую супружескую пару, потому что тут же возникала картинка, как они, потея и стеная, занимаются этой мерзостью... Как прекрасно быть монахиней, в белом, в чистом, без всего этого... Но какое счастье все-таки, что Катя есть...

Марек что-то говорил, говорил, но это пролетало мимо, как снег. Но вдруг она очнулась от его запинающихся слов:

— ...настоящее чудо, как проклятье превращается в благословение. Это чудовище, гений эгоизма, Пиковая Дама, всех уничтожила, всех похоронила... И как ты это несешь? Ты просто святая...

— Я? Святая? — Анна Федоровна с ходу остановилась, как будто на столб наткнулась. — Я ее боюсь. И есть долг. И жалость...

Он приблизил к ней свое лицо, и видно стало, что он вовсе не так молод, что кожа у него старческая, в мелких острых морщинках и темных старческих веснушках под всесезонным загаром:

— Ну чем, чем я могу тебе помочь?

Она махнула серой варежкой:

— Домой проводи...

Звонил Марек из своего Йоханнесбурга так часто, как не звонили приятельницы из Свиблова. Гриша страстно ожидал его звонков, коршуном кидался на телефонную трубку и кричал всем без разбору: «Марек! Это ты?» Леночка занималась

 только английским и примеривалась на отъезд. В ней вдруг проснулась прежде не свойственная ей деловитость, она толково и придирчиво выбирала себе место для будущей учебы. Даже Катя, всегда спокойная и немного сонная, ждала неопределенных перемен, так или иначе связанных с появлением отца, и, кажется, немного поохладела к своему тайному другу, который, напротив, начал вялые разговоры о возможном его уходе из семьи.

Марек с энтузиазмом принялся за выполнение своих рождественских обещаний. Первыми ласточками были совершенно ортопедического вида туфли для Мур. Они были исключительно уродливы и, вероятно, столь же исключительно удобны. Их принес прямо домой чуть ли не секретарь израильского посольства, старинный друг Марека. Мур их даже и не примерила, только хмыкнула. Туфли были на школьном каблуке и на каких-то стариковских резиночках, а Мур последние семьдесят лет носила только открытые лодочки на изящных, по мере возможностей текущей моды, каблуках.

За парой туфель последовала пара маленьких компьютеров, причем размер их находился в обратной пропорции с ценой. Позаботился он также и о компьютерных играх для Гриши. Леночка еще не оправилась от той любительской кинокамеры, которую он оставил ей перед отъездом, еще не успела насладиться тем особым ракурсом мира, который открывается через видоискатель, а новый подарок уже подгонял ее, требовал скорее научиться всему тому, что с его волшебной помощью можно было делать.

Наконец, через шесть недель после отъезда Марека, пришло приглашение из Фессалоник, подписанное некоей Евангелией Даула, приходившейся близкой подругой Марековой жене, о которой только и было известно, что у нее есть подруга-гречанка, которая и пришлет приглашение...

Приглашение было составлено таким образом, что они могли ехать в любое время с июня по сентябрь.

Гриша, восхищенный до седьмого неба одним видом конверта с прямоугольным окошечком, носился с ним по квартире, пока не натолкнулся на Мур, направлявшуюся на кух-

ню в своем металлическом снаряде. Он сунул ей в лицо конверт:

— Смотри, Мур, мы едем в Грецию, на остров Серифос! Нас Марек пригласил!

— Глупости какие! — фыркнула Мур, которая никогда никаких скидок на возраст не делала. — Никуда вы не поедете.

— А вот поедем, поедем! — подскакивая от возбуждения, кричал Гриша.

И тогда Мур оторвала руку от поручня своих ходунков и протянула восьмилетнему правнуку под нос великолепную фигу с сильно торчащим вперед ярко-красным ногтем большого пальца. Второй рукой она ловко выхватила приглашение из рук опешившего мальчишки, не ожидавшего такого дерзкого нападения. Опершись локтями о перильца, она скомкала конверт и бросила плотный, как хороший снежок, бумажный ком прямо к входной двери...

— Гадина! Гадина! — взвыл Гриша и кинулся к двери.

Катя выскочила из комнаты, схватила сына, не понимая, что произошло между сыном и бабушкой. Гриша расправлял какую-то бумажку и продолжал выкрикивать неожиданные слова:

— Гадина поганая! Сука гребаная!

Приспустив печальные веки, Мур с тихой укоризной обратилась к внучке:

— Забери своего выблядка, деточка. Деточка, детей надо воспитывать, — поскрипывая колесиками, поехала на кухню.

Катя, еще не догадываясь, что за комок бумаги теребит рыдающий Гриша, уволокла его в комнату, откуда еще долго раздавались всхлипы.

В тот день Анна Федоровна пришла с работы усталой более, чем обычно, — есть вещи, которые утомляют человека гораздо более, чем сама работа. Привезли очень тяжелую девочку. В детском отделении не было врача соответствующего профиля и квалификации. Девочка была Гришиного возраста, с осколочным ранением. Операция была очень тяжелая.

Складывая в футляр прибор для измерения кровяного давления, Анна Федоровна размышляла: откуда у Мур берет-

ся энергия? При таком давлении она должна была испытывать сонливость, слабость... А тут агрессивность, острота реакций. Вероятно, вступают какие-то иные механизмы. Да, геронтология...

— Да ты меня не слушаешь! О чем ты думаешь? Я против, ты слышишь меня? Я не была в Греции! Никуда они не поедут! — Мур теребила Анну Федоровну за рукав.

— Да, да, конечно. Конечно, мамочка.

— Что — конечно? Что ты мамкаешь? — взвизгнула Мур.

— Все будет, как ты захочешь, — успокаивающим тоном сказала Анна Федоровна.

«Нет, дорогая моя, на этот раз — нет», — твердо решила Анна Федоровна. В первый раз в жизни. Слово «нет» еще не было произнесено вслух, но оно уже существовало, уже проклюнулось как слабый росток. Она решила просто поставить мать перед фактом семейного неповиновения, никаких предварительных разговоров по этому поводу не вести. Можно было только догадываться, какую бурю поднимет это прозрачное насекомое, когда выяснится, что дети уехали.

К началу июня были готовы иностранные паспорта, получены визы. На двенадцатое июня были заказаны билеты до Афин. На этот же день, в соответствии с тонкой стратегией Анны Федоровны, был назначен переезд на дачу. Продумано было все до мельчайших деталей: утром Катя с детьми уедет в Шереметьево, что не должно вызвать никаких подозрений, поскольку Катя всегда отправлялась на дачу заранее, чтобы подготовить дом к приезду Мур. На двенадцать была вызвана машина для перевозки на дачу Мур и Анны Федоровны. Суматохой переезда Анна Федоровна надеялась смягчить удар, тем более что и дачные сборы удачно маскировали преступный побег. Гриша и Леночка были просто раздуты ожиданием, особенно Гриша. Полугреческий дедушка объявился очень кстати. Все Гришины одноклассники уже побывали за границей, он был чуть ли не единственным, кого не вывозили никуда дальше Красной Пахры. Да и сам дедушка, седой, кудрявый, стоящий на борту

белой яхты, был предъявлен всему классу и удачно компенсировал отсутствующего отца.

В ночь накануне отъезда Анна Федоровна и Катя почти не спали. Под утро позвонил Марек, сказал, чтоб лишнего барахла не брали, в Греции, как известно, все есть, что он ждет не дождется и встретит в аэропорту.

В половине восьмого Мур потребовала кофе. Утренний кофе шел с молоком, а послеобеденный полагался черным. Анна Федоровна помогла Мур одеться и сварила кофе. После чего обнаружила, что молочный пакет в холодильнике пуст. Это была Леночкина безалаберность, она вечно засовывала в холодильник пустые пакеты. Время подходило к восьми. Такси в Шереметьево было заказано на половину девятого.

Анна Федоровна, в синем домашнем платье, в шлепанцах на босу ногу выскользнула из дому — побежала на Ордынку за молоком. Это занимало никак не больше десяти минут. Она припустила поначалу легкой рысью, но вдруг замедлилась — утро было необыкновенным: дымчатый, чуть голубоватый свет, небо переливчатое, как радужная оболочка огромного, самого синего глаза, и чистейшая зелень прибранного скверика возле уютной округлой церкви Всех Скорбящих, куда Анна Федоровна изредка захаживала. Она пошла медленно и вольно, как будто никуда не торопилась. Продавщица Галя, местная ордынская татарка, проработавшая всю жизнь в здешних магазинах, ласково поздоровалась. Лет пятнадцать тому назад Анна Федоровна оперировала ее свекровь.

— Как Софья Ахметовна?

Удивительно, как при таком количестве золотых зубов улыбка получается робкой и детской...

— Оглохла совсем, ничего не слышит. А глаза видят!

Анна Федоровна взяла в руки прохладный пакет молока. Через пятнадцать минут уедут дети, а еще через два часа Мур узнает, что они уехали. Скорее всего, это будет уже в Пахре. Она представила себе побледневшие глаза Мур, тихий хрипловатый голос, повышающийся до звонкого стеклянного крика. Осколки разбитой посуды. Самый подлый, самый нестерпимый мат — женский... И увидела вдруг как уже совершённое:

она, Анна, размахивается расслабленной рукой и наотмашь лепит по старой нарумяненной щеке сладкую пощечину... И совершенно все равно, что после этого будет...

Чувство чудесной свободы, победы и торжества стояло в воздухе, и свет был таким напряженно ярким, таким накаленно ярким. Но тут же и выключился. Осознать этого Анна Федоровна не успела. Она упала вперед, не выпуская из рук прохладного пакета, и легкие шлепанцы соскользнули с ее сильных и по-немецки прочных ног.

Мур в это время уже бушевала:

— Дом полон бездельников! Неужели нельзя купить бутылку молока?

Голос ее был прозрачно-звонок от ярости.

Катя посмотрела на часы: до приезда такси оставалось пятнадцать минут. «Куда подевалась мать?» — недоумевала она. Но делать было нечего, и она побежала за молоком.

Знакомая продавщица Галя металась по тротуару. Реденькая толпа собралась перед входом в магазин. Там, на тротуаре, лежала женщина в синем звездчатом платье. «Скорая помощь» пришла минут через двадцать, но делать ей уже было нечего.

Катя, прижимая к груди все еще прохладный пакет молока, твердила про себя: молоко, молоко, молоко... до тех пор, покуда ее не послали за материнским паспортом. И, уже подходя к дому, повторяла: паспорт, паспорт, паспорт...

В доме Катя застала шумный скандал. Шофер такси, ожидавший их внизу, как было уговорено, минут двадцать, поднялся в квартиру узнать, почему не спускаются те, кому надо ехать в Шереметьево.

Гриша, дрожащий от нетерпения, как щенок перед утренней прогулкой, завопил счастливым голосом:

— Ура! Мы едем в Шереметьево!

Мур, покачиваясь в своей металлической клеточке, вышла в прихожую и догадалась, что ее хотели обмануть. Она забыла и про кофе, и про молоко. В выражениях, которые даже шофер слышал не каждый день своей жизни, она объявила, что никто никуда не едет, что шофер может убираться по адресу,

который привел шофера, молодого парня с дипломом театрального института, в чисто профессиональное возбуждение, и он прислонился к стене, наслаждаясь неожиданным театром.

— Где эта п...головая курица? Кого она хотела обмануть? — Она подняла вверх костлявую кисть, рукав ее старого драгоценного кимоно упал, и обнажилась сухая кость, которая, если верить Иезекиилю, должна была со временем одеться новой плотью.

Катя подошла к Мур и, размахнувшись расслабленной рукой, наотмашь влепила по старой, еще не накрашенной щеке сладкую пощечину. Мур мотнулась в своей клеточке, потом замерла, вцепилась в поручни капитанского мостика, с которого она последние десять лет, после перелома шейки бедра, руководила всеобщей жизнью, и сказала внятно и тихо:

— Что? Что? Все равно будет так, как я хочу...

Катя прошла мимо нее, на кухне вспорола пакет и плеснула молоко в остывший кофе.

Голубчик

В те самые годы, когда Гумберт Гумберт томился по своей неполовозрелой возлюбленной и строил бесчеловечный план женитьбы на бедной Гейзихе, на другом конце света Николай Романович, одинокий профессор философии (или той науки, которая претендовала так называться), также пораженный любовным недугом, идущим вразрез с общепринятыми нормами, женился на даме, которая и в своем золотом сне не могла бы претендовать на такую блестящую партию. Собственно говоря, Антонина Ивановна нисколько не была дамой, и даже гражданкой могла считаться лишь с натяжкой. Она всепроцентно относилась к категории теток, работала в ту пору сестрой-хозяйкой, по-старому кастеляншей, в кардиологическом отделении, куда упомянутый профессор поступил как плановый больной в соответствии со своей стенокардией.

Мягкая тетеха, даже не курица, а серенькая индюшка, расширяющаяся книзу от маленькой головки до толстенных ног, разводка, тайно выпивающая, жила Антонина Ивановна в девятиметровке с малолетним сыном. Зарплата была самая ничтожная, она легонько, по мере возможностей, подворовывала, сама себя стыдясь. Словом, порядочная была женщина. В начале января, по причине школьных каникул, она стала водить своего мальчонку с собой на работу, и бледноволосый отрок, сидевший в бельевой и выглядывавший из-за материнской спины белейшим лобиком со светлыми щеточками у основа-

ния бровей, сразил профессора в самое его больное и порочное сердце.

Возможный пассаж о связи этих двух явлений, болезни и греха, об их тонких взаимных касаниях и перетеканиях оставляем на рассмотрение психоаналитиков и святых отцов: и те и другие на этих опасных просторах вволю попаслись.

Николай Романович прогуливался часами по больничному коридору и заглядывал в приоткрытую дверь бельевой, ухватывая нацеленным взглядом то острый локоток в штопаном синем свитере, легко елозящий по столу (он что-то рисовал), то мелькающие штуки пожелтевшего от автоклавирования казенного белья. А то вдруг и предстанет в просвете двери во весь рост светлое изящное существо, настоящий гаремный мальчик, ну разве что чуть-чуть не дорос, еще два-три годика набрать. Двенадцать — сладчайший возраст...

Иногда мальчика кормили в столовой для ходячих больных, и он сидел за угловым столиком, где наспех ели врачи. Спинка прямая, серьезный, испуганный. Николай Романович хорошо разглядел его бледно-голубые глазки, немного косящие, когда он смотрел вправо, и белесые ресницы, пушистые, как созревшее одуванное семя.

— Тоня! Тоня! — позвала кастеляншу старшая сестра, заглянув в столовую, и Антонина Ивановна отозвалась ласковым рыхлым голосом:

— Аюшки!

Вот как раз при звуке этого голоса Николая Романовича и прошило озарение: а не попробовать ли устроить свою жизнь иным способом?.. Конечно же она домашний человек, экономка, няня... На основании честного брачного договора: ты — мне, я — тебе.

Шел Николаю Романовичу пятьдесят пятый год, возраст почтенный. Так и запишем: никаких постельных радостей не ждать, не рассчитывать, однако отдельная комната, полное обеспечение, уважение, разумеется. С вашей стороны, дорогая Ксантиппа Ивановна, ведение домашнего хозяйства, хранение домашнего очага, то есть: стирка, готовка, уборка. Сыночка усыновлю, воспитаю наилучшим образом. Образование дам. О да,

и музыка, и гимнастика... Ганимед легкобегущий, пахнущий оливковым маслом и молодым потом... Тише, тише, только не вспугнуть прекрасной мелодии. Постепенно, чудесным образом растет в доме нежный ребенок, превращается в отрока... дружок, ученик, возлюбленный... И в эти алкионовы дни он будет своим трудолюбивым клювом вить гнездо своего будущего счастья.

Антонина-кастелянша сначала растерялась: с чего бы это? Но счастье, как ветер, приходит и уходит, не отчитываясь. Ну, привалило: комната восемнадцать с половиной метров, с балконом, этаж пятый, окна во двор, дом шикарный, на улице Горького, в нем и актеры, и генералы, и кто хочешь. Все богато и прочно. Сам нежадный: на питание выдает щедро, да питание-то какое — из кремлевского распределителя, не велел никому рассказывать. И сдачи никогда не спрашивает. Чистоплотный — белье меняет раз в три дня, а носки чуть не каждый день. В ванной полощется, как утка, а в бане по субботам все равно полдня проводит. Ходит чисто и ботинки сам трет, и брюки сам гладит. Вы, говорит, так не сможете. Подружкам, которые уж очень интересовались, со всей простотой отвечала: насчет того-этого, нет, не скажу. Да я живого-то... уж сколько лет не видала, и да ну его совсем, я уж и так привыкла. Прям даже не знаю, за что так повезло, со Славкой возится, как отец родной. Хотя, правду сказать, со мной-то он больше молчком молчит. Да и о чем ему со мной-то разговаривать, если подумать-то? А уж культурный, одно слово сказать, профессор...

В последнем, надо сказать, она не ошибалась: был и культурным, и профессором. Философы-античники, как и породистые собаки, плохо приживались на скудном пайке социализма. Но как раз Николай Романович нашел для себя грядочку, копал, поливал и унавоживал на ней кустик марксистско-ленинской эстетики, поскольку еще в канун революции успел завершить свое образование и даже едва не защитил диссертацию по теме «Сущность платоновской диалектики в интерпретации Альбина и Анонима». Вот это самое волшебное словечко «диалектика» и открыло перед Николаем Романовичем

царские врата в новую жизнь, то есть в Социалистическую Академию, на должность преподавателя античной философии. В Академии он был единственным сотрудником, владевшим древнегреческим и латынью, и его постоянно использовали как «цитатчика» высокопоставленные начальники, включая и самого Луначарского, так что он десятилетиями теребил то Платона с Аристотелем, то Канта с Гегелем, отыскивая верное научное решение эстетических задач, в которых все эти домарксовы ученые путались, как слепые кутята. Он так поднаторел в теории искусства и критериях художественности, что ни одно постановление ЦК ВКП (б) по части культуры и искусства без его участия не составлялось — хоть об опере Вано Мурадели «Великая дружба», хоть о «Катерине Измайловой» Шостаковича. Он нисколько не страдал от раздвоенности: гибкая диалектика, как опытный проводник в горах, извилисто проводила его по самым сомнительным местам.

Но все-таки служил Николай Романович — увы! — двум господам. Вторым его господином, властным и тайным, была его несчастная склонность к мужскому полу. С самых юных лет она давила ему на темечко, поднимала артериальное давление и вызывала тахикардию. Страшно нависала сто двадцать первая статья. Ни один враг народа, истинный или дутый, ни один оппортунист или оппозиционер не испытывал такого бездонного страха, как те, кто жил под угрозой этой с виду невзрачной статьи. Это было реальное, невыдуманное тайное общество мужчин, узнающих друг друга в толпе по тоске в глазах и настороженности в надбровьях, — вроде масонов с их тайными знаками и особыми рукопожатиями. Свинцовый век, пришедший на смену серебряному, разметал по свету утонченных юношей, порочных гимназистов и миловидных послушников, оставив для Николая Романовича и ему подобных опасные связи с алчными и жестокими молодыми людьми, с которыми ухо востро, потому что предадут, разоблачат, оклевещут, посадят... Лишь однажды в зрелой жизни Николая Романовича у него возникли длительные и глубокие отношения с молодым историком, мальчиком из хорошей семьи, погибшим на фронте, но прежде гибели совершенно измучившим Николая Романови-

ча психопатически издевательскими письмами, полными оскорбительных намеков.

Славочка открывал новую эру в жизни Николая Романовича. Заветная мечта профессора обещала исполниться: он вырастит себе возлюбленного, и любовь мудрого воспитателя принесет мальчику пользу — о да! — разумную пользу. Он вылепит из него свое подобие, вырастит нежно и целомудренно. Будет Николай Романович истинным педагогом, то есть рабом, не жалеющим своей жизни для охраны и воспитания возлюбленного.

«Клянусь собакой! — мысленно произносил Николай Романович, склоняясь над спящим мальчиком, проживавшим теперь в его квартире, правда, в материнской комнате, на обитой светло-оранжевым плюшем кушетке, в зыбком свете головастого торшера. — Все так и будет...»

— Голубчик ты мой, — шептал Николай Романович, подтыкая с боков одеяло.

В эти вечерние часы разрешено было Антонине Ивановне приложиться к рюмочке для сна. Под присмотром Николая Романовича, умеренно. И в самом деле был он педагогом, ничего из виду не выпускал.

В первый же год их семейной жизни Николай Романович отдал мальчика в музыкальную школу, на духовое отделение. Флейтиста из него не получилось, но в музыку он вошел, как в дом родной, дарование его как раз в том и заключалось, что слышал он музыку, как бог. Так что даже и в этой утонченной области получил себе Николай Романович партнера: отчим с пасынком ходили теперь вдвоем в консерваторию, наслаждаясь искусством, наименее пригодным для анализа его с классовых позиций.

Консерваторским завсегдатаям тех лет примелькалась эта парочка — субтильный пожилой мужчина в крупных очках на мелочном личике и тоненький юноша с аккуратно постриженной светловолосой головой, в черном свитерке и выпущенным поверх круглого выреза воротом белой пионерской рубашки. Московские мелогомофилы — вот неразгаданная таинственная корреляция — корчились от зависти, когда

Николай Романович покупал в буфете два лимонада и два пирожных. Но доносов на него не писали — слишком страшно жили.

Там, при консерватории, образовался в те годы некий круг посвященных, без обозначенных границ, но с узнаваемыми, заметными лицами. Кроме тайных единоверцев Николая Романовича и обыкновенных любителей к этому кружку примыкали, разумеется, и профессионалы. И некоторые Славочкины соученики по музыкальной школе. Например, девочка Женя, юная виолончелистка, приходила обыкновенно с папой или с мамой. Женя все шептала что-то Славе на ушко и тянула его за рукав в сторону, все в сторону...

— Милая девочка, — говорил Николай Романович своему питомцу, — но очень уж неудачной внешности...

Но это было не так. Внешность девочки была вполне приемлемая: темные глазки, кудряшки, бантик клетчатый. Просто сердце Николая Романовича на мгновенье сжимала темная ревность. Ни к чему нам эти девочки. Впрочем, ему досталось все, о чем только мог мечтать Гумберт Гумберт: золотистое детство, обращающееся на глазах в юность, почтительная дружба ученика и полнейшая и доверчивая взаимность, заботливо выращенная гениальным, как оказалось, мастером нежных прикосновений, дуновений, скользящих движений.

На шестьдесят пятом году жизни в собственной постели во сне Николай Романович умер от закупорки сердечной аорты, как и упомянутый уже господин. Умер, насыщенный молодой любовью своего «голубчика», в полном согласии со своим «даймоном», так и не прочитав романа, наполненного высоковольтным током набоковского электричества, и не ощутив глубокого родства с его несчастным героем.

Осиротевший Славочка, к тому времени студент первого курса философского факультета МГУ, остался после смерти воспитателя в глубоком недоумении. Пока еще шли занятия, разбирали логику и пропедевтику диамата в старом здании философского факультета, что окнами выходил на анатомический театр Первого медицинского, было еще ничего, но потом настало летнее каникулярное время, которое Слава привык про-

водить с отчимом в пансионате в Пярну, и тут он впал в депрессию — залег в кабинете отчима, слушая его любимые пластинки и с трудом поднимаясь, чтобы перевернуть на вторую сторону или поставить новую.

Старый эстетик сыграл недобрую роль: голубчик его теперь не знал, как жить дальше, — без водителя он не умел. Друзей не было. Тщательно сберегаемая тайна его отношений с отчимом ограждала его от остальных людей непроницаемой стеной. От матери он был далек. Он давно уже относился к ней точно, как Николай Романович: корректно и инструментально. Последние четыре года он вместе со своей оранжевой кушеткой пребывал в кабинете Николая Романовича, спасаясь от материнского храпа.

Наследство после отчима осталось по тем временам ошеломляюще огромное: стопочка сберегательных книжек, часть из которых была на предъявителя, часть именных, с завещанием на имя Славы. И одна, самая скромная серенькая книжечка на три тысячи рублей, завещана была Антонине Ивановне. Ее Слава вручил матери, которая руками всплеснула от радости. Не ожидала такого богатства и слетела с катушек: вместо разрешенной Николаем Романовичем стограммовой стопочки брала теперь четвертинку, да и не только вечером. Часам к девяти Антонина Ивановна засыпала, как обыкновенно, нерушимым сном, а Слава выходил на улицу пройтись, подышать густым бензиновым воздухом, посидеть на пыльной лавочке Тверского бульвара, неподалеку от самодеятельного шахматного клуба, куда стекались на ночь глядя фанатики клетчатой доски — пенсионеры и несостоявшиеся шахматные гении. Туда же забрела в один из душных вечеров и музыкальная девочка Женя.

Женя происходила из хорошей, насквозь музыкальной семьи, несущей свою музыкальность, как иные семьи несут наследственный недуг — гипертонию или диабет. В предках числились итальянская оперная певица, чешский органист, немецкий капельмейстер. Но главным Бахом в семье был Женин дедушка. Имя его и по сей день значится на почетной доске медалистов Московской консерватории, в компании Скрябина.

Композиторство дедушки не поднялось выше посредственного уровня, в духе времени и культуры тех лет. Модерн его зачаровал, но ни дерзости Дебюсси, ни оригинальности Мусоргского ему не было отпущено. Известен он был как исполнитель, виолончелист, как педагог и музыкальный деятель — председатель разнообразных музыкальных обществ и собраний, распределитель стипендий для бедных одаренных детей и вспомоществований для старых оркестрантов. Словом, он был настоящий русский интеллигент сборных кровей, без капли русской, между прочим. Семья была большая, все близко к музыке — старший брат его был скрипичный мастер, младший, неудачливый, — переписчиком нот.

Женя деда своего не знала: их разделяли три десятилетия, между которыми пролегли две мировые войны. Дед умер сорока двух лет, в один день с эрцгерцогом Фердинандом, то есть в начале Первой мировой войны, а она родилась в последний день Второй.

В качестве бунта или каприза в семье вдруг возникал какой-нибудь отступник дядя Лева, перекинувшийся в бухгалтеры, или тетя Вера, изменившая музыке с сельскохозяйственной наукой. Отступником был и отец Жени, Рудольф Петрович, соблазнившийся в свое время военной карьерой. Из-под своей полковничьей папахи он всю жизнь тосковал по музыке, болел ею, но инструмента не касался. Зато дочь свою он решил непременно вернуть к семейной традиции и определил на виолончель. И дом их, полный фотографий всяких великих с автографами, пыльных нот и непогребенных клавиров опер, наполнился живыми звуками гамм и упражнений. Женечка обещала стать настоящим исполнителем, и сам Даниил Шафран ее отметил и покровительствовал ей. Известность ее деда в музыкальном мире прибавляла ей привлекательности, но к тому же она обладала своим собственным трудолюбием и усидчивостью и с отроческого возраста проводила по многу часов, растопырив ноги и заключив между разведенными коленями малютку виолончель, ученическую игрушку. Она росла, и вместе с ней росло чудо — инструмент оказывался скоропослушен: едва тронешь его смычком, как он отзывался такими глубоки-

ми бархатными звуками, слаще которых не бывало. И разве можно было сравнить с широким и гибким голосом виолончели сухой и шероховатый голос скрипки, простоватость альта или однообразную меланхолию контрабаса...

В то лето она впервые осталась одна в городе, родители жили на даче, а она готовила свою первую концертную программу. Вечерами выходила на прогулку.

Встретившись случайно на лавочке Тверского бульвара, оба безмерно обрадовались. Каждый из них переживал период одиночества: Женя — временного, но очень острого, потому что первый раз в жизни осталась в доме одна, Слава, как ему казалось, окончательного и пожизненного. Но говорили они только о музыке. К тому же у них было и общее поле воспоминаний — музыкальная школа на Пушкинской площади, куда оба они так долго ходили и от которой теперь не осталось и следа. На ее месте высилось уродливое здание «Известий». Общие уроки сольфеджио, хоры, ученические концерты... Они проговорили до позднего вечера. Потом он проводил ее домой, на Спиридоновку, а дорогой, неожиданно для самого себя, сказал ей:

— А у меня отчим умер.

Эти слова он произнес вслух в первый раз и поразился тому, как они прозвучали. Как будто что-то изменилось в воздухе и именно от произнесения этих слов Николай Романович умер окончательно.

Женя, что-то почуявшая, встрепенулась:

— Ты очень любил его?

— Он был мне больше, чем отец...

Это прозвучало так скорбно и благородно, что Николай Романович мог бы порадоваться.

— Бедненький! Я бы с ума сошла, если бы с папой что-нибудь такое случилось. — Она была так далека от смерти в свои восемнадцать лет, что даже слово «умер» не умела произнести.

Она затрясла головой, отгоняя от себя смертную тень, и рот ее сморщился сочувствием, но сказала она детскую глупость:

— Давай мороженого съедим! Много-много...

— Да где же его в такое время взять? — улыбнулся Слава, тронутый столь полным сочувствием.

— У меня в холодильнике. Родители на даче, а я ничего другого не покупаю.

Мороженое было превосходным, с кусочками замороженной клубники или ледяными ягодками черной смородины, его приносила в кастрюльке с сухим льдом соседка снизу, работавшая в кафе «Север» официанткой. Воровали все, кому было чего украсть.

После мороженого Женя вынесла из отцовской комнаты торжественную пластинку в черно-белом конверте:

— Караян. Из Германии привезли. Ты такого Вагнера сроду не слышал.

Она благоговейно опустила на диск проигрывателя мерцающую пластинку. Оркестровая версия «Тристана и Изольды». Оркестр звучал так, как будто играли не люди, а демоны. Они прослушали ее два раза подряд, и под эту вздыбленную музыку, именно где-то в районе смерти Изольды, Женя влюбилась в Славу. Ни с кем, даже с отцом, не слушала она так хорошо, так совместно. И он всей душой к ней рванулся: такая милая, ласковая, глаза черные, умные, живые кудряшки трепещутся надо лбом...

— Какая мужская, крепкая музыка, — заметила Женя, когда Караян отгрохотал.

— О да, — согласился Слава, про себя удивляясь: как она может это понимать...

Во рту еще долго сохранялся вкус клубничного мороженого, зернышки ягод покалывали десну, и какой-то вкус остался и в душе от совместного переживания этой буйной густоокрашенной музыки.

Весь август он ходил к ней в гости. Поздними вечерами, когда спадала жара и на Тверском бульваре собирались ночные шахматисты, он возвращался домой в хорошем настроении — депрессия его проходила. Это сочетание ощущений ночного бульвара, Вагнера и тающего мороженого накрепко связалось с Женей.

Когда наступила осень и родители Жени вернулись в город, начались занятия и встречаться они стали реже, хотя каждый день подолгу разговаривали по телефону о концерте Рихтера, о чудном альбоме Сомова, который Слава купил в букинистическом на Арбате, следуя привычке покойного отчима прогуливаться с деньгами в кармане по антикварным и букинистическим. Николай Романович никогда не был настоящим коллекционером, но разбирался понемногу в изделиях материального мира — даром, что ли, был убежденным материалистом.

В конце лета Жене казалось, что у нее, наконец, начинается настоящий роман, но все почему-то застопорилось на хорошей дружеской ноте и никак не развивалось дальше, хотя Женя очень желала чего-то большего, чем маленькие кусочки мороженной клубники или ледяные ягодки черной смородины.

Слава чувствовал постоянное ожидание, исходящее от Жени, и слегка нервничал. Он очень дорожил их общением, благородным домом, куда он попал, да и самой Женей, чуткой и к литературе, и к музыке, и к нему, Славе. Влечения он к ней испытывал столько же, сколько к фонарному столбу. И с этим, кажется, ничего нельзя было поделать.

В свои девятнадцать лет он твердо знал, что относится к особой и редкой породе людей, обреченной таиться и прятаться, потому что мягонькие наросты, засунутые в тряпочные кульки, вызывают у него брезгливость и ассоциируются с большой белой свиньей, облепленной с нижней стороны сосущими поросятами, а само устройство женщин с этим волосяным гнездом и вертикальным разрезом в таком неудачном месте представлялось ужасно неэстетичным. Сам ли он об этом догадался, или Николай Романович, эстетик, ему тонко внушил, не имело теперь значения. Женя ему очень нравилась, и от одиночества она его спасала, но физическая тоска его не уходила, а только нарастала.

Простившись с Женей, он садился обыкновенно на Тверском бульваре неподалеку от шахматистов на одну и ту же лавочку и разглядывал редких прохожих с робким мысленным вопросом: он? не он? Однажды рослый красивый блондин посмотрел на него внимательно, и он весь напрягся, потому

что ему показалось, что взгляд этот был особо содержательным. Но тот прошел мимо, оставив Славу в сладком поту, с сердцебиением. Странно, но сердце его словно вторило тому, страдающему стенокардией.

«И в этом мы тоже похожи, — констатировал Слава. — Меломаны, сердечники, эстеты...»

Он заблуждался, истинная картина была значительно сложнее, но заблуждение такого рода вполне понятно: эпоха суперменов в кожаных одеждах и металлических цепочках, гомосексуалистов с накачанными шарами мышц, высокомерно и презрительно взирающих на «натуралов», еще не наступила, ковбои же воспринимались как секс-символ, желанный для женской половины мира, дырчатых алчных созданий, а не как коровьи мальчики, пастухи с задницами, разбитыми грубыми седлами, предающиеся однополой любви за полным отсутствием баб в округе...

Слава весь принадлежал античности в том романтическом виде, какой она представлялась поверхностным ученым девятнадцатого века — ведь и сам Маркс что-то бормотал о «золотом детстве человечества».

Вероятно, с огромного расстояния в несколько тысяч лет картина исказилась, и самое кровавое и разнузданное язычество, с его ярким политеизмом, в котором все сущее обожествлялось, одухотворялось и пускалось во все тяжкие — нимфы, наяды, сатиры, самые мелочные боги луж и придорожных канав, а также лебеди, коровы, орлы, пастухи и пастушки устраивали беспрерывную оргию не ограниченного ни в чем совокупления — и все это содрогающееся язычество почему-то называлось античным материализмом. В этом заблуждении и состояла вера Николая Романовича, он передал ее в полном объеме своему воспитаннику вместе со своим сугубо личным пристрастием, которое он прививал осторожно и терпеливо с помощью опытных пальцев, нежного, в проницательных вкусовых сосочках, языка и старенького увядшего копья.

У гениального учителя оказался гениальный ученик, и он теперь изнемогал всем своим сверхчувствительным телом от нерастворимого одиночества: тосковали светлые тугие воло-

сы, тосковал рот, грудь и живот, бедра и ягодицы. И райский сад, и роза Содома, как говорил Николай Романович. Да, да... Форель разбивает лед...

В начале октября, в один из темных, но еще теплых вечеров затянувшегося бабьего лета Слава высидел себе на Тверском бульваре нового учителя. От группы темных фигур, сгрудившихся под фонарем, освещавшим шахматные доски, к нему подошел человек лет сорока в холщовой кепочке, с красивым лицом, которое могло быть еврейским, в клетчатой старомодной ковбойке. Сняв кепку с раздутого луковкой черепа, присел на край развалистой скамьи. Он весь был как будто под давлением — глаза слегка вылезали из орбит, а щетина перла со страшной силой так густо, что только на носу оставалась незаросшая поляна. Николай Романович, напротив, всегда слегка проминался, как подспущенный баллон. Подошедший уперся волосатыми кулаками в край скамьи и обратился к Славе очень свободно:

— Ваше лицо мне знакомо. Вы, простите, в шахматы не играете?

Сердце заколотилось неровно, заплясало под дурную музыку: он?

— Играю немного.

Человек засмеялся:

— Немного даже моя бабушка играла... Так, по крайней мере, она думала. Сейчас мы это проверим.

Человек вынул из кармана маленький кожаный ящичек, раскрыл. Фигуры были расставлены — остренькие штыри крепились в прорезях кожаной доски.

— Ваш ход.

Руки у Славы тряслись так, что он еле-еле смог ухватить шахматную фигуру. Он сделал первый ход Е2 — Е4... И успокоился. Сомнений не было: это был он. Шахматист выдернул легонько черную пешку на острой ножке, задержал ее между большим и средним пальцем, пробормотал:

— Так рано стало темнеть... — и вонзил пешечку в светлый квадратик.

В тот вечер шахматисту показалось, что глаза у Славы зер-

кально-черные, как вошедшие в моду солнечные очки, но это впечатление было ошибочным, просто зрачки были так расширены, что голубая радужная оболочка сплющилась по окружности глаза.

— Давайте-ка эту партию доиграем у меня дома... Уж больно темно.

Шахматист сложил шахматы, нахлобучил кепочку, и они пошли на троллейбус. Слава не спрашивал, далеко ли ехать. Его колотило от предчувствия, а шахматист время от времени клал ему руку то на плечо, то на колено. Доехали до Цветного бульвара, там вышли и завернули в какой-то глухой переулок. Зашли в запущенный подъезд трехэтажного дома, и, пока поднимались по лестнице, шахматист сказал, что живет с мамой, что мама была в молодости красавицей, актрисой, а теперь почти слепая и совершенно безумная.

Квартира оказалась маленькой и очень грязной. Время от времени мама подавала за стеной недовольный голос, а потом запела романс. Партию не доигрывали. Потому что была любовь. Сильная мужская любовь, о которой прежде Слава смутно догадывался. Пахло вазелином и кровью. Это было то самое, чего хотелось Славе и чего Николай Романович не мог ему дать. Брачная ночь, ночь посвящения и такого наслаждения, что никакой музыке и не снилось. У Славы началась новая жизнь...

Хоронили Валиту за казенный счет. С уверенностью никто не знает, хоронили ли вообще. Возможно, разъяли на органы, залили их формалином и отдали на растерзание тем студентам, которые окнами выходят на философов. Или другим. Но это маловероятно. Экспертиза установила, что тело пролежало дней пятнадцать — семнадцать, прежде чем было обнаружено в укромном уголке Измайловского парка гражданином спортивного вида, прогуливавшим фокстерьера.

Почему Евгения Рудольфовна подала в розыск, трудно объяснить. За сорок с лишним лет их знакомства он пропадал много раз, на разные сроки. Особенно длинным был первый. Сначала ему дали пять лет, а уж там еще добавляли, так что

исчез он тогда почти на десять. Это было не по своей воле. Потом объявился, но уже не Славой, а Валитой. Такое образовалось у него прозвище. Он Евгении Рудольфовне кое-что рассказывал, но ничего такого, что могло бы ее напугать или смутить. Он ее в некотором смысле берег.

Она не то чтобы Славу любила, нет, конечно, но она любила воспоминания своей молодости и помнила, как была влюблена в светлого одухотворенного мальчика, как слушали они музыку и как страдал он от несовершенства тогдашней звукозаписи: у Караяна шесть пиано и восемь форте, а здесь все слипается... Жалко было этого бедолагу, изгоя, лишившегося всего, чего только можно было лишиться: имущества, зубов, светлых волос и московской прописки, которую он, впрочем, вырвал из зубов у жизни, женившись на какой-то пропадающей алкашке, и прописался к ней на улицу с ласковым названием Олений вал. Осталось у него от всех его богатств только редкое дарование слышать музыку да барские руки с овальными ногтями.

Вот уже много лет, как приходил он к Евгении Рудольфовне в театр, в обширный ее кабинет с медной табличкой «Завмуз» на солидной двери. И сотрудники его знали, и гардеробщики пускали. Обычно она давала ему немного денег, варила кофе и доставала из дальнего уголка шкафа шоколадные конфеты. Он был сладкоежка. Иногда, когда было время, она ставила ему какую-нибудь музыку. Впрочем, он признался, что музыки давно уже не любит — любит только звуки. Она не совсем поняла, что он имеет в виду. В этой области он разбирался лучше, чем она, заведующая музыкальной частью известнейшего московского театра. Бесспорно. И она это отлично знала.

Сидел он в кабинете недолго, стеснялся сам себя, как стеснялась себя когда-то его покойная матушка Антонина Ивановна.

Месяца два он не заходил, и Евгения Рудольфовна его не вспоминала. Как-то в субботу вечером пошла в консерваторию. Играли 115-й опус Брамса, кларнетный квинтет, немыслимо трудный для исполнения. В последней части, когда уже

почти душа вон, просто в поднебесье улетаешь, вспомнила Славу. Как он со своей блокфлейтой в маленьком угловом классе занимался с преподавательницей Ксенией Феофановной, толстой дамой в шелковом балахоне, краснолицей и грубой, а она, Женя, влетела почему-то в класс и остановилась в испуге от собственной наглости... Сорок лет назад, в музыкальной школе, от которой ни кирпичика... Брамс кончился, и с последними звуками она почувствовала, что Славы больше нет.

Сделала запрос через справочную. Славу не обнаружили ни на Оленьем валу, ни на какой другой улице, и она позвонила в милицию. С ней разговаривали грубо, но через день вызвали ее сами, на опознание. Опознавать там было нечего. Это было какое-то черное тряпье, почти земля, очень страшная земля. Только рука была человеческая, с овальными благородными ногтями.

Потом разговаривала со следователем. Следователь был немолодой, одутловатый и знал так много, что можно было бы и поменьше. Он не получил от Евгении Рудольфовны ничего для себя интересного. Преступление было из тех, которое раскрыть было несложно, но гомосексуальными убийствами милиция не особенно интересовалась. Они копились, копились, а потом их вешали на какого-нибудь маньяка из числа пойманных. Да и кому, кроме маньяка, нужно было убивать Валиту, человека, у которого ничего не было, кроме безумной жажды быть любимым... быть любимым мужчиной... любимым мужчиной...

Дома Евгения Рудольфовна долго рылась в детских фотографиях и нашла ту, которую искала. На остальных была девочка Женя с виолончелью. А на этой снят зал во время школьного концерта. Рудольф Петрович снимал. Во втором ряду хорошо видны они оба — Николай Романович в сером костюме и в полосатом галстуке и двенадцатилетний Славочка в белой пионерской рубашке с расстегнутой верхней пуговкой. Такое милое лицо, светленький такой, голубчик... И как его Николай Романович любил. Как любил...

Перловый суп

Почему ранняя память зацепилась трижды за этот самый перловый суп? Он был действительно жемчужно-серый, с розоватым, в сторону моркови, переливом и дополнительным перламутровым мерцанием круглой сахарной косточки, полузатопленной в кастрюле.

Вечером, после запоздалого обеда, мама перелила часть супа в помятый солдатский котелок и дала его мне в руки. Я спускалась по лестнице со второго этажа одна, а мама стояла в дверях квартиры и ждала. Эта картина осталась у меня почему-то в этом странном ракурсе, сверху и чуть сбоку: по лестнице осторожно спускается девочка лет четырех в темно-синем фланелевом платье с клетчатым воротничком, в белом фартучке с вышитой на груди кошкой — в одежде, соответствующей дореволюционным идеалам моей бабушки, полагающей, что фартук именно потому должен быть белым, что на темном грязь плохо видна, — коротенькая толстая косичка неудобно утыкается сзади в шею, но поправить невозможно, потому что в одной руке теплый котелок с супом, а другой я держусь за чугунные стойки перил.

Туфли на пуговицах немного скользят по стертым ступеням, и потому я иду младенческими приставными шагами, с большой опаской.

Я спускаюсь на марш, поворачиваюсь, вижу маму, которая терпеливо ждет меня в дверях и улыбается своей чудесной улыбкой, от которой красота ее немного портится.

Я вздыхаю и продолжаю спуск. Внизу, под лестницей, в каморе, живет пара нищих, костлявый носатый Иван Семенович и маленькая старушка по прозвищу Беретка. Я их боюсь и брезгаю, но мама, как мне кажется, об этом знать не должна.

Под лестницей нет электричества, иногда у них горит керосиновая лампа, иногда совсем темно. Обыкновенно Иван Семенович лежит на какой-то лежанке, покрытой тряпьем, а Беретка, в вытертом бархатном пальто и серо-зеленой вязаной беретке, сидит у него в ногах.

Я стучу. Никто не отзывается. Спиной я открываю дверь. Керосиновая лампа выдает мне Беретку, которую без головного убора я сначала не узнаю. Оказывается, она лысая, вернее, не совсем лысая: и лицо и голова ее покрыты одинаковыми редкими длинными волосами и крупными коричневыми родинками. Она жалко улыбается и суетливо натягивает на лысую голову берет:

— Ой, детка, это ты, а я и не слышу...

Я отдаю ей котелок, из кармана фартука вынимаю два куска хлеба и говорю почему-то «спасибо».

Беретка переливает суп из котелка в банку и бормочет что-то неразборчивое, похоже на «мыло, мыло».

Сухой грязной рукой возвращает мне котелок. Старик кашляет. Беретка кричит ему:

— Иван Семенович! Вам покушать прислали, вставайте!

Пахнет у них ужасно.

С облегчением бегу я вверх по лестнице, мама стоит на свету, в дверном проеме и улыбается мне. Она в белом фартуке, даже с кружевной ленточкой на груди. Мама красивая, как принцесса. Одно только смущает: кажется, у принцесс белокурые волосы, а у мамы веселые черные кудряшки, подхваченные сзади двумя заколками...

Нищие исчезли незадолго до праздника, который я запомнила очень хорошо. Отец вел меня за руку по нарядному городу, и повсюду были выставлены косые красные кресты. Я начинала тогда разбирать буквы и спросила у отца, почему всюду написано «ХА-ХА-ХА...». Он раздраженно дернул меня за руку,

а потом объяснил, что эти косые кресты означают еще цифру тридцать.

Вечером того же дня, уже лежа в постели, я слышала, как мама говорит отцу:

— Нет, не понимаю, отказываюсь понимать, кому они мешали...

— Город к празднику почистили... — объяснил ей отец.

Во второй истории перловый суп не был главным действующим лицом, а лишь скромно мелькнул на заднем плане.

Воскресным утром в дверь позвонили. Один раз, а потом еще один. Дверь в нашу комнату была первой по коридору. Один звонок был общий, два — к нам, три — к Цветковым... восемь — к Кошкиным.

— Вероятно, это общий, — пробормотала мама. Коленями она стояла на стуле, а локтями упиралась в стол. Таблицы с синими, красными и взятыми в кружок цифрами лежали перед ней. Две мелкие морщины образовывали между бровей деревце, когда она работала.

Она спрыгнула со стула и, все еще неся напряжение мысли на круглом умном лобике, пошла открывать.

Огромная темная женщина стояла в дверном проеме. На ней был длинный военный плащ до полу, ярко белел пробор на круглой толстой голове.

Мама смотрела на нее выжидающе, и тетка не обманула ожидания: она распахнула плащ и предъявила огромное голое тело. У меня дыхание перехватило от этого зрелища: грудь низко свисала и оканчивалась большими, чуть не с чайное блюдце сосками, пупок был размером с чашку, выпуклый и тоже темный, глубокий неровный шов шел поперек живота, над треугольной бородкой вытертых волос, и все вместе это было каким-то страшным великанским лицом, а не женским телом.

— Погорельцы мы! Все-все погорело... как есть... — сказала женщина немосковским мягким голосом и запахнула ужасный лик своего тела.

— Ой, да вы заходите, заходите, — пригласила мама, и женщина, озираясь, вошла.

Прихожая нашей многосемейной квартиры была заставлена сундуками, корытами, дровами и шкафами.

— Я сейчас, сейчас, — заторопилась вдруг мама. — Да вы сядьте, — и мама сняла ящик с венского стула, который был втиснут между Цветковским сундуком и тищенковской этажеркой.

Мама кинулась в комнату, вытянула нижний ящик шкафа, села перед ним и стала выбирать из старого белья подходящее для погорелицы. Две длинноногие пары дедовых кальсон бросила она на пол и побежала на кухню. Разожгла примус, поставила на него кастрюлю и снова метнулась в комнату.

Женщина сидела на стуле и все разглядывала рогатую вешалку Кудриных, на которой висели ватник и шинель.

А мама выбросила все с полок шкафа и быстрыми пальчиками перебирала свои тряпки. Мама была маленького роста, и все ее вещи были маленькие, но она нашла то, что искала, — бабушкину коверкотовую юбку и старинную огромную рубаху из пожелтевшего батиста.

И снова мама побежала на кухню, а я понеслась за ней, потому что боялась остаться наедине с тем великаном, что был спрятан у тетки под плащом.

Сосед Цветков высунулся в коридор.

— Погорельцы вот, — сказала ему мама виноватым голосом, но он быстро захлопнул свою дверь.

Мама налила большую миску переливчатого перлового супа, отрезала кусок серого хлеба и вынесла погорелице.

— Вот покушайте пока, — попросила мама тетку, и тетка приняла миску. — Ой, да так неудобно, — всполошилась мама и притащила газету. Постелила ее на покрытый синекрасным ковром Цветковский сундук, усадила женщину как бы к столу.

— Дай тебе Бог здоровья, — сказала женщина и принялась за суп.

А я наблюдала сквозь щель неплотно прикрытой двери, как лениво она ест перловый суп, бросая в него кусочки хлеба, скучно водя ложкой в миске и посматривая по сторонам.

Зубов у нее не было.

 «Видно, и зубы сгорели, — подумала я. И еще: — Она тоже не любит перловый суп».

А мама засовывала в узел шелковое трико лососинового цвета с луковыми заплатами и говорила тихонько не то мне, не то самой себе:

— Господи, ну надо же такое, чтоб прямо голой, на улицу...

А женщина доела суп, поставила миску на пол... встала, распахнула плащ... глаз я не могла отвести от ее странных тихих движений.

Наконец мама выволокла узел в коридор:

— Вот. Собрала... Да вы оденьтесь, оденьтесь. У нас ванная комната есть, — предложила мама.

Но женщина отклонила предложение:

— Детки меня ждут... Мне бы деньжонок сколько-нибудь... — А мама уже вынимала сложенную в четыре раза тридцатку. — Спасибо, век вашу доброту не забуду, — поблагодарила женщина скороговоркой, и мама закрыла за ней дверь.

Потом, собирая с полу разбросанные вещи, мама говорила мне в некотором недоумении:

— А штаны сразу могла бы надеть, правда?

Я не сразу ответила, потому что мне кое-что надо было обдумать и понять.

— Штаны холодные, — сообразила я наконец, — а ковер теплый.

Было солнечно и снежно, с детьми в такую погоду полагалось гулять.

— Может, погуляешь сама под окошечком? — извиняющимся голосом предложила мама, кося на свои таблицы.

Я согласилась великодушно. Мама бросила в меня ворохом шерстяной одежды — кофтами, рейтузами, варежками и носочками. Меня снарядили, подвязали поясом желтую плюшевую шубу, сшитую бабушкой из старого покрывала, желтую шапку из того же самого покрывала застегнули под подбородком, дали лопату и синее ведрецо и вывели на лестницу... Прямо перед нашей дверью лежала разворошенная куча маминых вещей. И бедные отвергнутые трико лежали сверху.

— Ой, что же это... — пролепетала моя маленькая мамочка.

— Я же тебе говорю, штаны-то холодные, а ковер теплый... — все пыталась я объяснить маме положение вещей.

— Да какой ковер? — наконец услышала меня мама.

— Тот, что на сундуке лежал... Она его на себя надела, — объяснила я несмышленой маме.

И тогда мама вдруг всплеснула руками и захохотала:

— Ой, что же я наделала! Ну, Цветкова меня убьет!..

Моя мама была биохимиком, и любовь ее к восхитительно стеклянной науке происходила, вероятно, из того же милого женского корня, откуда произрастает любовь к стряпне. Как мне нравилось в детстве бывать в маминой лаборатории, разглядывать на высоких столах штабеля пробирок с разноцветными растворами, стройные, с птичьими носами бюретки, толстые темные бутыли. И как же ловко мама управлялась со всем этим сверкающим стеклом... Готовила мама тоже преотлично. И соуса, и пироги, и кремы... Дался же мне этот перловый суп! Не так уж часто мама его варила. Но в тот день был как раз перловый...

С колючим шарфом на шее я сидела в кухне на маленькой скамеечке и смотрела, как мама что-то химичит. Еще две соседки копошились у своих столов, мелко гремели посудой, звякали ножами.

И тут в кухню вошла Надежда Ивановна. Странная была старуха, вся в разноцветных заплатах. И на одном глазу, тоже вроде неуместной заплаты, сидело бельмо. Молча потянула она маму за рукав, и мама, бросив морковку и вытирая на ходу руки, мелкой своей походочкой пошла за ней, встревоженно спрашивая:

— Что? Что? С Ниной?

Нина была дочь Надежды Ивановны, взрослая девушка, тяжелая сердечница с ракушечными голубыми ногтями и синими губами, плохо закрашенными красной помадой.

Я было двинулась за мамой, но она почти грубо махнула мне рукой:

— Сиди здесь.

И я осталась сидеть, обиженно перебирая кисточки кусачего шарфа. Соседки, на минуту оторвавшись от хозяйства, снова застучали и загремели. Потом одна ушла со стопкой чистых тарелок, а вторая пошла отвечать по телефону, который был привинчен к стене в другом конце коридора.

Я сидела довольно долго, успела сплести все кисточки в одну перепутанную косичку.

А потом мама и Надежда Ивановна вернулись. Что-то переменилось. Они шли медленно. Мама, взявши соседку за плечо, усадила ее на табурет. Лицо Надежды Ивановны было неподвижное, белое, казалось, что у нее не одно бельмо, а два. В руке она держала картонный футляр от градусника. Мама ей тихо говорила:

— Мы сейчас валерьянки... валерьяночки... Надежда Ивановна...

— А если «скорую», так ведь увезут... — не меняя неподвижного лица, говорила соседка. И совсем невпопад: — А я думаю, спит-то как спокойно...

— Сейчас, сейчас... Позвоним... все сделаем, Надежда Ивановна, — торопливо говорила мама, громко капая в рюмку.

А соседка в коридоре кричала в телефон:

— Это тебе не отдел снабжения, Шура, ты имей в виду... Пусть заявку пишет, от меня не дождетесь!

Надежда Ивановна отвела мамину руку с протянутой рюмочкой и с лицом, как будто вдруг проснувшимся, сказала маме:

— Марина Борисовна, налей-ка ты мне тарелку супчику...

Мама заметалась, вытащила из-под меня скамеечку, потому что красивые тарелки стояли на верхней полке и она до них не доставала. Налила в белую фаянсовую тарелку с выпуклыми квадратиками по краю серебристого и переливчатого перлового супа, поставила тарелку на край кухонного стола. Вытерла серебряную ложку с тонким черенком свежим полотенцем и подала соседке.

— И ты поешь со мной, Марина Борисовна, — попросила Надежда Ивановна, и мама протерла еще одну ложку и, придвинув вторую табуретку, села рядом с одноглазой старухой и запустила ложку в ту же самую тарелку.

Мне очень хотелось сказать этой старухе, что мамочка моя никакая не Марина, что ее зовут Мириам, но сказать я не могла ничего, потому что они ели из одной тарелки, и слезы текли по лицу Надежды Ивановны, и не только из живого, но и из белого, неживого глаза, и по маминому лицу тоже текли слезы.

— Вкусный ты суп варишь, Марина Борисовна, — сказала Надежда Ивановна. — И чего ты в него ложишь?

Она последний раз облизнула ложку и положила ее рядом с тарелкой:

— Спасибо тебе. Отмучилась моя доченька.

...Давно никого нет. Нины, Надежды Ивановны. Мамы уже двадцать лет как нет. И перловый суп я никогда не варю.

СОДЕРЖАНИЕ

СКВОЗНАЯ ЛИНИЯ *(Повесть)* 7

РАССКАЗЫ

Второе лицо 91

Женщины русских селений... 118

Цю-юрихь 134

Орловы-Соколовы 164

Зверь 183

Пиковая Дама 199

Голубчик 230

Перловый суп 246

Людмила Улицкая

Сквозная линия

Повесть. Рассказы

Редактор Н. Крылова

Компьютерная верстка С. Бейлез

Корректор Е. Назарова

ООО «Издательство «Эксмо».
107078, Москва, Орликов пер., д. 6.
Интернет/Home page — www.eksmo.ru
Электронная почта (E-mail) – info@ eksmo.ru

По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо» обращаться в рекламное агентство «Эксмо». Тел. 234-38-00

***Книга — почтой:* Книжный клуб «Эксмо»**
101000, Москва, а/я 333. E-mail: bookclub@ eksmo.ru

Оптовая торговля:
109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2
Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Мелкооптовая торговля:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1.
Тел./факс: (095) 932-74-71

Сеть магазинов «Книжный Клуб СНАРК»
представляет самый широкий ассортимент книг
издательства «Эксмо».
Информация в Санкт-Петербурге по тел. 050.

Книжный магазин издательства «Эксмо»
Москва, ул. Маршала Бирюзова, 17 (рядом с м. «Октябрьское Поле»)

Подписано в печать с готовых диапозитивов 24.07.2002.
Формат 84x108 $^{1}/_{32}$. Гарнитура «Гарамонд».
Печать офсетная. Бум. офс. Усл. печ. л. 13,4.
Тираж 20 000 экз. Заказ 4492.

ОАО «Тверской полиграфический комбинат»
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.

Любите читать?
Нет времени ходить по магазинам?
Хотите регулярно пополнять домашнюю библиотеку и при этом экономить деньги?

Тогда каталоги Книжного клуба "ЭКСМО" – то, что вам нужно!

Раз в квартал вы БЕСПЛАТНО получаете каталог с более чем 200 новинками нашего издательства!

Вы найдете в нем книги для детей и взрослых: классику, поэзию, детективы, фантастику, сентиментальные романы, сказки, страшилки, обучающую литературу, книги по психологии, оздоровлению, домоводству, кулинарии и многое другое!

Чтобы получить каталог, достаточно прислать нам письмо-заявку по адресу: **101000, Москва, а/я 333.**
Телефон "горячей линии" **(095) 232-0018**
Адрес в Интернете: **http://www.eksmo.ru**
E-mail: **bookclub@eksmo.ru**

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ

СКВОЗНАЯ ЛИНИЯ

В подцензурных условиях о родителях героев Улицкой что-то прорывалось в прозе Паустовского, Каверина, Катаева. Литература в России — это еще и летопись жизни интеллигенции. Обвиненная ныне в тысяче несуществующих преступлений, ошеломленная и ошельмованная интеллигенция сегодня молчит. За нее говорит Улицкая.

Константин Кедров. *Новые Известия*

Существует несколько фигур, уже занявших свое место в литературе: среди них Виктор Пелевин, Татьяна Толстая, Борис Акунин, Саша Соколов. По высоте над уровнем моря эти авторы неравнозначны, однако книги их всегда становятся событиями. Улицкая несомненно принадлежит к этой "горячей десятке".

Ольга Славникова. *Время МН*

Книги Людмилы Улицкой переведены на 17 языков. Ее постоянные читатели живут в Германии и Америке, Турции и Китае. Французы наградили Улицкую почетной премией Медичи, итальянцы — премией Джузеппе Ацерби. Удивительно, что никому из близких и дальних не пришлось разжевывать самобытные обстоятельства жизни ее героев… Многое и многих можно разглядеть, если вглядываться в лица людей с любовью и чутким вниманием. Именно так смотрит на нас эта женщина. Строгая, сдержанная, необыкновенно естественная Людмила Улицкая.

Галина Смирнова. *Россія*

ISBN 5-699-00266-9

9 785699 002665

ЭКСМО